СИБИРСКИЕ ОГНИ

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:
Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Владимир Титов
ответственный секретарь
Максим Долгов
и. о. начальника отдела художественной литературы
Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы
Михаил Косарев
начальник отдела общественно-политической жизни
Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

9/2016

Содержание

ПРОЗА

Александр ЛАПТЕВ. Армань.
Документально-художественное повествование. 3
Николай МЯСНИКОВ. В ожидании тепла. Рассказы. 55
Евгения ЧЕРНЫШОВА. Жупь. Истории про Сашу. Рассказы. 79

ПОЭЗИЯ

Анатолий КОБЕНКОВ. Тень ласточки. Стихи. 44
Сара ЗЕЛЬЦЕР. «Пока зима печатает курсивом…» Стихи. 75
Сергей ШКУРО. Из детства. Стихи. 90
Вячеслав БОЯРСКИЙ. Предутренний сквозняк. Стихи. 91

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича. Роман. Продолжение. 95

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Арнольд ХАРИТОНОВ. Спасибо, что жил…
Анатолий Кобенков: портрет на фоне времени. 133

Народные мемуары

Владимир ЗВЕРЕВ. «Город ожил, Совет бежал, появилась новая власть…» *Выписки из дневника.* 155

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ренат БЕККИН. Мокрая курица татарской литературы, или Кого предала Зулейха? 180

Картинная галерея «Сибирских огней»

Анна РАДЧЕНКОВА. «Картинки» Николая Мясникова. 188

Авторы номера 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.
Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала “Сибирские огни”» М. Н. Щукин.

Александр ЛАПТЕВ

АРМАНЬ

Документально-художественное повествование

Огромный пароход тяжко раскачивался на длинных волнах в пятидесяти метрах от берега. Темная вода, похожая на студень, лениво накатывала на железный корпус. В левый борт упирался низкий деревянный пирс, на который осторожно спускались заключенные, балансируя на раскачивающихся сходнях. На берегу — коридор из бойцов охраны с беснующимися овчарками; заключенные втягивались в этот коридор и поднимались по пологому склону. Впереди виднелись одноэтажные серые дома, какие-то будки и сараи, сплошные заборы с колючей проволокой; вдали, слева и справа, вздымались зеленые сопки. Там были и деревья, и трава, и цветы...

Пётр Поликарпович невольно залюбовался. День стоял теплый, солнечный. С берега пахло разнотравьем, но не так, как в Сибири. Запах был очень странный, с какой-то примесью — острый и пряный одновременно. Обернувшись в другую сторону, Пётр Поликарпович увидел вздымающийся горбом океан, который казался очень далеким, извилистая линия берега убегала вдаль на десятки километров. Где-то там остались и Владивосток, и Японские острова, и вечно теплый тропик. Там же осталась и вся прежняя жизнь. Глядя на темнеющий вдали океан, обводя взглядом холмистую линию берегов, вдыхая незнакомые запахи, Пётр Поликарпович с пронзительной силой ощутил чужеродность этого мира, его страшную удаленность от всего, что было привычно и дорого. Берег казался едва ли не первобытным. И не было дорог через эти сопки, через эти необъятные пространства.

Хотя нет, одна дорога уже была проторена — теми, кого регулярно привозили сюда пароходами последние восемь лет. Сразу от берега, за линией влажного песка, начиналась до странности твердая земля, поросшая редкой травой. В этой неподатливой каменистой земле была натоптана широкая тропа, по которой и потянулся только что прибывший этап. Едва

волоча ноги, жмурясь от яркого солнца, заключенные медленно поднимались по склону. Все измученные и обессиленные, всем страшно хотелось пить. Но воды им не давали. Вода и пища ждали их в лагере, до которого еще нужно дойти. Встал в эту колонну и Пётр Поликарпович. Он понимал, что необходимо выдержать этот последний путь, а потом будет передышка. Дадут немного воды и хлеба, можно будет ополоснуть лицо, упасть на нары или прямо на землю.

Целый километр поднимались они в гору, и чем дальше, тем круче был уклон. Потом дорога свернула влево и пошла почти ровно. Еще через полтора километра повернули вправо и опять стали подниматься вверх. Пётр Поликарпович двигался из последних сил. Ноги не слушались, сердце бешено стучало, пот заливал глаза. И нельзя вытереться: рукава пиджака были настолько грязными, что страшно притрагиваться к лицу. Под ногами — рыжая взвесь из песка и пыли. Серые камни всех размеров попадались во множестве; казалось, почва наполовину состояла из камней. Чем дальше, тем острее чувствовалась непохожесть этой земли на родную Сибирь.

Все заключенные чувствовали тревогу. Шли молча, с тяжелым придыханием, головы втянуты в плечи, взгляд устремлен под ноги. Никто не любовался местными красотами. Всех пугали заросшие густой зеленью сопки. Каждый, наверное, думал: доведется ли выбраться отсюда? Сроки у всех немалые. Редко у кого меньше пяти лет. У всех «политических» — по восемь и по десять. Цифра сама по себе не страшная и не великая, но попробуй проживи восемь лет среди этих мрачных гор! И как-то оно будет в лагере? Как там примут, куда отправят на работу, чем будут кормить? Есть ли в лагере больница? Какой будет режим?

Все эти вопросы теснились в голове. Заглушить их могла лишь усталость, когда гаснет последняя мысль и словно бы растворяются все тревоги. Мерная ходьба способствовала такому состоянию. Постепенно Пётр Поликарпович перестал замечать окружающее, он упрямо смотрел вниз, переступая через камни и думая о том, чтобы не упасть.

Путь до лагеря занял больше двух часов. Четырехтысячная колонна растянулась почти на километр, и пока передних уже считали перед лагерными воротами, задние все еще брели, вздымая тучи пыли.

Наконец остановились. Пётр Поликарпович поднял голову и прочитал лозунг над лагерными воротами: «Путь в семью трудящихся — только через труд». Он не сразу понял смысл фразы, каждое слово было словно бы само по себе. Никак не мог вникнуть, что это такое — семья трудящихся? А он разве не трудился всю свою жизнь? Отцы и деды его вспахивали неподатливую сибирскую землю, сам пролил немало пота, когда работал от восхода до заката не разгибая спины! Но размышлять было некогда. Толпа уже вливалась в лагерные ворота. Вокруг стояли вооруженные солдаты, вид у них был такой, будто они сейчас бросятся на за-

ключенных врукопашную; собаки рвались с поводков, разбрасывая пену с оскаленных клыков; а с безоблачного синего неба светило яркое солнце, безучастно грело стылую землю, как и тысячу, и миллион лет назад.

Наконец и ворота, и конвоиры с бесновавшимися псами остались позади. Взору открылось внутреннее устройство лагеря. Сразу за вахтой стояли двухэтажные каменные дома, а дальше виднелись в странном беспорядке приземистые бараки с почерневшими крышами. Бараков было очень много. С интервалом в сто метров разместились высоченные охранные вышки, на каждой — пулемет и прожектор.

Колонну заключенных погнали мимо двухэтажных каменных домов, которые занимала лагерная администрация. Метров через двести они увидели высокое и довольно уродливое здание, словно бы составленное из разных кусков: внизу были трехметровые ворота грязного цвета, выше — сеть мелких квадратных окошек, бока здания сложены из серых плит разных оттенков, двускатная крыша почти плоская. Тут же выяснилось, что это местная баня и мимо нее пройти никак нельзя. Колонна остановилась, заключенные оживились, стали разглядывать нелепое сооружение. Против бани никто не возражал. Все были не просто грязны, а загажены до последнего предела, ото всех страшно воняло, и каждый мечтал о шайке горячей воды и о куске мыла. Наконец открылась одна створка неуклюжих ворот. Заключенные двинулись внутрь. Сто человек загнали в просторное полутемное помещение совершенно без окон, освещенное лишь несколькими лампочками, висящими под потолком. На неокрашенном деревянном полу валялась чья-то одежда: плащи и куртки, пиджаки и рубахи, штаны всех покроев, сапоги, ботинки и даже майки с трусами. Все поняли: одежда осталась от тех, кто вошел сюда раньше.

Вдруг раздался скрежет и отворилась небольшая дверь. В зал вошли двое — с наглыми физиономиями, упитанные и крепкие на вид. Не нужно было много сообразительности, чтобы признать в них матерых уголовников.

— Ну, чего разинули? — крикнул один из них. — Скидывайте шмотье на пол и дуйте в помывочную. Цацкаться с вами тут никто не будет.

— А с одеждой что будет? — спросил кто-то.

— Ничего с вашим тряпьем не случится, — был ответ. — Получите после бани.

Заключенные переглянулись, потом стали раздеваться. Никаких вешалок или скамеек не было. Все тряпье валилось в общую кучу.

В помывочную пропускали по одному. Каждому заглядывали в рот, проверяли, что в руках. Отбирали любую мелочь и, кажется, готовы были изъять из тела душу, чтобы зэк послушно исполнял любые команды, ничего для себя не требовал и не чувствовал. К этому идеалу стремились хозяева колымских лагерей и очень жалели, что никак не могли его достичь.

Души из тел изъять не удавалось. А чувства у всех этих несчастных, измученных людей сохранялись до самого последнего вздоха.

В следующем помещении орудовали местные парикмахеры — тоже заключенные, облаченные в грязные рваные халаты и вооруженные механическими машинками для стрижки волос. Вновь прибывшие становились перед ними, а те лихо состригали волосы с голов, под мышками и в других местах. Работали торопливо, движения были резкие; то и дело слышались болезненные вскрики, тут же звучал грубый смех и следовали похабные комментарии. Миновать эту процедуру было невозможно. Сами заключенные понимали, что лишние волосы на голове и на теле — это рассадник вшей. А вши имелись у всех. Поэтому никто особо не противился.

После стрижки зэки получали по небольшому прямоугольничку мыла и шли в следующий зал, в помывочную. И тут уже каждый управлялся как умел. Хватали деревянные шайки, теснились у кранов с горячей водой, потом искали свободное место на лавках и прямо на полу. Лихорадочно мылились, терли себя ладонями, плескали воду… Все делалось в страшной спешке. Пётр Поликарпович наполнил шайку тепловатой мутной водой, затем еще раз и после снова сумел налить себе почти уже холодной воды. Вода доставляла наслаждение. Крохотный кусок скользкого липкого мыла казался величайшей драгоценностью. Пётр Поликарпович проявил удивительную оборотистость: насобирал на полу крошечные обмылки и мылился, мылился без конца, лил на себя воду, усиленно растирал лицо и остриженную голову. Где-то щипало, где-то кололось — он ничего не замечал. Смыть с себя всю накопившуюся грязь — вот главная задача и смысл.

Вдруг кто-то крикнул, перекрывая шум:

— Всем быстро на выход!

Пётр Поликарпович вылил на голову остатки воды, поставил шайку на скамью и пошел к раскрывшейся двери.

В следующей комнате он получил застиранные кальсоны и рубаху с длинными рукавами мутного цвета. За другой дверью ему дали бесформенные ватные штаны и словно бы изжеванную гимнастерку, в третьем помещении заключенным выдавали телогрейки, кирзовые ботинки и видавшие виды портянки. В самом конце Пётр Поликарпович принял в руки бушлат, шарфик и шапку-ушанку. Размеров никто не спрашивал. Не до того было.

Выйдя из бани, заключенные стали натягивать на себя кальсоны и нательные рубахи. Тут же менялись друг с другом, если размер не подходил. А об оставленных на полу вещах речи уже не было. Если кто и вспомнил, так ничего не сказал. Все так и поняли, что никто ничего назад не получит. Где бы они ни были, какой бы дорогой ни шли, — никогда не возвращались прежним путем. Только вперед, в неизвестность. Вот

и на этот раз заключенных повели вглубь лагеря, где для них был приготовлен барак со сплошными нарами, с низкими потолками, с железной бочкой посредине и со всем тем, что имелось во всех бараках Севвостлага — одной из самых жутких организаций, какие только знала отечественная история.

Летом 1940 года эта организация включала в себя четыре сотни больших и малых лагерей (среди которых были целые города с 50-тысячным населением вроде Бутугычага). Севвостлаг занимал громадную территорию, простиравшуюся от Чукотки до Владивостока и от Берингова пролива до Красноярского края. На всей этой огромной площади единовременно работали — днем и ночью, зимой и летом — два миллиона человек. Были среди них и вольнонаемные (погнавшиеся за романтикой, а кто-то и за длинным рублем), но подавляющее большинство составляли заключенные, доставленные в эти дикие необжитые места грузовыми пароходами вроде тех, на котором прибыл сюда писатель Пётр Поликарпович Петров. Советской власти на этой территории не существовало, ее заменял всесильный НКВД со всем своим репрессивным аппаратом. Дальстроем командовали в разные годы генерал-майоры и генерал-полковники ГБ НКВД, а подчиненным ему Севвостлагом распоряжались (как умели) капитаны, майоры и полковники ГБ НКВД. Вместо поселков по всей этой территории в спешном порядке строились лагеря. Вместо гражданской власти здесь властвовал военный порядок и чрезвычайщина, грубое принуждение и полное равнодушие к элементарным нуждам людей.

Оно и понятно: какой дурак поедет в эту чертову даль строить среди вечной мерзлоты поселки и долбить на пятидесятиградусном морозе неподатливый камень? На уговоры и увещевания у советской власти времени никогда не имелось. Гораздо проще было привезти сюда несколько миллионов человек под дулами винтовок и бросить их в безжизненные сопки, заставить строить бараки из даурской лиственницы, ставить двухслойные палатки (на всю зиму) и без продыху долбить мерзлую сопротивляющуюся землю. Не беда, если половина заключенных умрет в первую же зиму от непосильной работы, от голода и побоев (а кого-то и расстреляют за невыполнение плана или за отказ от работы). За умерших и убитых особо не спрашивали. Зато неустанно требовали золото и олово — в непомерных количествах. И получали то и другое — десятками тонн! Это было главное и первостатейное в деятельности Дальстроя, а все остальное — неважно.

В этот первый день пребывания в магаданском пересыльном лагере заключенных так и не накормили. Но это никого не удивило. Все уже знали, что на довольствие всех прибывших ставят лишь со следующего дня. Так было везде и всюду, будь то колымский лагерь или заштатный СИЗО где-нибудь под Воронежом.

После бани заключенные спали особенно крепко. В бараках было тепло (июль стоял), места на нарах достаточно. Никакого сравнения с пароходным трюмом. Пётр Поликарпович лег на доски, осторожно вытянул ноги во всю длину и блаженно зажмурился. Кто-то носил по проходу кипяток в консервных банках, кто-то что-то грыз, кто-то отрывисто говорил, словно лаял, — все это нисколько ему не мешало. Страшная тяжесть навалилась на него, и он мгновенно уснул, будто провалился в погреб. И спал так остаток вечера и всю ночь — без сновидений, без желаний и без чувств.

Летние ночи на Колыме очень коротки. В полночь еще светло, а в шесть утра уже вовсю светит солнце. Конечно, непривычно, но ко всему нужно привыкать. К резкому сухому воздуху, от которого резало грудь, а голова делалась чугунной. К высокогорью и перепадам температуры, когда днем стоит жара, а ночью собачий холод. К странным запахам, идущим от самой земли, и к неоглядным далям, от которых захватывало дух. Ну и к людям тоже требовалось привыкать и приспосабливаться.

Из этого лагеря Пётр Поликарпович отправил жене письмо, где среди прочих были и такие строки:

«Люди здесь суровые и не расположенные к сердечной дружбе. Несчастье сделало их такими. И я уже не тот, каким вы меня знали... Если бы я имел две жизни, то обе отдал бы только за то, чтобы вы сюда не ездили...»

Стихов в этом лагере он уже не писал. А эти сдержанные строки каким-то чудом дошли до адресата. Жена получила письмо и хранила его до самой смерти.

На магаданской пересылке, устроенной на сопке Крутая в шести километрах от бухты Нагаева, Пётр Поликарпович провел почти два месяца. Каждый день к лагерным воротам подъезжали грузовые ЗИСы. Из ворот выводили колонну заключенных, усаживали плотными рядами в кузов, и машина выруливала на Колымский тракт, увозя очередную партию людей в неизвестность. Заключенным никогда не сообщали конечного пункта следования, они не знали, будут ли ехать в тряском кузове два часа или двое суток. Также никто заранее не знал о предстоящем этапе. В течение получаса их как скот сгоняли к вахте и уже там обо всем объявляли. Пётр Поликарпович каждое утро испытывал тревогу: не сегодня ли повезут и его в дальние лагеря, про которые рассказывают всякие ужасы? Тревога не оставляла его с самой побудки, и только после обеда он успокаивался.

Работа разнообразием не отличалась: заключенных каждый день гоняли или на Колымскую трассу, или на окраину Магадана. Город застраивался, возводились каменные дома, разбивались скверы, прокладывались дороги. На городских стройках было чуть полегче (и как бы веселее, если здесь уместно такое слово). Ранним утром колонну гнали по пустын-

ным улицам, заключенные разглядывали покосившиеся деревянные дома и массивные каменные строения, хмуро смотрели на гражданских и на военных, пытались увидеть море далеко внизу. Уже на объекте неохотно разбирали ломы, лопаты и носилки, а кто-то брал мастерки и пилы; затем приступали к работе. Пётр Поликарпович обычно носил мусор носилками. Иногда ему давали молоток и гвозди и поручали соорудить перила для лестницы на второй этаж, или сколотить какой-нибудь трап, или поручали прибивать доски к деревянным стойкам. Но на эту работу находились свои умельцы. Зато лопаты и носилки всегда свободны. Мусора на любом объекте и в любое время предостаточно.

Подъем — в шесть утра (по раз навсегда установленному порядку). У лагерных ворот били железной трубой о висящий на проволоке рельс, а в каждом бараке дневальный орал благим матом «Па-адъе-ом!..», «Выходи из барака!..» — кто во что горазд. Заключенные с трудом поднимались с лежаков и выходили на улицу, там справляли нужду, ополаскивали лицо ледяной водой из рукомойников. Потом их строем вели в столовую, где всегда одно и то же: миска безвкусной магары и пайка черного слипшегося хлеба. В восемь часов — развод, после которого колонны уходили из лагеря: кто в город, кто на трассу, кто на сопки — рубить кедровый стланик. А кто-то оставался в лагере (тут тоже работы хватало). Самых неудачливых ждал этап.

С утра Петру Поликарповичу всегда бывало невыносимо тяжело. Все тело, все суставы и кости болели. Давило грудь. Тяжело дышать. На руках ссадины и мозоли. А сил и вовсе нет. Одно желание: лег бы посреди дороги и лежал как труп, глядя в бездонное колымское небо. Но лечь нельзя. Превозмогая боль, он поднимался, понемногу расхаживался, приходил в себя. Боль медленно отступала, как бы уходила в землю через ноги; в голове светлело, и уже не было той черной тоски, от которой хотелось рвать на себе волосы или броситься с кулаками на конвоира. К обеду теплело, солнце ярко светило, открывая дали. Заключенные разглядывали сопки вокруг Магадана. На этих сопках не росло крупных деревьев и живности тоже было не видать. Если пойти по ним наудачу, то через неделю точно подохнешь — это Пётр Поликарпович понял сразу, как бывший таежник и партизан. И еще понял, что никакой конвой его не поймает, если только он отойдет от лагеря хотя бы на десяток километров. И не погони тут нужно бояться, а самой природы, в которой нет места человеку. Опытным взглядом бывалого человека он оценил и эти чахлые деревья, и стланик, жалкую пародию на могучий сибирский кедр, и гнущуюся под ветром траву, и студеный ветер в разгар летнего дня. Не зря, ох не зря его пугали Колымой! А ведь здесь, на берегу Охотского моря, еще не так холодно, как на континенте. Что же будет там — за сотни и тысячи километров от берега? Все это ему предстояло узнать в самом скором времени.

А пока он таскал носилки со щебнем, орудовал лопатой и как мог экономил силы. Но силы с каждым днем убывали. Со страхом думал о том, что же будет в настоящем лагере, когда наступит лютая зима, а вместо ленивых конвоиров появятся ретивые надсмотрщики? Уже сейчас он голодает, а утром не может без стона подняться на ноги... Самое лучшее для него — вернуться обратно во Владивосток. Там хотя бы не чувствовалось этой страшной оторванности от остального мира. Но вернуться туда нельзя — это он знал. В пересыльном лагере его тоже не оставят. Оставалась надежда на то, что пошлют в какой-нибудь не очень страшный лагерь. Он слыхал от местных, что тут есть что-то вроде совхозов, в которых заключенные возделывают землю и выращивают урожай. Вот это было бы в самый раз! С детства привык работать на земле, любил землю — так, как может ее любить только крестьянин, для которого земля не развлечение, а суровая реальность и смысл существования. Уж он бы показал свое умение работать! Но как попасть в такой лагерь? Он запомнил это странное слово — Сеймчан. Уж так его хвалили, так хвалили — просто рай земной! Правда, это где-то очень далеко — километров пятьсот на север, а может, и больше. Говорили, что там и женщины работают. Но до женщин ему дела нет, а вот показать себя в привычном деле — это он может. Тогда и год, и два, и все пять — он сдюжит! Тогда можно все превозмочь — и обиду, и голод, и болезни…

И он решил обратиться к местному начальству. Все-таки они тоже люди. Должны понимать, что ему уже много лет и тяжелой работы не выдержит. Кому будет лучше, если он тут погибнет? Государство потеряет труженика, жена — мужа, а дочь — отца. Нет, не должны ему отказать!

Так он думал неотступно, каждый день плетясь в колонне на работу. И весь день мысль о спасительном Сеймчане не оставляла его. Ложась спать, он представлял, как будет вскапывать неподатливую колымскую землю, на какую глубину бросать семена, чем их укрывать от морозов и что лучше для питания — картоха или свекла? морковка или капуста? Получалось, что все хорошо! Главное, чтоб побольше. Если целый год есть одну капусту, то уже не умрешь! И цинги не будет. Кожа не будет облазить лафтаками. И вшей можно извести с помощью обычного капустного листа. Какой же это замечательный овощ — капуста! Не зря Пифагор ее так расхваливал. Ах, если бы ему позволили, как бы он старался, как старался…

Однажды осмелился высказать свою просьбу. Правда, высказал ее не военному начальнику, а фельдшеру из лагерной больницы. После работы пошел не в барак, а в дальний угол лагеря, где располагался медпункт. Приблизившись, увидел одноэтажный дом, покрашенный известью. Восемь окон в длину, два окна сбоку. Крыша уголком, низенький штакетник вокруг. За домом растут невысокие лиственницы. Напротив, через улицу, стоял почти такой же домик, только поменьше. И за ним тоже

какие-то дома. Собравшись с духом, Пётр Поликарпович направился к самому большому дому, рассудив, что это и есть стационар.

Встретили его не хмуро и не ласково, а совершенно равнодушно. Спросили, с чем пожаловал.

— Да вот, — сказал он как бы с сомнением, — грудь у меня болит. Вот здесь. Дышать трудно. Вообще мне очень тяжело. Работать не могу. Сил нет совсем.

Фельдшер — усталого вида пожилой мужчина с цепким взглядом коричневых глаз — велел ему раздеться до пояса. Затем стучал пальцами по ребрам, слушая звуки, то склоняясь, то поднимая бритую голову, покрытую седым пухом. Он смерил давление аппаратом Рива-Роччи, потом оттянул большими пальцами веки у Петра Поликарповича и молвил со вздохом:

— Все понятно. У вас глубокое истощение всего организма. Однако никакой болезни я у вас не нахожу, хотя и здоровым вас тоже назвать нельзя. Так-то, голубчик! — И он поднял на пациента взгляд. — Освободить от работ я вас не могу. Увольте.

Пётр Поликарпович согласно кивнул:

— Да, я понимаю. Если освобождать таких, как я, тогда тут будет некому работать.

Фельдшер едва заметно улыбнулся, морщинки у глаз стали заметнее.

— Я не за этим пришел, — продолжил Пётр Поликарпович. — Я вижу, что вы умный, понимающий человек, а мне очень нужен совет! Просто спросить больше некого.

Фельдшер подался вперед, лицо стало внимательным.

— Говорите.

Пётр Поликарпович ощутил, как забилось сердце. Вот сейчас решится его судьба. Было чувство, что он идет по болоту и вот-вот провалится в зыбкую почву.

— Вы опытный врач, многое уже повидали... А я… я три года провел в следственной тюрьме, там, на материке. Сидел в одиночной камере — без воздуха, без окон, в сырости, в страшной тесноте. Бывали дни, когда в камеру набивали двенадцать человек! Духота, вонь ужасная, параша все время течет… Сам не знаю, как я все это выдержал. А потом, уже после следствия, нас три недели везли в столыпинском вагоне, по двадцать человек в купе — сами знаете, что это такое. А уж как мы по морю плыли, я вам и рассказать не смогу. Просто слов таких нету!.. И вот, наконец, я оказался здесь. Но ведь в этом лагере меня не оставят, это же пересылка! И вот мой главный вопрос: куда я теперь попаду? На что мне надеяться? — И он устремил на фельдшера испытующий взгляд.

Тот задумался на секунду, потом ответил:

— Этого я не знаю. Да и никто этого не знает. Тут все решает случай, кому как повезет. Хотя понятно, что почти всех заключенных отправляют

на золотые прииски. Но если только очень сильно повезет, тогда вы можете попасть в более приличное место.

— Вот-вот, — подхватил Пётр Поликарпович, — если повезет. Но я не могу полагаться на случай. Вы видите, что я уже не молод, я не выдержу работы на прииске, судя по тому, что об этом рассказывают. Вы согласны со мной?

Фельдшер кивнул:

— Согласен. На приисках очень высокая смертность.

— И я вот что подумал… Мне сказали знающие люди, что тут где-то есть крупный лагерь, Сеймчан называется. Слыхали о таком?

Фельдшер снова кивнул:

— Слышал, конечно, хотя сам и не был. Там овощеводческое хозяйство. Есть и вольный поселок. Это на Колыме, шестьсот километров отсюда. Они снабжают овощами весь Среднеканский район. Заключенные там живут неплохо, сравнительно конечно. Сами понимаете — свежие овощи, теплицы и все такое. Это вам не золото.

— Да, я понимаю, — быстро проговорил Пётр Поликарпович, все больше волнуясь. — Так я вас прямо хочу спросить: нельзя ли мне попасть в этот лагерь? Срок у меня не очень большой — восемь лет. Тем более что три года я уже отсидел в тюрьме, осталось не так уж и много. Это возможно?

Фельдшер молча смотрел на него. Казалось, он не слышал вопроса.

Пётр Поликарпович ждал, что он скажет, но тот молчал.

— Могли бы вы мне помочь в этом деле? — снова спросил Пётр Поликарпович.

Фельдшер отрицательно помотал головой, продолжая внимательно смотреть на пациента.

— Вы же сами сказали, что у меня глубокое истощение, — закончил Пётр Поликарпович упавшим голосом.

Фельдшер все смотрел на него, словно не узнавая. Потом качнулся всем телом и молвил:

— Если я помогу вам, то нас обоих обвинят в сговоре. Затеят следствие. И мне и вам не поздоровится, будьте уверены.

— Да вы что! — поразился Пётр Поликарпович. — Какое следствие? Ведь вы же врач!

— Ну и что из этого? — улыбнулся фельдшер. — Вы думаете, врачей не расстреливают? Да что там говорить! — выдохнул он и махнул рукой.

Пётр Поликарпович медленно поднялся со стула:

— Значит, вы мне не поможете?

— Хотите, я расскажу вам один случай? Прошлой зимой дело было, на моих глазах все происходило. Работал тут у нас врач, из заключен-

ных, как и все тут. А в лагере с проверкой был его давний знакомец по воле. Какой-то профессор, с бородкой и в пенсне. Проверял, как мы тут боремся со вшами. И вот этот профессор видит в лагере своего бывшего ученика, расспрашивает его обо всем, ужасается, а потом усиленно хлопочет за него у начальника лагеря, говорит о его невиновности, просит освободить и все такое. Начальник лагеря обещает разобраться и, как только профессор уезжает, пишет докладную старшему оперуполномоченному НКВД. Через месяц в Москве арестовали этого профессора, а у нас тут взяли в оборот его ученика, а заодно загребли нескольких санитаров; всех их увезли в Магадан, посадили в «дом Васькова». Еще через месяц всех их расстреляли. И профессора тоже. Смею вас заверить: случаев таких полно. Вы просто еще ничего не знаете. Вам повезло, что ко мне обратились. Был бы другой человек на моем месте — не миновать вам штрафного прииска.

Пётр Поликарпович с раскрытым ртом слушал этот невероятный рассказ. Не верить фельдшеру он не мог, но и поверить в сказанное было невозможно. Или фельдшер чего-то недоговаривает, или в окружающем мире что-то такое произошло, чего он совершенно не понимает. Мир переменился. Стал не просто другим, он стал антимиром, где все не так, все наоборот. В этом мире нет никакой логики, отсутствует элементарный здравый смысл. В нем нет добра, но одно лишь зло — ужасное, непобедимое зло и — жестокость.

Петру Поликарповичу вдруг стало трудно дышать. Он оперся рукой о край стола и опустил голову, стараясь собраться с мыслями.

— Поверьте мне, я вам искренне сочувствую, — проговорил фельдшер. — Но я и в самом деле не могу ничего для вас сделать. Если бы у вас не было руки или ноги — тогда другое дело. Да вас бы сюда и не привезли. Выглядите вы неплохо. Скорее всего, вы попадете на общие работы. Тут уж ничего не поделаешь. На золотых и оловянных приисках работают девяносто процентов всех заключенных, какие сюда прибывают. А если взять пятьдесят восьмую статью — так их поголовно на прииски отправляют! На это есть специальное указание из Москвы. Так что готовьтесь. Если станет совсем уже невмоготу, идите в лагерную больницу и требуйте отправки в инвалидный лагерь на двадцать третий километр, на освидетельствование. Это для вас единственный шанс выжить. И постарайтесь вырваться оттуда до сильных морозов. Сейчас лето стоит, тепло. Но вы не представляете, что тут делается зимой. А на севере что творится? Я видел обмороженных с приисков, их в грузовиках сюда привозят, как дрова. Это жуткое зрелище! Уж на что я ко всему привычный, но и мне тяжело на все это смотреть. Надеюсь, с вами этого не случится. Хотя заранее знать ничего нельзя. Остается лишь уповать на Господа Бога! — И он печально посмотрел на Петра Поликарповича.

— Пойду, — произнес тот, вставая. Сделал два шага и обернулся: — Спасибо. Вы первый человек, кто так вот просто поговорил со мной. Я этого никогда не забуду.

— Прощайте, — сказал фельдшер с мрачным видом. — Надеюсь, мы еще увидимся.

Пётр Поликарпович не помнил, как вернулся в барак. Сосед по нарам, долговязый черноволосый мужчина со скуластым лицом, буркнул недовольно:

— Ты что, письмо с воли получил? В семье что-нибудь случилось?

Пётр Поликарпович поднял невидящий взгляд, через силу ответил:

— Ничего не случилось. Все нормально.

И отвернулся.

Он разом отяжелел и обессилел, постарел сразу на несколько лет. Выглядел как глубокий старик, с потухшим взглядом и обвисшим лицом. Жить не хотелось.

В эту ночь он спал как убитый. Ни мыслей, ни чувств, ни образов. Одна лишь тьма — глухая и вязкая, в которой нет ничего.

Прошло три недели — в отупении чувств, в бессилии, без надежд и просветов. Словно что-то надломилось внутри — и сил не стало. Не стало желания жить, цепляться за эту жизнь. Утром Петра Поликарповича грубо расталкивали и стаскивали с нар свои же товарищи. Почти ничего не соображая, Пётр Поликарпович спускался на пол и брел вслед за всеми: куда они, туда и он. Столовая с липкими столами и гнусным варевом в измятых мисках, развод на работы с матюками и угрозами, потом долгое нудное шествие по пыльной каменистой дороге. Уже не хотелось глядеть по сторонам, любоваться красотами. Зеленые сопки вызывали отвращение, от острых запахов чужой земли мутило. День длился бесконечно долго. Солнце недвижно стояло на небосводе, а проклятая работа никак не кончалась. Из последних сил Пётр Поликарпович поднимал носилки и шел, покачиваясь и глядя себе под ноги. Руки разжимались сами собой, и однажды, когда он в очередной раз уронил носилки со щебнем, его товарищ подошел сзади и сильно ударил его в ухо. От этого удара Пётр Поликарпович упал, а потом долго лежал, ничего не понимая. Никто к нему не подошел, не помог подняться. Все продолжали работу, будто ничего не случилось. Конвоир бросил на него равнодушный взгляд и отвернулся.

Подошел бригадир. Глянул сверху и сказал:

— Ну, че разлегся? А работать за тебя кто будет? Полежал чуток, и будет. Давай вставай. Чай, не министр.

Пётр Поликарпович кое-как поднялся. Что «не министр» — это он и сам знал. Знал также, что среди заключенных есть и бывшие наркомы,

и генералы, и секретари обкомов, и референты членов ЦК, и даже бывшие следователи. Отличить их от обычных зэков было почти невозможно. Так же как нельзя было признать в самом Петре Поликарповиче известного на всю Сибирь писателя, инженера человеческих душ. Лагерь всех безжалостно равнял, делал безликими. И, что хуже всего, лагерь заставлял самих людей верить в то, что они ничтожества и заслужили такое к себе отношение. Поверить в это было легче, чем продолжать считать себя чем-то особенным. Поверивший легко сносил побои и оскорбления, безропотно исполнял все приказания и особо не переживал. А те, кто продолжали считать себя «человеками», испытывали бесчисленные унижения, начиная с утренней побудки и кончая вечерней поверкой. Таких надолго не хватало, они и погибали первыми.

Пётр Поликарпович долго помнил тот подлый удар, полученный не от следователя и не от конвоира, а от своего же собрата заключенного. После этого много было ударов и зуботычин, но они уже не вызывали особого протеста или удивления. Всех бьют. Чем же он лучше других? Но тот, первый удар, он помнил до самой смерти.

Лето на Колыме очень коротко. В августе уже заморозки, а в конце сентября на сопках лежит плотный снег.

Пересыльный лагерь жил своей жизнью: этапы регулярно приходили и уходили. Приходили они с моря, с юга, а уходили по Колымской трассе вглубь континента — на север. Пришел черед и Петру Поликарповичу совершить этот скорбный путь. Холодным сентябрьским утром, сразу после развода, его не отправили, как обычно, на работу. Хмурый нарядчик подошел к нему и велел идти к лагерным воротам. Пётр Поликарпович почувствовал облегчение в первую секунду: не надо идти на работу вместе со всеми. Потом он подумал, что все это неспроста. Что-то готовилось. К воротам подходили другие заключенные, вид у них был озабоченный. Заключенные вполголоса переговаривались, то и дело слышалось слово «этап».

К удивлению своему, Пётр Поликарпович не испытывал страха. Наоборот, ему даже стало как-то легче. Настолько ему опостылел этот лагерь, что он рад был любой перемене, только бы уехать отсюда. Там, на новом месте, он постарается сразу поставить себя независимо, не позволит понукать собой. Чувство тревоги, постоянного ожидания чего-то ужасного — вконец измотало его. Но теперь все заканчивалось. Не надо больше мучиться неизвестностью. В глубине души он надеялся, что те ужасы, про которые ему рассказывали бывалые зэки, окажутся выдумкой. Все-таки теперь не средневековье. На дворе двадцатый век. Советская власть не позволит без причины издеваться над людьми — над преданными ей гражданами, пускай оступившимися, но не потерянными для общества, для семьи, для будущего великой страны. Пусть

ему будет тяжело, пусть будет многочасовая работа в золотом забое — он постарается работать честно, будет стараться изо всех сил. И если не выдержит, не сможет работать как надо, тогда он честно об этом скажет начальству, что он очень старался, но не смог, потому что это выше его сил. Не звери же они, в конце концов! Поймут, оценят его старание и прямоту…

От таких мыслей ему становилось легче. Грядущие перемены уже не страшили. Жизнь брала свое, находя лазейки там, где их, кажется, уже не оставалось. Однако почти все его товарищи были мрачны. Конвоиры злобно покрикивали на сбившихся в кучу заключенных и уже открывали ворота, за которыми стояли два грузовика с высокими бортами. Прозвучала команда, и заключенные полезли в кузов. Пётр Поликарпович поставил ногу на колесо, взялся рукой за борт и довольно ловко забрался в кузов, занял место на низенькой скамейке у самой кабины по правому борту. Он видел через заднее стекло кабины шофера в телогрейке и шапке-ушанке, справа от него сидел молодой лейтенант в длинной полой шинели с кожаной планшеткой через плечо. А в кузов набивались и набивались заключенные. Петра Поликарповича притиснули к кабине и к борту, так что он не мог пошевелиться. Скамейки стояли в кузове столь близко, что согнутые колени упирались друг в друга и заключенные то прижимали ноги к себе, то поворачивались боком, толкая соседей и получая в ответ локтем в живот. Последними в кузов сноровисто запрыгнули два конвоира с винтовками, заняли угловые места сзади. На головы заключенных набросили рваный тент из выцветшего брезента, прихватили его тесемками за борта, и машина, дав газ и покачнувшись, стронулась с места. Пётр Поликарпович схватился за борт левой рукой, а спиной уперся в доски, чтоб не биться хребтом при каждом рывке. Дорога была аховая. Кочки и колдобины, камни всех размеров; мельчайшая пыль вздымалась из-под колес и до странности долго висела в стылом воздухе. Холодный воздух продувал кузов насквозь, и заключенные кутались в свои бушлаты, прятались друг за друга, стараясь укрыть голову от пронизывающего ветра. Пётр Поликарпович притянул к спине край брезента, поднял воротник бушлата и втянул голову в плечи. Он видел позади машины столб пыли, а если повернуть голову влево, то можно было рассмотреть окрестные пейзажи. Однако ничего интересного там не было.

Машина ехала довольно быстро. Через три часа они подъезжали к Палатке — небольшому поселку, устроившемуся посреди обширной равнины. Где-то на этой равнине расположились целых три лагеря, один из которых обслуживал Колымскую и Тенькинскую трассы (Тенькинский тракт начинался от Палатки и вел на север, спрямляя пути-дороги до богатейших золотых приисков Бохапчи и Омчуга), другой лагерь работал на местной железной дороге (тянущейся через вечную мерзлоту и болота

от самого Магадана); третий лагерь был женским, там шили одежду и обувь для заключенных (телогрейки, знаменитые бурки и «ЧТЗ», шапки-колымки, рукавицы, нательное белье и прочее). Ничего этого Пётр Поликарпович не знал и не увидел. Разглядеть серые бараки среди густой растительности было довольно трудно. Правда, пока они ехали по трассе, то и дело видели заключенных на обочинах: они долбили кайлами и ломами землю, таскали грунт носилками; то же самое делал и он в пересыльном лагере. Смотреть на все это было неинтересно. А про то, что вся Колымская трасса построена на костях, он слышал много раз — так часто, что это уже и не волновало.

Зато всех волновал другой вопрос: куда их все-таки везут?

В Палатке сделали остановку. Всем заключенным приказали сойти на землю для «оправки». Потом загнали обратно в кузов и велели сидеть тихо. Двое конвоиров остались сторожить машины с заключенными, а двое других вместе с командирами отправились в приземистый домик, расположенный метрах в ста от трассы.

— Жрать пошли в столовую, — сообщил кто-то из заключенных. — А мы тут голодом сидеть должны, как собаки.

Никто не ответил. Все и так уже догадались о причинах остановки. И уж конечно, никто не надеялся, что их пригласят отобедать в столовой для вольных, съесть тарелку супа или котлету с макаронами. О таких пиршествах уже и не мечтали. А вот от горбушки хлеба никто бы не отказался.

Через десять минут прибежали два конвоира и сменили тех, что охраняли машины. Лица их лоснились, они дожевывали на ходу.

Пётр Поликарпович сглотнул слюну и отвернулся.

Еще через десять минут все заняли свои места и машины помчались дальше. И снова густая пыль висела над каменистой дорогой, а кузов трясло так, что голова гудела, а внутри все обрывалось. Солнце стояло в зените, всем было жарко, хотелось пить. Сидеть на жестких лавках, согнувшись в три погибели, было неудобно. Но все терпели. Сойти с этого транспорта по своей воле нельзя.

Десятки километров трассы оставались позади. Воздух становился резче, холоднее. Машина то взбиралась на перевал, натужно урча, то с грохотом катилась вниз. Казалось, конца-краю этому не будет. Ни дымка во всей округе, ни намека на жилье. Чертова глушь — холодная, равнодушная и жестокая, подавляющая душу своей безбрежностью и какой-то дьявольской незыблемостью. Сама жизнь казалась тут невозможной. Пётр Поликарпович представил, как будет пробираться по этим нескончаемым сопкам, продираться сквозь кусты, брести по снегу, и ему стало не по себе. Куда тут можно было пойти? На севере был Ледовитый океан, до которого тысячи километров полного безлюдья. На востоке, в пятистах километрах, холодное Охотское море, за ним Камчатка и — край земли.

Если идти на запад, то это тысячи километров непролазной тайги до самой Лены, до Байкала.

Исхода отсюда не было. Он вдруг понял это с потрясающей душу ясностью. И уж после этого не смотрел по сторонам. Сидел уткнувшись в колени, обхватив голову руками, стараясь ничего не слышать и не видеть.

Через пять часов, преодолев в общей сложности двести десять километров, обе машины остановились в Атке — поселке, почти не отличимом от Палатки. Почти такая же округлая равнина, заросшая травой и кустарником, такие же сопки вокруг; лагерь, правда, тут был один. Когда Пётр Поликарпович осмотрелся, ему на миг показалось, что они никуда и не ехали, а машина газовала на месте и попусту тряслась. Вокруг было все то же, только солнце уже садилось, его косые лучи резали прозрачный воздух и придавали пейзажу какой-то неживой вид. Присмотревшись, Пётр Поликарпович все же заметил разницу: сопки тут были покрупнее, а сама равнина поменьше той, где они останавливались днем. А небо все такое же — синее, глубокое и жутко пустое.

Заключенным приказали сойти на землю. Всем хотелось есть, все ждали, что их отведут в столовую, а потом на ночлег. Вместо этого им велели оправиться, а потом вытащили из кабины холщовый мешок и стали раздавать хлеб. Заключенные брали пайки, вертели их в руках.

— Больше ничего не будет, — объявил лейтенант. — Вода вон, в речке. Напьетесь.

Двое конвоиров уже тащили флягу с водой. Поставили возле машины и стали отирать пот и отдуваться.

Все стали подходить к фляге. Черпали большой кружкой ледяную воду и жадно пили. Встал в очередь и Пётр Поликарпович. Пить хотелось нестерпимо. Хлеб не лез в горло, казалось невозможным проглотить его всухомятку.

Через полчаса все отведали местной водицы и съели хлеб. Становилось заметно темнее, и всем стало зябко — то ли от ледяной воды, то ли от быстро холодеющего воздуха. Заключенные с тоской смотрели на темнеющие вдали строения. Понимали: все это не для них. Местный лагерь не принял этап, не разрешил разместить заключенных на своей территории. Оно и понятно: каждый день мимо возят заключенных, и все норовят заехать внутрь, нажраться в лагерной столовой (а продуктов и своим не хватает), потом требуют ночлега (свои заключенные спят вповалку в переполненных бараках). И начальник лагеря решил проблему просто: никого в лагерь не пускать, а проезжающие машины пусть едут себе дальше. Колымская трасса длинная — две тысячи километров. Лагерей впереди не счесть. Где-нибудь да приютят. А если и нет — пусть спасибо скажут, что заключенных везут на машинах. Начальник хорошо помнил, как в тридцать восьмом гнали от Магадана на север пешие этапы — по пятьсот

и более километров. Да не летом гнали, а зимой, в лютый мороз. И ничего — шли! До места, правда, доходили не все. Бывало, что из тысячного этапа в поселок Ягодное добиралось сто человек. Остальные оставались лежать в сугробах вдоль трассы — скрюченные синие трупы, превратившиеся в ледяные изваяния. Теперь-то что! До Ягодного можно доехать за двое суток. До Сусумана — за трое. Из машины можно вообще не вылазить. Красота.

И так бы и порешили, если бы не конвой. Конвойным положен отдых и полноценный паек. Вот и приходится останавливаться там и тут, теряя драгоценное время. Но на этот раз потери были сведены к минимуму: машины сразу поехали дальше. Местность постепенно поднималась, плавно переходя в высокогорье. Дышать становилось заметно труднее. Солнце зашло, и сразу сделалось темно и холодно. Заключенные укутались в свое тряпье и согнулись, стараясь сберечь остатки тепла. Пётр Поликарпович стал утрачивать чувство реальности. Эта темнота, эта непрекращающаяся тряска, этот ледяной ветер, дующий сзади и сбоку, эти болезненные удары в спину и с боков, этот надсадный шум мотора и странное чувство полета — все смешалось в какую-то какофонию.

Но все кончается, рано или поздно. Закончился и этот этап. К исходу вторых суток, преодолев пятьсот двадцать километров, обе машины въехали в поселок Ягодное — административный центр огромного золотоносного района, на территории которого были самые страшные колымские лагеря, в их числе знаменитая расстрельная тюрьма «Серпантинка», о которой ходили жуткие слухи и которой пугали всех заключенных на Колыме. Тут же были лагеря «Штурмовой» и «Ледяной», «Бурхала» и «Свистопляс», «Дикий», «Эльген», «Партизан», прииски им. Горького и Водопьянова, знаменитая «Джелгала» (которую Шаламов впоследствии называл «сталинским Освенцимом») и еще несколько десятков лагерей; все они добывали золото; попасть в любой из них было равносильно смерти. Через полвека жители Ягодного установят памятник на месте «Серпантинки», на черной гранитной плите выбьют текст:

На этом месте находилась следственная тюрьма «Серпантинка».
Здесь были казнены десятки тысяч репрессированных граждан,
прах которых покоится в этой земле.

Но ведь у каждого лагеря тоже были свои братские могилы. Никто бы не стал увозить трупы заключенных в другой лагерь. Да и какая разница, где хоронить? Земля везде одинаковая. Главное, сделать так, чтобы незаметно. На месте захоронений — ни крестов, ни памятников, ни опознавательных знаков. Уж если тут к живым не было никакого сочувствия, то к мертвым и подавно.

Вновь прибывших приняли в Ягодном сравнительно неплохо — всех их разместили в местной пересылке. В столовой налили каждому полную миску горячей баланды, которую все признали необыкновенно вкусной (после двух суток черствого хлеба и ледяной воды). Потом их отвели в барак и заперли на ночь. Пётр Поликарпович доплелся до нар и упал лицом вниз на голые доски. Вокруг суетились и шумели — он ничего не слышал. Через минуту уже спал — как есть, в одежде и в ботинках, прижимаясь щекой к доске и вовсе не чувствуя неудобства. О том, что будет дальше, он не думал. На это не было сил.

Утром, когда заключенных выгнали из барака, Пётр Поликарпович увидел довольно высокие, покрытые снегом горы, окружившие поселок сплошной цепью. До гор было километров пять. Пересыльный лагерь расположился на пологом склоне чуть севернее поселка. С южной стороны, далеко внизу, виднелась довольно широкая река, которая носила странное имя Дебин, деревья на ее берегах назывались чосении (или «чизеня», как величали их местные). Геологи пришли сюда каких-нибудь десять лет назад и подивились удобному расположению долины и обилию ягод. Росли тут голубика и брусника — в изобилии. Так и прозвали всю эту долину — Ягодная, будто надеялись, что здесь будут добывать ягоду, закатывать ее в бочки и отправлять на материк… Ничего подобного, к сожалению, не случилось. Ягоду заключенные и в глаза не видели. А на материк отправляли одно лишь золото — десятками тонн. Взамен оставляли в долине выпавшие зубы и волосы и даже целые скелеты с остатками гниющей плоти — тысячи, десятки тысяч скелетов обычных людей, не помышлявших ни о каком золоте, ни о какой Колыме, слыхом не слыхивавшие этих чудных названий: Ягодное, Дебин, Хатыннах, Среднекан… Однако все это стало для них не просто реальностью, а стало их новой жизнью — во всей полноте и беспощадности. К этому надо было привыкать с первого же шага.

В Ягодном вновь прибывших заключенных, конечно же, не оставили. Тут были свои счастливцы, отбывавшие сроки в пересыльном лагере, избавленные от общих работ, держащиеся за свои места со всей неистовостью загнанного в угол человека. Тут же, за поселком, в каких-нибудь шести километрах, была знаменитая на всю Колыму больница — Беличья, на сто с лишним коек. В этой больнице спасался от смертных золотых забоев Варлам Шаламов. Этап, которым привезли в Ягодное Петра Поликарповича Петрова, проехал мимо этой больницы, в километре от ворот, за которыми находился будущий летописец Колымы, тридцатитрехлетний и пока еще никому не известный заключенный — высокий и страшно худой, смахивавший на старика, шатавшийся от слабости и ведущий отчаянную борьбу за свою жизнь. Шаламов многое мог бы рассказать Петру Поликарповичу о золотых приисках Хатыннаха, где он сам едва не погиб пару лет назад. Но встреча эта не состоялась. Жизнь гораздо прозаичнее художественного вымысла. Счастливые встречи и

совпадения чрезвычайно редки в реальной жизни. В реальной жизни человек не спасается от смерти в последнюю секунду. Ему не дают единственно верного совета, когда совет этот жизненно необходим, ему не протягивают руку помощи, когда он молит о спасении. Земля без всякого намека и предупреждения разверзается под ним, и он летит в бездну — под громкий хохот окружающих. Даже если кто-то и не смеется, то и не пытается спасти. Всем все равно (за редчайшим исключением, как это было в случае с Шаламовым).

Итак, путь для всех заключенных лежал дальше. В Ягодном этап разделили: одну машину отправили на прииск «Партизан», а другую — на прииск имени Водопьянова. Пётр Поликарпович оказался во второй машине. И хотя обе машины поехали по одной дороге и сами прииски находились не очень далеко друг от друга (сорок километров по прямой), но судьбы заключенных с этой минуты разошлись раз и навсегда. Никто больше не слыхал о тех, кто ехал в другом грузовике. Да никто особо и не интересовался.

Сразу за поселком машина свернула с Колымской трассы направо и поехала на север. Дорога едва заметно поднималась в гору, пока через пять километров вдруг не стала петлять. Подъем стал заметно круче. Скорость упала, мотор натужно ревел. Уклон все возрастал, машина газовала из последних сил, и казалось, вот-вот остановится. Заключенные с беспокойством оглядывались. Самое время выпрыгнуть из кузова. Но конвойные спокойно сидели на своих местах. Видно, им все это было не впервой.

И точно, через несколько минут грузовик одолел крутой подъем, сделал очередную петлю и, вырвавшись на простор, стал набирать ход. Пётр Поликарпович невольно залюбовался открывшимся видом. Горы здесь были крупнее, чем возле Магадана. Все тут было строже и суровее.

Машина рвалась вперед. Горная цепь уплывала вправо и назад. Еще один поворот, и машина выехала на равнину. Сразу сделалось холоднее, все это почувствовали и принялись натягивать на себя брезент. Но ехать было уже недалеко. Через несколько километров дорога пошла под уклон, потом вдруг завернула влево, потом вправо, потом опять влево… — началась знаменитая «Серпантинка» — дорога, давшая название одному из самых страшных колымских лагерей. Мимо этого лагеря проезжали все этапы, идущие на Хатыннах — на его жуткие прииски. Никто из проезжающих не знал, что каждую ночь здесь расстреливали людей — десятками, а иногда и сотнями зараз. Хоронили их тут же, в длинном глубоком овраге. Людей выстраивали в шеренгу на откосе, потом в них стреляли, и люди падали вниз, где уже лежали под тонким слоем земли их товарищи; упавших присыпали сверху, приготовляя место для следующей партии казнимых…

Проехал мимо «Серпантинки» и Пётр Поликарпович. Взгляд равнодушно скользнул по двум деревянным вышкам, мелькнувшим слева, в

двухстах метрах от дороги. Вышки эти он видел вдоль Колымской трассы бессчетное число раз, и все они походили одна на другую. Одной больше, одной меньше — какая разница?

Вся эта местность была густо усеяна лагерями, потому что в двадцать восьмом году доблестные советские геологи нашли здесь богатейшие россыпи промышленного золота. Поселок Хатыннах стоял посреди золотоносных песков, которые, впрочем, снаружи ничем не отличались от песков обычных. Заключенные с недоумением глядели на неглубокую речушку с ее причудливыми извивами, на бурую растительность на берегах и желтые отвалы песков, на белесые камни и сухую глину на дороге, поднимали взгляд на цепочку гор, словно бы охранявшую долину от злых духов. Чувствовалось как-то сразу, что это был своего рода «затерянный мир» — со своим воздухом, со своими запахами и со своим особенным небом.

Машина остановилась посреди поселка.

Конвоиры сорвали с кузова брезент.

— Вых-ходи! — прозвучала команда.

Заключенные стали вразнобой прыгать на землю. К ним уже шли от лагерных ворот двое военных. Над воротами висел знакомый лозунг: «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства».

— От работы кони дохнут! — хмыкнул кто-то.

Заключенных построили в колонну и сделали перекличку. После этого повели к воротам. Пётр Поликарпович прошел под лозунгом, чувствуя нарастающую тревогу. Впереди виднелись приземистые черные бараки, все они казались нежилыми. На самом деле в бараках спала ночная смена. Работа на прииске была организована предельно просто и эффективно — никаких выходных и никаких простоев. Заключенные работали в две смены, по двенадцать часов, сменяя друг друга — в любую погоду и в любое время года. Пока одни кайлили грунт, другие занимали опустевшие бараки (и наоборот). Золота в земле лежало много. Лагерное начальство торопилось его взять и получить положенные награды и повышение по службе. С начальства спрашивали только план — требовали тонны благородного металла. Сколько при этом погибнет заключенных, в каких условиях они живут и каковы их человеческие потребности — об этом у начальства голова не болела, потому что для начальства это было третьестепенным делом. За гибель людей никого не наказывали. А вот за невыполнение плана наказывали всех, начиная с начальника лагеря и заканчивая последним доходягой. Начальник писал отчеты и объяснительные и рисковал не только погонами, но и своей головой, а доходяги расплачивались своими ребрами и выбитыми зубами (потому что больше с них нечего было взять). Выполнение плана достигалось просто: заключенных нещадно били, лишали пищи, садили в ледяной карцер, тащили на работу на специальных волокушах, влекомых лошадьми; иных расстреливали — для острастки. Впрочем, неизвестно, что было хуже — медленная смерть от голода и побоев или мгновенная

пуля в затылок. Многие заключенные считали, что последнее гораздо гуманнее и легче.

Все прибывшие ждали баню и санобработку. Но тут свои порядки. Новичкам выдали кайла и лопаты и повели не в барак и не в столовую, а в разрез, где с восьми утра трудилась дневная смена. Разрез находился в полукилометре от лагеря, на берегу Хатыннаха. В огромной глубокой яме овальной формы копошилось множество людей. По песчаному дну были проложены деревянные мостки, заключенные катили тачки с грунтом по этим мосткам, высыпали содержимое в стоящий наверху большущий деревянный короб; внутри бутары (так назывался короб) работало двое заключенных: они сваливали грунт лопатами в округлое отверстие — прямо на движущуюся внизу ленту, которая доставляла грунт наверх, к промывочному прибору. Пётр Поликарпович впервые видел столь странную конструкцию: что-то вроде детской деревянной горки для катания на санках. Только горка была высотой с пятиэтажный дом и имела два длинных пологих спуска. То есть спуск был один, а другой служил для подъема. Все эти премудрости были пока еще неведомы Петру Поликарповичу, но ему и не потребовалось этого знать. Его поставили среди тех, кто наполнял тачки золотоносной рудой — на самом дне разреза. Лопата была совковая, с длинной неудобной ручкой. Но Пётр Поликарпович умел обращаться с этим нехитрым инструментом и, поплевав на ладони, энергично принялся за работу. Его появление не вызвало никакой реакции у соседей, будто он сто лет тут стоял. Никто даже не повернул головы. Все мерно захватывали лопатами каменистый грунт и кидали его в деревянные тачки, наполняя их до краев. Пётр Поликарпович с уважением посмотрел на тех, кто возил эти тяжелые и неудобные конструкции вверх по трапу. Веса в них явно было больше центнера.

Первый час работа спорилась. Пётр Поликарпович разогрелся и даже повеселел. Ничего! Не так страшен черт, как его малюют. К тому же наступило время обеда. Против ожидания, заключенных не погнали в столовую, а стали раздавать кашу в мисках тут же, в карьере. Дали такую миску и Петру Поликарповичу. Усевшись на камень, он стал неспешно есть водянистое варево, внимательно оглядывая окружающих. Все ели торопливо, не глядя по сторонам. В эти же миски наливали жидкий несладкий чай и давали всем по пирожку с картошкой.

На все про все ушло меньше десяти минут. Еще минут пять отдыхали, растянувшись на земле, а потом где-то наверху ударили в рельс, все подняли с земли лопаты, взялись за тачки — и работа продолжилась. Такая спешка не понравилась Петру Поликарповичу, но он ничем не выдал своего удивления. Нужно работать не хуже других, ведь он решил делом доказать свою лояльность, ударным трудом искупить вину (пускай и несуществующую). Пусть его считают врагом — это не главное. Главное — работать не хуже других. И тогда все оценят его старание, его терпение и мужество.

Однако все оказалось не так просто. К вечеру на ладонях появились волдыри, а спина почти уже не разгибалась. Лопата не держалась в ослабевших пальцах, в глазах мутилось. Пётр Поликарпович с тоской поглядывал на товарищей, без устали махавших лопатами. Иногда они менялись: те, кто катал тачки, брали в руки лопаты, а рудокопы катили тачки к бутаре. Но к Петру Поликарповичу никто не подходил, не предлагал поменяться. Лишь бригадир — задумчивый белобрысый мужик деревенского вида — изредка бросал на него косые взгляды и тут же отворачивался. Он и сам не стоял на месте, работал наравне со всеми.

Уже смеркалось, когда в разрез спустилась вторая смена. Пётр Поликарпович с облегчением положил лопату на землю и пошел вслед за всеми наверх. Дальше как обычно: сердитый конвой, бестолковое построение и перекличка хриплыми голосами; бригада наконец двинулась в лагерь. Пётр Поликарпович чувствовал какое-то раздвоение: он точно знал, что сегодня утром приехал в этот лагерь на грузовике, и в то же время ему казалось, что он уже давно тут находится. Вот сейчас они придут в столовую, сядут за липкие столы и будут безразлично жевать безвкусную кашу. Потом двинутся в барак, лягут на нары и провалятся в сон, как в яму. Словно и не уезжал из магаданской пересылки. Те же бараки, такие же бушлаты и телогрейки и та же печать отрешенности на измученных лицах.

Вечером бригадир подвел его к вагонке и сказал, положив руку на верхние нары:

— Вот твое место. Тут будешь спать. Подъем в шесть. Вставай сразу по команде. Делай то же, что и все. Понял? — И он поднял блеклые глаза на Петра Поликарповича. По взгляду этому нельзя было сказать: добр он или зол, умен или глуп. Глаза ничего не выражали. Они таили в себе пустоту.

Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул:

— Да, я понял. — И тут же спросил: — Тебя как зовут? Есть тут зачеты рабочих дней?

Бригадир уже повернулся уходить, но остановился, глянул сбоку.

— Зачетов тут нет. А зовут меня Лёхой. Фамилия Зимин. Статья пятьдесят восемь, пункт десять. Будут еще вопросы?

Пётр Поликарпович отрицательно мотнул головой. Хотя вопросов у него имелось множество: почему нет зачетов; есть ли тут больница; какова продолжительность рабочего дня; какие нормы питания; когда будет баня и где взять рукавицы для работы. Но он посчитал нескромным так вот сразу обрушивать на бригадира столько тем. Есть ведь и другие люди, можно у них узнать.

Взобрался на шконку и увидел на соседнем лежаке черноволосого мужчину крепкого сложения. Тот смотрел на него в упор. Лицо скуластое и серьезное, но не злое.

— Здравствуйте, — сказал Пётр Поликарпович. — Соседями теперь будем.

Мужчина отозвался:

— Устраивайся. Наверху-то оно теплее. Сейчас пока еще ничего, а как морозы придут, так все наверх полезут. Еще и драться будут за места.

Пётр Поликарпович насторожился:

— А что, холодно тут бывает?

Мужчина криво улыбнулся:

— Да уж не жарко. Прошлую зиму я был на Сусумане, так там три недели кряду минус пятьдесят пять держалось. В марте еще были морозы за сорок. А тут нисколько не теплее. Так-то, браток.

Пётр Поликарпович помнил по своей деревне сорокапятиградусные морозы, как мгновенно прихватывало щеки, а вздохнуть было невозможно — воздух обжигал легкие, будто наждачной бумагой водили изнутри. Пробежать по такому морозу пять минут еще как-то можно, а целый день пробыть на улице — нет, нельзя. Это он знал твердо. И все односельчане знали. В лютые морозы они сидели по избам и круглые сутки топили печи березовыми дровами. Лепили пельмени всей семьей, сидя за круглым столом, ставили кипятиться пузатый самовар, смотрели сквозь замерзшее стекло на заснеженную улицу и радовались, что в доме тепло и уют, пельмени и квашеная капуста.

— Послушай, как тебя? — обратился он к черноволосому.

— Дмитрием родители прозвали.

— Дмитрий, значит. Хорошо. А скажи-ка, когда морозы стоят, вы ведь не работаете? Мне говорили, что в сильные холода на работу не выгоняют. Потому что не положено.

Черноволосый оживился:

— А это уж как начальник решит. Надо будет — и в шестьдесят градусов отправит в забой, и будешь ты всю смену вкалывать, пока не околеешь. Бывали такие случаи! Конвою что — разожгут костры и греются весь день у огня да меняются каждые два часа, а ты паши как проклятый — одно и есть спасенье. А не то замерзнешь… — И он добавил крепкое словцо, которое тут было очень кстати.

Пётр Поликарпович судорожно сглотнул:

— И что же, приходилось тебе в такой мороз вкалывать?

Черноволосый помрачнел:

— Приходилось. И тебе придется. Не переживай. Зима тут длин-ная! На всех хватит. А станешь отказываться — еще хуже будет. На «Штурмовом» прошлую зиму такую штуку откалывали: всех отказчиков загоняли в бревенчатый сруб без окон и с одной дверью, запирали на замок, а сруб ставили на сани, отвозили на тракторе в тайгу за несколько километров и там оставляли. Через сутки сруб привозили обратно, замерзшие тела выбрасывали, а внутрь загоняли следующую партию. Так и жили целую зиму. Зато работали как черти, боялись, что в тайгу увезут. А тут начальник вроде ничего. Сильно не злобствует. Хотя законы везде одни. За три невыхода — расстрел. Так что сам смотри.

Больше Пётр Поликарпович ни о чем не спрашивал. Да и сил не было долго говорить. Он уронил голову на доски и сразу же уснул тяжелым сном наработавшегося за день человека.

Кажется, только закрыл глаза — и уже орут подъем. Голова раскалывается от боли, все тело как неживое, нет сил пошевелиться. Но все вокруг поднимаются, прыгают на пол и уже топчутся в проходе. Спины раскачиваются в полутьме, никто ни с кем не разговаривает, только вдруг зарычит кто-то среди толпы, произойдет сумбур, толкотня, неловкая драка с воплями и тумаками и тут же стихнет, снова качаются спины — бригада идет из барака.

Превозмогая себя, Пётр Поликарпович поднялся с нар и спустился на пол. Он спал в телогрейке и в ботинках, так и поплелся вслед за бригадой.

Это первое утро на прииске запомнилось ему надолго. Все в диковинку: довольно крепкий мороз и выпавший ночью снег, низкое мутное небо, пронизывающий ветер. Пейзаж вокруг зловещий, какой-то нечеловеческий. Забытое Богом место, проклятая земля! Пётр Поликарпович поспешно опустил глаза. В груди заныло. Как же тут выдержать четыре нескончаемых года? Еще зима не наступила, осень только началась, а уже так холодно и бесприютно. Что же будет, когда придут настоящие морозы?

Брел в колонне, стараясь не думать о том, что будет дальше. Жить одной минутой — вот спасенье для колымчанина! Не заглядывать далее сегодняшнего дня. А иначе — сойдешь с ума или бросишься с кручи вниз головой.

Когда они уже были в разрезе, к Петру Поликарповичу подошел бригадир.

— Будешь работать в паре с откатчиком, — произнес, глядя исподлобья. — Норма на двоих — двадцать кубов. Если не выполните, оба у меня сядете на штрафпаек. Я за вами следить буду. — И пошел прочь, не дожидаясь ответа.

Стоявший рядом заключенный — невысокий щуплый парень — смачно сплюнул и выругался.

— Вот же наградили меня напарничком. Я-то почему должен за тебя отдуваться? — И со злостью посмотрел на Петра Поликарповича.

— Да ты не кипятись, — сказал тот. — Я работать умею, не впервой.

— Ага, умеет он, — проговорил парень. — Видел я вчера, как ты умеешь. В общем, смотри, будешь филонить, я тебя вот этим вот кайлом приголублю, понял? Я из-за тебя подыхать не хочу.

Пётр Поликарпович кивнул:

— Ладно. Хватит трепаться. Давай работать.

Парень взял пустую тачку и подкатил к куче мерзлого песка.

— Объясняю первый и последний раз, — сказал внушительно. — Вот в эту тачку входит одна десятая куба. Нам на двоих нужно загрузить и перевезти в бутару двадцать кубов, это двести тачек. Сечешь?

Пётр Поликарпович снова кивнул.

Парень продолжил:

— Работаем так: сначала ты насыпаешь, а я катаю. Потом меняемся. Ты мне наваливай тачку с горбом, а я тебе пока буду накидывать неполную, чтоб не скопытился с непривычки. Откатка тут не очень далекая, но катить нужно в гору. Главное, держи колесо на доске. Вильнешь в сторону — и улетишь на фиг. Что рассыплешь — голыми руками будешь собирать. Там наверху нарядчик стоит с арматурным прутом. Гляди, чтобы не перетянул тебя по хребту. Спиной к нему лучше не поворачивайся. Тут от него уже пострадали двое, под сопкой оба лежат. Смотри, я тебя предупредил.

После таких речей Петру Поликарповичу ничего не оставалось, кроме как накинуться на работу. Он взялся за лопату и стал энергично кидать грунт в тачку. Ладони саднило от вчерашних мозолей, спина не гнулась, дышалось тяжело, но он терпел и все кидал и кидал тяжелые смерзшиеся куски в прямоугольный зев тачки, пока не заполнил весь объем.

— Хорош, — остановил парень. — Смотри, как я делаю. Сначала приподнимаешь за ручки, но не шибко высоко, а слегка, только чтобы упоры от земли оторвать; потом упираешься в землю ногами и наклоняешься всем весом вперед; толкать нужно прямо перед собой, и смотри держи равновесие. Тут почти центнер веса, если что — не удержишь.

Пётр Поликарпович внимательно смотрел, как парень сноровисто взялся за деревянные ручки, поднял рывком сантиметров на пять, резко наклонился всем телом и толкнул тачку вперед; та словно бы нехотя сдвинулась и поехала, доска под ней гнулась и трещала.

— Наваливай вторую, пока я обернусь! — крикнул парень.

Пётр Поликарпович отер рукавом телогрейки взмокший лоб и перехватил поудобнее лопату.

Первые десять тачек промелькнули как в калейдоскопе. Но потом дело внезапно осложнилось. Песок закончился, кидать стало нечего.

— Бери кайло и руби скальник, — сказал парень, быстро оценив обстановку. — Тут порода мягкая, хорошо пойдет.

Пётр Поликарпович недоверчиво глянул на округлую выемку в вертикальной скале.

— Так это же долго будет, — произнес неуверенно. — Не успеем норму сделать.

— А ты как думал? Если не кайлить, так любой дурак справится. А ты попробуй сначала раздолби эти кубики, а потом уж вози! Давай, не филонь. Обед уже скоро.

Пётр Поликарпович поднял с земли железное кайло с деревянной ручкой. Ручка была короткая, круглая, занозистая, а кайло — чуть изо-

гнутое, похожее на клюв ворона. Весу в нем было не меньше трех килограммов.

Неуверенно размахнувшись, Пётр Поликарпович воткнул кайло в песчаный откос.

— Ты че, дурак? — воскликнул парень чуть не с восторгом. — Ты бей под камень, выворачивай его из земли. А песочек можно и лопатой взять. Смотри, как это делается!

Схватив другое кайло, он стал прицельно бить под округлый камень, выпирающий из стены. Несколько ударов, уверенный зацеп железным клювом, и камень вывалился на землю.

— А теперь лопатой шуруй! — сказал парень, опуская кайло и выпрямляясь. — Давай-давай, не стой. Время не ждет.

Пётр Поликарпович ткнул лопатой в стену, но безуспешно. Лопата упиралась в смерзшийся грунт, скользила вбок, опадала на землю.

— Да-а-а, — протянул парень. — Так мы с тобой далеко не уедем.

Он поплевал на ладони и взялся за кайло.

— Отойди-ка!

Через пять минут у его ног образовалась приличная куча.

— Ну чего стоишь, бери лопату, закидывай в тачку! — крикнул парень, продолжая энергично махать кайлом.

Пётр Поликарпович подивился такой силе в тщедушном теле. Мелькнула мысль: стоило ли так надрываться ради усиленного пайка?

Но он еще не знал, что это такое — штрафной паек. Каково это — когда не только бригадир, но и вся бригада презирает тебя, обзывает филоном, а каждый второй норовит дать подзатыльник. Когда повар на раздатке с отвращением швыряет тебе миску, а дневальный замахивается палкой всякий раз, когда проходишь мимо. Всего этого Пётр Поликарпович пока еще не испробовал, но глухая тревога уже шевелилась в душе. Все вокруг работали как звери, не поднимая головы и невзирая ни на холод, ни на усталость. «Видно, тут так принято», — подумал Пётр Поликарпович. Он взял лопату и принялся накидывать грунт в тачку.

Когда тачка была полна, парень кивнул:

— А теперь кати ее наверх.

Пётр Поликарпович помедлил секунду, потом взялся за деревянные ручки, попробовал на вес. Едва-едва оторвал тачку от земли и сразу едва не опрокинул. Казалось невозможным сдвинуть ее с места. Парень бросил кайло и быстро подошел. Взял лопату и выкинул из тачки излишек грунта.

— Давай, пробуй. Я за тебя рвать жилы не собираюсь.

Пётр Поликарпович поднатужился и поднял-таки тачку, качнулся пару раз и сдвинул с места. С неимоверными усилиями прокатил несколько метров по доске и выехал на центральный трап.

Тут же на него заорали сзади:

— Ходу!

Он оглянулся — и не удержал тяжелый груз, тачка завалилась на сторону, почти весь грунт высыпался на землю.

Тут же подскочил десятник с перекошенным лицом:

— Эх ты, раззява! Чего стоишь, болван, собирай быстро, пока я тебе в глотку этот песок не затолкал!

Пётр Поликарпович стал торопливо собирать вывалившийся грунт голыми руками. Дело шло очень медленно, тачка никак не наполнялась.

Десятник стоял рядом, ударяя в левую ладонь железной арматуриной. По лицу его перемещалась кривоватая ухмылка. Не понять было, радуется он или щерится от злости. Пётр Поликарпович изредка бросал на него взгляды через плечо, памятуя о предупреждении напарника.

Собрал грунт и, напрягая все силы, покатил тачку к бутаре. Этот промах научил его многому. Он понял, что ни на сантиметр нельзя нарушать равновесие: если тачку повело вбок, то уже не удержишь. И еще он понял, что нужно выбирать такой момент, когда по трапу никто не бежит. Он видел, как здоровущие тачечники попросту сшибали с трапа замешкавшихся товарищей, не желая ждать, когда те посторонятся. Принял это как данность, с которой придется жить. А еще с ужасом ощутил свою слабость. Все эти заключенные, высокие и низкие, жилистые и неказистые — были сильнее его. Он был тут самым слабым, и ощущение собственного бессилия поразило его. Он вдруг понял, что ни интеллект, ни образование, ни широта души тут ничего не значат. Ценилась одна лишь физическая сила. Выносливость животного — вот что было в почете. Будь он моложе лет на двадцать, он бы все превозмог, научился бы, приспособился. А что же теперь?

Но рассуждать некогда. Остановиться нельзя. Пётр Поликарпович высыпал грунт в деревянный короб и покатил ставшую вдруг невесомой тачку вниз по запасному трапу.

Он хотел снова взять кайло, но парень не позволил:

— Катай пока тачку, приноравливайся. Полную не насыпай. Сегодня уж как-нибудь обойдемся. А завтра будешь возить по полной, как все.

И еще два часа Пётр Поликарпович возил на бутару золотоносный песок. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Казалось, что это последний рейс, больше он не сделает и шага. Но в забое его уже ждала новая тачка с песком и он молча брался за неудобные ручки. Парень смотрел на его усилия неодобрительно, но помалкивал. Может, из уважения к возрасту, а может, вспомнил себя, как он сам тут работал первые дни. Так и дотянули они до обеденного перерыва. Пётр Поликарпович, покачиваясь, поднялся на пригорок и без сил опустился на холодный камень. Все вокруг торопились получить свою порцию каши, ревниво заглядывали в миски соседей, глотали водянистое варево и поминутно оглядывались, будто ждали нападения разом со всех сторон. Пётр Поликарпович

вовсе не чувствовал голода, его подташнивало и клонило к земле. Он со страхом думал о том, как будет работать дальше. Сил уже не осталось, от одного вида тачки его мутило.

— А ты чего не жрешь? — вдруг услышал он из-за спины.

Обернувшись, увидел своего напарника. Тот держал в одной руке миску, а в другой горбушку хлеба.

— Иди скорей за пайкой, пока не уехали. — Он кивнул на стоявших поодаль раздатчиков в грязных фартуках.

Пётр Поликарпович поднялся:

— Да, я сейчас…

Через несколько минут он подходил к раздатчикам. Один из них — здоровый лоб — смерил его взглядом:

— А тебе что, особое приглашение надо? В следующий раз опоздаешь — будешь лапу сосать у медведя! — Он захохотал во весь рот, сверкая фиксами. Отсмеявшись, шмякнул в миску черпак каши. — На, шамай, пока я добрый.

Пётр Поликарпович взял миску и хлеб, отошел в сторону. Ложки ему не дали, и кашу он отхлебывал через бортик, увидев, как это делают другие. Каша была чуть теплая, жидкая и совершенно безвкусная. Кое-как проглотив это варево, он вернул миску и пошел обратно в забой. Напарник уже держал в руке лопату, приготовившись кидать грунт.

— Ну что, успел похавать? — спросил.

— Успел, — кивнул Пётр Поликарпович.

— Вот и ладно. Бери кайло и долби потихоньку. А я покидаю.

Пётр Поликарпович поднял с земли кайло и шагнул к отвесной выемке. В это время ударили в рельс. Обед закончился.

Дальнейшее было как во сне. Пётр Поликарпович так и эдак ударял кайлом в отвесную стену. Кайло то вонзалось в грунт, то отскакивало от камня и летело вниз. Раза два он заехал себе кайлом по ноге, до крови содрал ладони о корявую рукоять и поминутно отирал пот со лба и щек. Казалось, время остановилось, а проклятой работе не будет конца. Он забыл обо всем, видел лишь бугристую стену перед собой и слышал резкий режущий звук от лопаты, вонзающейся в песок. Напарник споро набрасывал полную тачку и увозил ее прочь. Через несколько минут возвращался и брался за лопату. А Пётр Поликарпович продолжал орудовать кайлом, которое становилось все тяжелее. Во рту пересохло, перед глазами стоял туман, и он уже не понимал, что делает. В какой-то момент почувствовал руку на плече и оглянулся.

— Отдохни чуток, — сказал парень, — а то с копыт скоро упадешь.

Пётр Поликарпович опустил кайло, подержал его в подрагивающих руках и словно бы нехотя бросил себе под ноги. Кайло глухо стукнулось о землю.

Парень все смотрел на него.

— Скажу бригадиру, чтоб перевели тебя на другой участок, — произнес раздумчиво. — Тут ты не работник. И я из-за тебя ноги протяну.

Пётр Поликарпович слышал эти слова, но никак не мог вникнуть в их смысл. Понял лишь, что им недовольны. Но он и сам понимал, что работник он никудышный. Там, в Магадане, тоже было тяжело, а порой мучительно, но то, что испытывал он здесь, не шло ни в какое сравнение с работой на Колымской трассе. Там можно было иногда останавливаться и работать не в полную силу, а здесь нельзя стоять ни секунды. Там обычная лопата и нормальные «человеческие» носилки. Здесь же, кроме тяжеленной лопаты, страшно неудобное кайло и неподъемная тачка, которую нужно катать двенадцать часов кряду. К концу смены они с напарником едва набрали половину нормы. Виноват в этом был Пётр Поликарпович, о чем напарник поминутно напоминал, обещая никогда больше не вставать в пару с таким филоном.

Кое-как дотащившись до барака, Пётр Поликарпович рухнул на нары и сразу забылся тяжелым сном животного, загнанного до полусмерти.

И снова было тяжкое пробуждение, словно он восставал из мертвых. Кто-то орал ему в ухо, тормошил и дергал за рукав, потом посыпались удары, от которых он, как ему казалось, уворачивался, но на самом деле голова его безвольно моталась по доскам, а сам он походил на тряпичную куклу. Наконец, его сбросили с лежака и он сверзился на пол с полутораметровой высоты. Опора вдруг ушла из-под него, он ощутил щемящее чувство полета, инстинктивно весь сжался и вдруг грохнулся оземь; все тело прошила судорога, в голове ослепительно взорвалось, он вскрикнул от боли и широко раскрыл глаза.

— Поднимите его, — приказал кто-то.

Пётр Поликарпович почувствовал, как его берут под руки и поднимают. Поставили на ноги и крепко встряхнули.

— Ну же, стой прямо, тебе говорят!

Пётр Поликарпович поднял голову и, словно в радужной дымке, разглядел приземистого человека с волчьими глазами.

— Пойдешь на работу? — спросил тот.

Пётр Поликарпович стоял, крепко сжав челюсти. Человек вдруг сделал шаг и как-то странно дернулся. В ту же секунду голова Петра Поликарповича откинулась от сильного удара. Во рту стало горячо. Он провел языком по сломанным зубам и выплюнул кровавое крошево на пол.

— Последний раз спрашиваю: будешь работать, гад? — последовал новый вопрос.

Пётр Поликарпович шатался как пьяный. Теперь он уже и не мог ничего ответить. Не чувствовал ни губ, ни языка. Рот быстро наполнялся кровью, которую нужно глотать, чтобы не захлебнуться.

Человек замахнулся, и Пётр Поликарпович упал навзничь, крепко ударился затылком о доски и потерял сознание. Спасительная тьма хлы-

нула в мозг. И это было для него действительным спасением. Удостоверившись, что он в «полной отключке», бригадир с дневальным отступились. Послали за местным «лепилой», а вся бригада отправилась в столовую, потом на работу. Смертельную карусель ничто не могло остановить.

Фельдшер — высокий худой дядька со злым лицом — пришел быстро. Наклонившись, долго всматривался в лежащего на полу человека. Потом выпрямился и изрек:

— В стационар.

Дневальный тут же запротестовал:

— Да ты что, начальник, какой стационар? Он же ничем не болен, обычный филон. Получил по морде пару раз от бригадира, и поделом ему!

Фельдшер посмотрел на него в упор:

— Ты хочешь, чтоб он тут дуба нарезал? Он сейчас кровью изойдет, а на тебя дело заведут, срок добавят.

— Я-то тут при чем? — опешил дневальный. — Я его пальцем не тронул.

— Ты не позволил оказать ему медицинскую помощь. Я в рапорте так и напишу, а там уж пусть с тобой опер разбирается. Ну, что будем делать?

Дневальный сплюнул с досады:

— Черт с тобой, забирай. Только бумажку мне напиши, а то с меня спросят.

— Будет тебе бумажка, — заверил фельдшер и стал осматриваться. — Это кто там у тебя в углу ошивается?

Дневальный осклабился:

— Там Зюзя со своими шестерками. Лучше не соваться. Сам знаешь, поди.

— Знаю. Ты вот что, пойди скажи Зюзе, чтобы пару человек прислал. Этого доходягу нужно отнести в больничку. Или ты сам понесешь?

— Я-то скажу Зюзе, — нехотя молвил дневальный. — Только смотри, пошлет куда подальше. С него станется.

— Не пошлет. Скажи, что я попросил. Потом рассчитаемся.

Дневальный пошел в дальний угол.

Пётр Поликарпович не слышал этого диалога. Не чувствовал, как его подхватили за руки и за ноги, положили на носилки, потом несли, раскачивая, по зоне. Втащили в процедурную и бросили на деревянный стол, накрытый клеенкой.

— Все, начальничек, мы пошли.

Двое заключенных с серыми, словно бы стертыми лицами развязной походкой почапали из процедурной. Фельдшер подождал, пока они уберутся, глянул в окно и задернул занавеску. За два года своей практики он много видел выбитых зубов, сломанных костей, вытекших глаз, вспоротых животов. Но все никак не мог привыкнуть к этим бессмыс-

ленным избиениям ослабевших от голода и совершенно беззащитных людей. Поделать он тут ничего не мог — ни предотвратить жестокость, ни вернуть искалеченным людям здоровье, вставить выбитые зубы. Из лекарств у него была одна лишь марганцовка, а все лечение сводилось к простейшей антисептике и полному отдыху больного, во время которого организм восстанавливал себя сам. Или не восстанавливал. В таком случае больной отдавал душу Богу. Его переносили в холодный пристрой и бросали на пол. Когда трупы уже некуда было складывать, их увозили на грузовике к ближайшей сопке, где сваливали в большую уродливую яму, а потом забрасывали камнями и снегом. В официальных бумагах указывали вполне приличную причину смерти каждому умершему: «Рак желудка», «Двусторонняя пневмония», «Инфаркт» или что-нибудь подобное. Истинную причину — дистрофию, пеллагру, обморожение или переломы черепа или костей — указывать не разрешалось. Если десятник в припадке бешенства прибьет железным прутом какого-нибудь доходягу — не подводить же этого десятника под расстрел... Где ж тогда десятников набрать?! И когда блатные, куражась, режут в бараках «контриков» и «террористов» — не расстреливать же их! Десятники заботятся о выполнении плана по добыче золота (это нужно понимать и ценить), а урки помогают держать в узде всю эту ораву вредителей и смутьянов, мягколобых интеллигентов-путаников, помогая тем самым администрации в ее отчаянных усилиях по перевоспитанию отбросов. Все фельдшера, все лагерные «лепилы» должны были участвовать в этом грандиозном сокрытии правды. А если бы кто-то воспротивился, то он разделил бы участь мертвецов — место в братской могиле ему бы нашлось.

Осознание соучастия в этом неправедном деле, чувство собственного бессилия и вины сопровождали любой шаг, каждую мысль долговязого фельдшера. За непроницаемым лицом маялась живая, отзывчивая душа, в которой шла беспрестанная борьба между инстинктом жизни и врожденной совестливостью. Пойти на смерть он не мог себя заставить. Да и что бы это изменило? Тут же его место займет какое-нибудь мурло вовсе без образования, без искры сострадания, без проблеска какой угодно мысли. Таких деятелей он уже видал — на «Партизане» и на «Аркагале». Доходяг они вовсе не лечили, а все свое старание употребляли на ублажение воров — давали им больничный отдых, выписывали горячие уколы и усиленное питание. На прииске Водопьянова такое тоже происходило (вовсе без этого не обойтись). Но и обычные доходяги также имели здесь шанс получить освобождение от работы, как этот вот старик...

Фельдшер склонился над безвольно лежащим телом, прислушался к дыханию. С первого взгляда он понял, что этот заключенный не переживет зиму. Да и до зимы едва ли дотянет. И это счастье его, если он умрет быстро, не будет мучиться еще несколько месяцев. Понимая все это,

фельдшер развел в стеклянной чашке щепоть марганцовки и стал отирать марлей кровь с разбитых губ пациента.

Так он и жил все эти годы в лагере — думал одно, а делал совсем другое. Поэтому на лице у него всегда непроницаемое выражение. Лишь глаза иногда словно бы вспыхивали, выдавая внутреннюю борьбу.

Пётр Поликарпович очнулся глубокой ночью. Сначала ничего не мог понять. Мелькали обрывки воспоминаний — видел огромную железную тачку с камнями и песком, гнулся и скрипел под ногами деревянный настил, тяжелое кайло вонзалось в осыпающуюся стену, в спину задувал ледяной ветер, тяжелый каменный свод каждую секунду грозил обрушиться... Было ли это в действительности? Или это бред воспаленного воображения, судороги испуганной души?

Пётр Поликарпович приподнял голову, стал осматриваться в темноте. Он находился в маленькой комнатке с низким потолком и двумя крошечными оконцами. В голове его билось назойливо: «Тварь дрожащая… тварь дрожащая… тварь дрожащая…» Он и был этой дрожащей тварью. Вот и решение всех на свете проблем! Все очень просто. И чем проще — тем оно лучше.

Он вытянулся, откинул голову назад, поворачивал ее влево и вправо, стискивал челюсти и глухо мычал, пытаясь отделаться от жутких мыслей. Голова болела все сильнее, тьма давила со всех сторон, он порывался вскочить и броситься вон из этой комнаты; ему казалось, что он встает и выходит в коридор, идет к выходу, минует глухой тамбур, распахивает дверь — и вот он уже на свободе. Кругом ночь, ярко светит луна, по краям дороги стоят черные деревья; он бежит, не касаясь земли, мимо этих деревьев, дальше от страшной комнаты, от удушливой тьмы. Как хорошо на просторе! Как бездонно ночное небо и как ярко светит луна! Он дышит всей грудью и радуется свободе, восхитительному полету в бесконечности сверкающих пространств. Ах, если б можно было раствориться в этих пространствах без остатка! Стать этим сиянием, слиться с беспредельностью, улететь к звездам…

Пётр Поликарпович метался в бреду по растерзанной кровати, а губы шептали волшебные блоковские строчки:

И под божественной улыбкой
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту…

В лагерной больничке Пётр Поликарпович пробыл целых три дня. Фельдшер удалил ему осколки раздробленных зубов и слегка подлечил разбитые в кровь десны. Челюсть оказалась цела, а сотрясение мозга тут не считалось за серьезную травму. Мало ли кому дадут по морде, эка невидаль! Глаза на месте? Руки-ноги целы? Тогда марш в забой, нечего

занимать койко-место! Фельдшер не должен был вообще забирать его в больницу, тем более держать на койке столько времени. Но бригадир особо не настаивал на возвращении в бригаду такого работника. Он бы предпочел вовсе от него избавиться. Но, к его огорчению, вечером третьего дня Пётр Поликарпович вернулся в барак, занял свое место на верхних нарах.

— Что, опять будешь филонить? — спросил бригадир, стоя возле вагонки и сумрачно глядя снизу на Петра Поликарповича.

— Я не филонил, — ответил тот. — Просто не мог подняться. Я очень вымотался, сил не было.

— Подняться он не мог, — усмехнулся бригадир. — Да тебя втроем поднимали, а ты упирался. За это и схлопотал.

Пётр Поликарпович посмотрел ему в лицо:

— Это вы мне зубы выбили? Зачем? Я ведь не фашист какой-нибудь. Я в партизанах был, с Колчаком воевал. Я тебе в отцы гожусь, а ты руку на меня поднял.

Бригадир молча выслушал эту тираду. Подумал несколько секунд и ответил:

— С кем ты там воевал — это меня не интересует. Здесь ты должен работать как все. Я не хочу из-за тебя идти в штрафной лагерь. Так что имей в виду: или ты выполняешь норму или отправим тебя на Луну. А бить я тебя больше не буду, не боись. Руки не хочу пачкать. Будешь филонить — карцера отведаешь.

Пётр Поликарпович лег на спину, устремив в потолок невидящий взгляд. За три дня он отоспался, немного пришел в себя. Хотя кормили очень скудно, но, как выяснилось, и этой малости было достаточно, лишь бы тебя не заставляли работать. Передышки ему хватило, чтобы ясно понять одну вещь: в этом лагере он погибнет, и случится это очень быстро. Ничего, кроме забоя и тачки, ему тут не светит. Махать кайлом по двенадцать часов в день, без выходных и перекуров, на мизерном пайке — верная смерть. Хотя он мог и не мучиться. Можно было броситься на конвой. Его пристрелят, и дело с концом. Этот выход он держал в голове на самый крайний случай. Сама по себе возможность такого исхода придавала ему уверенности, и он уже не чувствовал отчаяния. Однако есть ведь и другие варианты. Только он их пока не видит. Но он обязательно должен что-то придумать, пока голова не затуманилась от работы, пока еще есть силы.

Весь вечер Пётр Поликарпович искал пути для спасения. Первая мысль была о побеге. Но, хорошенько поразмыслив, он вынужден был отказаться от этой заманчивой идеи. Побег означал ту же смерть, только отложенную на несколько дней. Его через неделю поймают и изобьют до полусмерти (а могут и пристрелить на месте, а в лагерь принесут отрубленные кисти рук для опознания по отпечаткам пальцев: он уже знал,

что так поступают с беглецами), или он замерзнет где-нибудь в сопках — без огня, без теплой одежды, без пищи, без компаса. Единственный шанс на спасение — это больница. Только не лагерная, а главная больница Колымы. Фельдшер слово в слово повторил то, что он уже слышал в магаданской транзитке: ему нужно попасть в центральную больницу под Магаданом. Это был единственный шанс вернуться на материк — через врачебную комиссию и инвалидность. Но фельдшер предупредил, что получить инвалидность будет очень непросто. Всех саморубов и членовредителей безжалостно судили, наматывали им новый срок и все равно оставляли тут же, на Колыме. Одноногих возвращали на прииски, ставили туда, где не нужно было ходить — на промывочный прибор или на бутару; а однорукие целый день в лютый мороз топтали снег на целине, что было немногим легче золотого забоя. На материк отправляли лишь тех, кто сам нуждался в уходе: калек без обеих рук или ног, полностью слепых, сошедших с ума, припадочных и тому подобный, ни на что уже не годный человеческий материал. Попасть в этот разряд Петру Поликарповичу было затруднительно, да и не очень-то хотелось. И все же надежда на инвалидность у него оставалась. Фельдшер обещал сделать ему направление в центральную больницу, если только он действительно заболеет чем-нибудь серьезным. Назвал при этом несколько болезней, из которых Пётр Поликарпович запомнил только пневмонию и дизентерию. И еще фельдшер сказал, что никаких анализов он тут сделать не может, а диагноз всегда ставит на глаз. И если в центральной больнице его диагноз не подтвердится, то Петра Поликарповича сочтут за симулянта, а фельдшера могут наказать за потворство.

Одним словом, все было очень и очень непросто. И все же это был шанс — единственный его шанс на спасение. Ничего другого придумать было нельзя. И оставаться на прииске тоже было нельзя. Это он понимал твердо и решил уйти из этого лагеря во что бы то ни стало. С этой мыслью он уснул.

А утром начался ад. Температура на улице резко упала, ветер пронизывал насквозь. Заключенные надевали на себя все свое тряпье, заматывали шею и голову. В ход шли вафельные полотенца, какие-то немыслимые папахи, куски брезента и любая ветошь. Пётр Поликарпович надел казенную шапку-ушанку и телогрейку. Намотал потуже портянки и затянул веревочки на ботинках. В таком виде вышел из барака и едва не задохнулся — так холоден был воздух и так задувало рот и глотку. Он отвернулся от ветра, прижал руки к лицу, стараясь отдышаться. Казалось невозможным пробыть на таком морозе целый день. Но вернуться в барак было уже нельзя.

Прозвучала команда на построение, и заключенные стали строиться в колонну по пятеро. Пошел в общий строй и Пётр Поликарпович, встал в середину, безуспешно стараясь укрыться от ветра.

Колонну повели в столовую. Там удалось немного отогреться. Горячее варево согрело желудок. Пётр Поликарпович глотал жижу через борт, чувствуя, как горячая пища идет по пищеводу и словно бы уходит в ноги. По телу пробегает дрожь наслаждения, и кажется, не уходил бы никуда из этой столовой! Пусть кругом толкаются и шумят. Главное — не выходить на мороз, не идти в ледяной забой!

Но выйти все же пришлось. Бригадир полоснул его взглядом, смачно выругался, и Пётр Поликарпович послушно пошел на улицу. Там их снова построили и повели на плац. Опять стояли на пронизывающем ветру, ждали, когда закончится перекличка. Потом вся колонна двинулась к лагерным воротам. Там снова было замешательство и ругань. Затем они торопливо спускались под гору; конвой подгонял и матерился, вымещая злобу на доходягах. Втянув голову в плечи, Пётр Поликарпович почти бежал в общей толпе.

Затем была адская работа. Час, другой и третий — Пётр Поликарпович накидывал тачки песком пополам с камнями. Его уже не заставляли катать стокилограммовые тачки вверх по прыгающим доскам. Но и стоять на месте тоже было нельзя. Все гнали и гнали работу, так что Пётр Поликарпович сначала согрелся, потом его прошибла испарина, потом испарина высохла и какое-то время было тепло, а потом снова по спине потек ледяной пот и стало неуютно и зябко от мокрого испода; еще через какое-то время он вновь почувствовал тепло в руках и ногах, — но к этому моменту он уже стал задыхаться. Руки отяжелели, поднять лопату с песком он уже не мог. Тогда он стал захватывать неполный совок. Но тут же к нему подступил заключенный с замотанным грязной тряпкой лицом. Кто это был, Пётр Поликарпович так и не понял.

Заключенный произнес угрожающе:

— Ты чего сачкуешь? Думаешь, я не вижу?

Пётр Поликарпович опустил лопату, с трудом произнес, задыхаясь:

— Я не могу, руки не держат, пальцы разгибаются.

— А я что, за тебя тут должен вкалывать?

Он подождал, что скажет Пётр Поликарпович, но тот молчал.

— Смотри, еще раз увижу… — И он потряс лопатой над головой, держа ее как древко знамени. — Я с тобой цацкаться не буду, махом череп раскрою!

После таких прямых и ясных угроз ничего не оставалось, как удвоить усилия. Пётр Поликарпович стал реже махать лопатой, давая себе секундный отдых, зато лопату набирал полную. Напарник все это видел, но помалкивал. Он понимал, что этот старик работает из последних сил, и грозился лишь по привычке, а еще — чтобы выпустить наружу душившую его злобу. Он злился на весь белый свет, потому что и ему было холодно и неимоверно трудно, он тоже работал из последних сил и в любой момент мог загреметь в ледяной карцер. Он грозился еще и потому, что ему самому грозили много раз — бригадиры и конвоиры, начкары и де-

сятники, лагерные повара и парикмахеры, блатные и свои же товарищи — «политические», с которыми он делил нары. Такая тут была атмосфера, такие устои. А если бы все было иначе, так вся эта система давно бы уже развалилась к чертовой матери. Работали все из страха. Выполняли план, чтоб не подохнуть. Деньги, женщины, комфорт — все эти понятия были давно забыты, утрачены навеки. Остался лишь голый инстинкт жизни — на него и делали ставку устроители всей этой благодати.

Этот день длился бесконечно долго. Пётр Поликарпович кое-как дотянул до обеда. Потом, чуток подкрепившись и передохнув, некоторое время работал довольно споро. А затем снова стал набирать неполную лопату и урывать себе секунды отдыха. То же самое было на другой день. И на третий. И на четвертый тоже. А на пятый, когда он шел, пошатываясь, в утренней колонне, его дернули за рукав. Он оглянулся, с трудом узнал бригадира.

— Вот что, — сказал тот, выдыхая белый пар изо рта, — дам тебе кант. Сегодня поработаешь траповщиком. Знаешь, что это такое?

Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул. Понял только одно: махать лопатой сегодня не придется.

— Подойдешь к мастеру, он тебе все объяснит. Я его предупредил. — Бригадир растворился в толпе. Пётр Поликарпович проводил его взглядом, словно не веря себе, словно все это ему померещилось.

Но все было взаправду. Когда они пришли в разрез, ему выдали топор и кулек с гвоздями. Нужно было ремонтировать центральный трап, по которому беспрерывно катили груженые тачки, — менять сломанные доски на целые, расшивать трап там, где узко или слишком круто. Но кроме центрального трапа было множество «усиков» — те же доски, только ведущие от центрального трапа к каждому забою. Там доски были заметно жиже и плоше, но там-то и требовался догляд.

Пётр Поликарпович принялся за дело: целый день мотался из конца в конец разреза, таскал доски, присаживался и вколачивал гвозди в плотный листвяк. Руки плохо гнулись, пальцы потеряли чувствительность, глаза слезились от ветра, но выручала его деревенская закалка. Топор он умел держать в руках. У себя в деревне помогал отцу строить и баню, и дом, и сеновал. Уменье это теперь очень пригодилось. От этого уменья теперь зависела его жизнь.

И бригадир, и вольный мастер, и заключенные — все видели, что дело спорится у Петра Поликарповича. Его бы и оставить на этой работе. Но тут была своя очередь. Каждый бригадник ждал этой передышки — хотя б денек отдохнуть от кайла и тачки. Поэтому на другой день Петра Поликарповича снова послали махать лопатой в забой. Перечить он не смел, да это было и бесполезно. Он видел, как бригадир безнаказанно избивает заключенных и как они заискивают перед ним, трепещут от взгляда его словно бы застывших глаз. Трусом Пётр Поликарпович никогда не

был. И лебезить тоже не привык. А потому он молча выслушал распоряжение бригадира и на другой день отправился в ледяной забой.

Сил его хватило еще на две недели. Была уже середина октября, стояли тридцатиградусные морозы. Пётр Поликарпович застудил грудь, так что внутри все болело и сжималось — даже при обычной ходьбе по морозу. А уж когда начиналась работа и он брался за лопату, все тело пронзало длинной иглой, в груди что-то натягивалось и он до крови кусал губы, стараясь заглушить эту боль. На какое-то время это удавалось, боль отступала, но не пропадала вовсе, а как бы пряталась где-то в глубине. Он кое-как доживал до обеда, а после уже не мог стоять на ногах, не в силах был оторвать от земли лопату с песком. Однажды пришел бригадир и молча смотрел на его потуги. Потом перевел взгляд на самого Петра Поликарповича и сверлил взглядом, словно стараясь выискать причину такой странности. Лицо его было похоже на маску — неподвижное и суровое, ни одной мысли не было заметно в глазах.

Наконец он разомкнул плотно сжатые губы и изрек:

— Хана, доработался. Пять суток карцера у меня получишь. Пошел вон отсюда!

Пётр Поликарпович бросил лопату. Едва волоча ноги, поплелся из забоя. Бригадир двинулся следом. Они подошли к конвоиру, и бригадир что-то сказал ему, показывая на Петра Поликарповича. Конвоир снял винтовку с плеча и велел ему идти в лагерь. Пётр Поликарпович почувствовал величайшее облегчение, почти что счастье. Ему все равно было, куда его ведут — хоть бы и на расстрел. Главное, он не будет больше работать. По крайней мере сегодня. Все остальное было неважно. Он чувствовал, что еще немного, и он умер бы от непосильного напряжения. Пусть все что угодно, только не тачка, не лопата! И он шел, чувствуя нарастающую радость, оставляя за спиной огромную уродливую яму, в которой копошились и теряли остатки здоровья его несчастные товарищи.

Штрафной изолятор стоял на отшибе и выглядел совсем по-деревенски — это был бревенчатый дом, длинный и словно бы жмущийся к земле. Над входной дверью — покатый навес о двух столбиках. Затянутое мешковиной и забитое досками квадратное окно, плоская крыша с торчащей в небо железной трубой, заметенные снегом стены и свободно гуляющий по черным бревнам ветер. Сразу за домом была граница лагерной зоны — похожие на виселицы рогатины с изломанной колючей проволокой; поодаль маячила вышка охраны. Петра Поликарповича завели внутрь дома, провели темным коридором несколько шагов и втолкнули в совершенно пустую комнату без единого окна. Дверь закрылась, Пётр Поликарпович остался один.

В первую минуту он даже обрадовался этому внезапному одиночеству, тишине и покою. Было, правда, довольно холодно. Сразу он не ощутил ледяного дыхания земли, но уже через несколько минут его охватила дрожь. Пётр Поликарпович опустился на корточки и приложил ладонь к

земле; та была холодна как лед: сруб стоял на вечной мерзлоте, прямо на грунте. Он поднялся и стал шагать от стены к стене, четыре шажка туда и столько же обратно. А можно было ходить вдоль стен: шестнадцать шагов в одну сторону и столько же — обратно. Так шагая — то вдоль стен, то по диагонали — он коротал время и одолевал холод. Иногда он останавливался и стоял, привалившись к бревенчатой стене, закрыв глаза и вдыхая холодный воздух. Голова кружилась, тело наливалось тяжестью, хотелось упасть и лежать не двигаясь. Но он понимал, что, чем дольше продержится на ногах, тем больше у него шансов выйти отсюда живым. На первый раз ему дали трое суток без вывода на работу. Считалось, что «без вывода» — это намного тяжелее, чем «с выводом». Но Пётр Поликарпович обрадовался такому наказанию. Вот если бы он всю ночь пробыл в ледяном карцере, а утром его бы погнали на работу махать лопатой и катать тачку — тогда бы он точно не сдюжил. А так еще можно было вытерпеть. Главное, не останавливаться. И он все ходил и ходил по этой клетке, временами впадая в беспамятство и двигаясь как сомнамбула. Он успевал увидеть мимолетный сон за те несколько секунд, пока брел вдоль стены, потом следовал удар, он на мгновенье приходил в себя, поворачивал и двигался до следующей стенки; через какое-то время следовал удар и все повторялось. Сколько все это продолжалось, он бы не смог сказать. Только чувствовал по какой-то особой тишине, что уже наступила ночь, все замерло кругом. Стало заметно холоднее. Ночь все длилась и длилась, казалось, ей не будет конца. А потом дверь вдруг распахнулась. Пётр Поликарпович сделал несколько шагов и остановился.

На пороге стоял надзиратель.

— На вот, пайку тебе принес, — объявил он. — Присмотрелся и спросил уже другим голосом: — Не задубел ты тут?

Пётр Поликарпович все глядел на него, словно не понимая.

— Ну бери же! — Надзиратель протягивал горбушку хлеба. — Пожуй хлебушка, а то дуба нарежешь.

Пётр Поликарпович взял пайку, поднес ко рту и с трудом откусил, стал медленно жевать черный мерзлый хлеб, не чувствуя вкуса, роняя крошки на землю. Надзиратель все смотрел на него, словно хотел что-то сказать, потом махнул рукой и захлопнул дверь. Слышно было, как он протопал по коридору и вышел на улицу.

Пётр Поликарпович снова стал ходить вдоль стен. Теперь это происходило помимо воли, ноги сами несли его вперед, а он не противился, рассудив, что тело само знает, что ему надо.

Тело и в самом деле знало: останавливаться было нельзя, остановка означала смерть.

Но силы человеческие не беспредельны. Природу нельзя обмануть.

К исходу третьих суток в комнату зашел все тот же надзиратель. Пётр Поликарпович неподвижно сидел в углу, обхватив руками колени и

укутав лицо в свое тряпье. Он не шевелился, и было впечатление, что он закоченел и уже не встанет.

Надзиратель приблизился и толкнул склоненную голову.

— Эй, поднимайся. Кончилась твоя ссылка. Вставай! Иди отсюда. Слышишь меня?

Пётр Поликарпович слабо шевельнулся и остался сидеть неподвижно. Подняться с земли он уже не мог. Он даже не мог понять, чего от него хотят.

Надзиратель ничуть не удивился, все это было ему хорошо знакомо. Из этой чертовой избушки редко кто выходил на своих ногах. И он принял обычные в таких случаях меры.

Через полчаса Петра Поликарповича под руки заволокли в барак и бросили на пол.

— Забирайте свое дерьмо, — сказал один из конвоиров, отряхивая руки.

К Петру Поликарповичу подошли заключенные. Стали рассматривать.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал кто-то. — Эк они его отделали.

Но через несколько минут выяснилось, что никто Петра Поликарповича не бил, а просто он ослабел от голода и от бессонницы в насквозь промороженном карцере. С трудом воспринимал окружающее, не понимал, что с ним происходит и где он находится. Все так и решили, что он не жилец на этом свете. И сразу потеряли к нему всякий интерес. Смерть тут никого не удивляла и уж конечно не пугала. Это было для всех обыденным явлением — как смена дня и ночи.

Петра Поликарповича в четыре руки закинули на верхние нары и оставили так до утра.

А утром его опять избили. На этот раз избиение было особо жестоким и бессмысленным. Все видели, что этот человек не в силах шевельнуться, что он не осознает своих действий. Бить его — это все равно, что добивать издыхающую лошадь или добивать раненого. Однако бригадир и дневальный с азартом пинали безвольное тело, вымещая на нем свою злобу и все то черное и страшное, что таилось до срока в самой глубине черной души.

Наконец кто-то крикнул:

— Эй, хватит. Вы его убьете!

— Таких и надо убивать! — отозвался дневальный. Пнул еще раз и остановился. — Ух, вражина. Ажно взмок.

Бригадир тоже словно бы одумался:

— Ладно, пошли. Пусть эта мразь тут валяется. Я ему еще вечером добавлю. Будет знать, как филонить.

Вся бригада отправилась на работу, а Пётр Поликарпович остался лежать на грязном полу в бараке. Так он второй раз уклонился от обще-

ственно-полезного труда, призванного сделать из него образцового советского человека. И даже умудрился попасть в медпункт к уже знакомому фельдшеру. Тот ахнул, увидев, как его отделали. Покачал головой и велел санитару снять с больного окровавленные лохмотья и нагреть таз воды. Многое он повидал в лагерях, но даже его удивила столь быстрая деградация еще не старого человека (Петру Поликарповичу было о ту пору сорок восемь лет). Всего лишь две недели назад он видел его если и не здоровым, то и не доходягой. Теперь же пред ним было что-то бесформенное, безвольное и ни на что уже не годное. Работать в забое он уже не сможет — это было ясно. Но другой работы для него здесь не было. Оставалось лишь одно: отправить его в центральную больницу на врачебную комиссию. А иначе — смерть, и смерть весьма скорая. Фельдшер понимал, что этот заключенный уже не жилец на этом свете. В штрафном изоляторе он застудил себе легкие и, судя по всему, у него началась двусторонняя пневмония. К тому же у него распухли все суставы на руках и ногах и даже на пальцах. Сжать кисть в кулак никак не удавалось, а это верный признак острого ревматизма. Артериальное давление больного зашкаливало за двести, а сердце билось с явными перебоями. По всем статьям это был безнадежно больной человек, вымотанный до последней крайности, к тому же еще и сильно избитый. Даже при полноценном лечении и усиленном питании потребовалось бы несколько месяцев, чтобы поставить его на ноги, вернуть утраченные силы.

Но все эти недуги — ревматизм, пневмонию (неподтвержденную), сердечную недостаточность (тоже определенную на глазок) — он не мог указывать в своем ходатайстве об отправке заключенного в центральную больницу. Вот если бы ему оторвало руку или ногу на производстве, тогда другое дело — это сразу всем видно. А так… И все же он решил рискнуть, рассудив, что в главной колымской больнице работают опытные врачи, среди которых светила медицины, европейские профессора, известные медики, по учебникам которых учились студенты медицинских институтов. Они и сами должны понять истинную причину отправки с прииска этого больного.

И он твердой рукой написал врачебное заключение, поставив в графе «Диагноз» — «Shigellosis», а в скобках дописав: «дизентерия». В «Анамнезе» он отметил все то, что и было в действительности — изношенное сердце, ревматизм, гипертонию и сломанные ребра. Он мог бы приписать сюда еще дистрофию, пеллагру, цингу, диарею и деменцию. Но не стал этого делать: все это и так будет видно профессиональному медику. И главное, ни цинга, ни пеллагра, ни мультифокальная деменция не могли служить причиной для получения инвалидности, поскольку этими недугами страдали девяносто процентов всех заключенных советской Колымы. Возвращать их на материк не было смысла, потому что там они напрочь испортили бы картину передового социалистического строительства.

(Да и кто тогда будет добывать так нужное стране золото?..) Советская власть не могла допустить публичного позора. Деяния рук своих она надежно прятала (преимущественно — в землю).

В долине реки Хатыннах уже трещали пятидесятиградусные морозы. Знаменитый полюс холода — Оймякон — располагался в той же климатической зоне, на той же широте, что и прииск имени Водопьянова. До него было даже ближе, чем до Магадана. Знаменитые северные новеллы Джека Лондона, в которых небо блестело, «как отполированная медь», а «малейший шепот казался святотатством», — описывают ту же природу, что и мир Колымы. То же «белое безмолвие», те же «зловещие деревья» и тот же «дух скорби», витающий над всем этим краем. Но знаменитому писателю и первому председателю студенческого социалистического общества в Америке даже в жутком сне не могло привидеться то социалистическое будущее, которое наступит через сорок лет после написания его замечательных новелл, — когда сотни тысяч людей будут брошены в эти ледяные пустыни и все они под страхом смерти станут долбить мерзлую землю в пятидесятиградусный мороз, получая за это килограмм хлеба, миску баланды и ежедневные проклятия и тумаки от озлобленных охранников и потерявших человеческий облик уголовников. Ничего такого не было и не могло быть в его мужественных рассказах. Придумать такое мог лишь какой-нибудь средневековый мистик вроде Данте Алигьери (да и то сомнительно, ведь в аду тоже была какая-то справедливость, совсем уж невинных людей туда не принимали и зазря никого не мучили!). Но советская действительность затмевала самые мрачные прогнозы и превосходила самую жуткую фантазию. В этом ей не было равных.

Пётр Поликарпович Петров должен был умереть в этой северной глуши, остаться навеки в ледяных песках с ничтожной примесью золота, сделаться частью этой каменистой почвы, удобрить ее своим телом. Смерть уже тянула к нему свои костлявые руки, предвкушая очередную поживу. Но судьбе было угодно отсрочить это событие. Пётр Поликарпович не умер в эту зиму 1940 года, как умерли сотни тысяч других заключенных — на этом и других приисках Колымы. Это была неслыханная удача, каприз судьбы, благосклонный взгляд Фортуны, случайно брошенный на уже умирающего человека.

(*Окончание следует.*)

Анатолий КОБЕНКОВ

ТЕНЬ ЛАСТОЧКИ

Десять лет без Анатолия Ивановича Кобенкова... Одного из лучших русских поэтов конца XX — начала XXI в. Постоянного автора, члена редколлегии и друга нашего журнала.

С его безвременным уходом для многих и многих погас свет. Да, остались стихи. («Стишки» — вот так, не иначе, сказал бы сам Кобенков.) И удивительное дело, — сейчас, десятилетие спустя, — «стишки» не только ценителям поэзии известные, но и для широкой читающей аудитории новые. Подборку из таких малоизвестных стихотворений — стихотворений последних, прощальных, предчувствием скорой смерти полных — мы и предлагаем вниманию читателей.

Редакция благодарит вдову поэта Ольгу Васильевну Кобенкову за содействие в подготовке данной публикации.

Редакция

* * *

И всю жизнь — сквозь жизнь — никакого дела,
и при этом жизнь — как не жизнь — тесна,
и такая книжка во мне шумела,
что ее могла б написать весна,

и такие гомеры меня топили,
и, не смея гомерам тем возражать,
я парил над девушками такими,
на которых можно бы возлежать,

и такие жены на мне пахали,
и такие дети на мне росли,
что уже пригрезилось: эпохален —
абортарий неба, роддом земли...

Сторожитель люльки, виновник тризны,
властелин солонки, король горшка —
я готов, тесним теснотою жизни,
задохнуться просторами гробовщика...

* * *

Что искать ходили вы в пустыню?
Евангелие от Матфея

— Что искать ходили вы в пустыню?
— Трещину на храме Соломона,
пристипому рыбаря Ионы,
тростники из сада Дидерота...

— Кто повыкликал вас из пустыни?
— Тишина разрушенного храма,
суета разбросанных барханов,
белые одежды Иоанна...

— Что вы принесли нам из пустыни?
— Трещину для будущего дома,
косточку для будущей вечери,
горсть заноз для будущих распятий,

воздух, возведенный для Мессии...

* * *

Пожелав обидеть, не обидишь:
самое больное не болит...
Бабушка на выболевшем идиш,
умирая, матушку бранит.

Матушка заплачет, зарыдает...
И не знаю, как сказать мне ей,
что, поскольку всяк меня ругает,
бабушкино слово мне нужней...

Как бы мы с тобою, муза, жили,
кабы за спиной да за стеной —
не зима, не голоса чужие,
а язык, до донышка родной!

* * *

...и не за то, что куролесил, не
за то, что падок был на угощенья
в чужих домах — за ласточку в окне,
за тень ее в строке прошу прощенья;

и не за то, что пусто на столе
и в кошельке нисколько не осталось —
за тень в саду, за листья на земле,
за ту строку, в которой им дышалось;

и не за то, что мог бы стать другим,
с другой работой и иной зарплатой —
за то, что я не дом сложил, а дым,
чей дальний путь тщетой перезаплатан,

за то, что он летит над нами, за
и то, что гасит свет, и что теснима
им ласточка, и ты во все глаза
ревешь им вслед и думаешь — от дыма...

* * *

Я еще люблю тебя — снег ли, дождь,
заодно с землею и облаками,
всякий раз пугаюсь я: ты идешь
или боги твои меня окликают;
я еще разматываю клубок
из шершавых шарфиков, гладких штопок...
Затихает время, как коробок —
с каждой новой трубкой, сжимаясь в шепот...

Выходи из шепота, будь добра —
он тебя и вынянчит и прокормит,
выходи, как жизнь моя, из ребра
моего, из легких моих, из корня
моего — ребеночка заведи,
поведи судьбою его, как бровью,
в Радуницу поутру приведи
к шепотку, с которым он связан кровью...

* * *

Вот мне и ягодки, вот и пошли плоды
пристани пьяной, выстуженного вокзала...
Прежде меня душила душа воды,
нынче душа огня меня истерзала...

Город, крещенный ласточкою, село,
в пряной купели крещенное мужиками,
горница матушки — все, что водой снесло,
перелопачено пламени языками;

холодно в марте, жарко мне в январе,
страшно пред жизнью, весело перед смертью,
пахнет рекою жена моя на заре,
пахнут пожаром спаленные нами дети...

* * *

Он явится, бедовый,
с накликанной бедой,
по утречку — бордовый,
а к ночи — голубой.

Чиновником степенным
он ступит на порог,
с цветочком убиенным
затопчется у ног,

с дотацией в конверте,
которая мала,
с трубою из-за смерти,
которая моя...

Налаженный на вынос
на жэковском горбу,
я в тапочках на вырост
лежу в своем гробу,

и странно — без привычки,
но весело впервой
при всех листать странички
книжищи гробовой,

и ни конца ни края,
и с тучкой навесной
душа моя, как краля,
обходится со мной —

летит — не замечает,
не слушает — плывет,
и музыка играет,
и ласточка поет...

* * *

Вот уже и радость, да с излишком —
весело: то мышь, то тишина...
Я устал, и нужная мне книжка
отстранила ту, что не нужна...

Реет строчка стаей журавлиной —
мысль светла, а буковки черны...
Я устал, и список кораблиный
обрываю списком тишины:

тишь ладошки, тишина опушки,
та — что рядом, та — что далеко...
Я реву и радуюсь тому, что
слеп Гомер и мама далеко...

* * *

Складываю жизнь — рисую встречу:
ангел на углу, еще не вечер,

но знобит и, встречей не рискуя,
курточку для ангела рисую;

лето вывожу, слагаю море,
а выходит Лета, то есть горе,

то бишь «было ваше — стало наше»,
то есть ангел крылышками машет,

то бишь не свиданье, а разлука —
ласточка, отставшая от звука...

* * *

Собирает коврик моя усталость —
Пенелопа, ладя к стежку стежок:
человек и книжка уже расстались,
тот ушел в компьютер, а та — в стожок.

Тот, одет в железо, всю ночь шагает
меж царевен мертвых, забывши про
богоданных женщин, а та считает —
за иголкой иголка — свое добро.

У того на глаза навалились брови,
а у этой — радости до бровей,
потому что с мышью мышиной крови
посветлей, чем с мышью стальных кровей.

А ее добро — кто, надувши выи
и сердца раскрывши на сто томов,
надышали в книжках, и все живые,
даже прапрадедушка Кобенков.

А у тех, кто без книжек — и сердце сбилось,
и поехала крыша, и дом — что гром —
разглядеть невозможно, и все поскрылось,
принакрывшись холмиком, за холмом...

Убежавшим книжки не встать со стула —
так во муромских дебрях, к своей печи
был прибит Илья, а к сохе — Микула
Селянинович, пахарь и землечий...

Я любил их, пахарей-землечиев,
потому и рухнул под лемеха
их орал — от имени книгочиев,
во всю ширь и узь своего стиха —

разомкните руки мои и ноги,
покрошите косточки да виски
на железную пыль для такой дороги,
на которой — трещинка под стихи...

* * *

Думал: ты, а это из ладошки
девочки — ладошке не тесна —
окарина: отклик из окошка
на медовый оклик из окна...

Думал: ты, а это окарина:
шум и шелест, Шамбала, Шумер...
Думал: ты, а это Магдалина,
над которой посох прошумел
Иоаннов,
рыба пролетела,
распахнули крылышки моря,
и кружится зрячее вне тела
золотое сердце рыбаря...

* * *

...но ты была счастливой
в приморском городке,
когда была оливой
с оливками в руке,

и к твоему покою
мечта моя брела,
чтоб выпытать, какою
ты девушкой была...

* * *

Погаснет даль, чтоб далью возвратиться,
сгустится близь, чтоб выгуститься в грусть,
и в музыку сложившаяся птица
твоей ночнушкой препояшет грудь...

Накажет мышь — лукошко всхлипнет в сенцах,
прикажет звук — и там, где поезда
отмаются, намоленное сердце
отыщет свет на донышке гнезда;

но вскрикнет тьма и голубь-арапчонок,
но прянет луч и в световой зазор
тряхнет штанами греческий ученый —
чтоб жизнь мою достроить — Пифагор;

притопнет тьма, заголосит Кручёных
и дыр-бул-щылом вывихнет простор...

* * *

Сколь широких, столь и одиноких
(где судьба по шовчику, где — тесьма
сарафана потрескалась) — дев Сороки
и девиц кустодиевского письма
я любил, ныряя в их налитые
животы и ляжки;
их голоса,
в междометья влажные завитые,
укрепляли веру мою в чудеса...

Вот мы руки сцепим, и плечи в плечи,
и живот в живот, и тоска в тоску
перельются;
и души покинет нечисть,
и споткнется на третьем «кукареку»,

чтоб потом бродяжить во тьме овражьей,
до утра шарахаясь от огня,
будто Пётр, который дрожит пред стражей
и боится правду сказать, как я...

* * *

Косточка с косточкой — канем во тьму,
кисточка с кисточкой — прянем из тьмы...
Птицы — не мы, но и дети — не мы,
а с погремушкой в клюве к Нему...

Что же достанется бедной земле?
Блудное имя на бледном холсте,
полое пламя на палом крыле:
губы не эти и песни не те...

* * *

…и все же не тростник,
не голос в вечном хоре,
накликанный тоской
и скомканный в тоске —
я море и старик,
еще — «Старик и море»,
та книжка, что жила
в приморском городке;

…и все же не любовь
и уж ничуть не трепет,
который пел арап
и славил иудей —
я пепел, но и кровь,
еще я — «Кровь и пепел»,
та книжка,
что живет
на полочке моей…

И все же не мечта,
не свет за облаками,
что горю вопреки
и правилам назло —
а птица и окно,
а ласточка и камень,
окошко и крыло,
бойничка и крыло…

* * *

…раздвигала шторки, ломала стенки,
расстилала дорогу, гоняла за
горизонт, спускала на дали зенки,
посылала — ангелу вслед — глаза,

а когда устала, и взор смежила,
и глядит, не глядя, издалека
в предзакатный свет: на глоток — снежинок,
да еще морозца на два глотка…

Занимай позицию обороны,
под кепарь нырни, в воротник уйди!
И, глядишь, спасешься — скользишь по склону
и дыханье ладишь: две-три вороны
поперек дыханья, повдоль груди...

* * *

...а коли мою душу истолочь,
то столько сразу слезынек — в плаще бы
и то бы вымок: клекот во всю ночь,
и привставанье солнышка на щебет,
и день — меж рюмочек, меж влажною щекой
и дверью ахнувшей, и щелкнувшим замочком
на курточке (так щелкает чекой
гранаты молодой гранатометчик),
и сумерки — меж «Господи, постой!»,
да «Где же ты?», да «Больно, я устала...»
...в той — иволга, в той — ласточка, а в той —
уже не свет, а тьма крылышковала...

* * *

А я из песенки неслышимой,
из тишины, тобой надышанной,
из книжки, бьющей по глазам
всем, кто попрятались под крышами
домов, чьи двери на «сезам,
откройся», взмахивают цепками,
крича «бобо», трубя «ба-ба»...
где жизнь прихвачена прищепками
и одиночеством — судьба...

* * *

...и перед этой виноват, и той...
И ту довел до слез, и тех обидел...
Давным-давно холодною чертой
я жизнь свою обвел и вдруг увидел:

до горизонта, до его черты —
под сгнившим шифером и проржавевшей сталью —
хлопочут женщины, чьи дальние черты
прочерчены и вычерчены далью.

И всё, что их волнует — ко всему,
что мной оставлено, где — бирочки пришиты,
где — тишина, и сердцу моему
их складешки и форточки открыты.

Вот я и говорю ему: «Лети»...
И вот оно летит, потом шагает,
и устает,
и падает в пути,
и кто над ним склоняется, не знает...

* * *

Ушибаясь, падая, умирая,
обживая ад, выкликая рай,
я не раз озлился, конца и края
этой жизни не видя. И вижу — край.

Впрочем, если точнее, уже не вижу —
обдышал его и всю суть стиха
я свожу к тому, что закат здесь рыжий,
темнота безмолвна, земля суха...

Николай МЯСНИКОВ

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

Какое дело Моцарту до Кольки?

Вместо предисловия

Подборку рассказов Николая Мясникова, которые вы сейчас прочитаете, мы назвали «В ожидании тепла». Потому как поняли: Коля, казалось бы холодный, жесткий, беспощадный, жил именно этим, на первый взгляд почти банальным и даже сентиментальным словосочетанием. И знал: тепла не будет. Но если распрощаться с ожиданием тепла, то сразу же наступит расчеловечивание. А может быть, уже наступило.

Николай Мясников. Рисунок Сергея Дыкова

Нет, ну правда, невозможно писать предисловие к смерти и послесловие к любви. Приходится что-то вроде как бы вместо. Николаша, Николай Фёдорович — Найкл, как фамильярно я его называл, умер. В это невозможно поверить. Никогда больше Коля не придет в четыре утра в мою абрашинскую избушку и не будет дожидаться, пока не проснусь, не будет извиняться за то, что он давеча на меня ругался, когда я за ним гонялся с топором. На самом деле все понятно — все в рассказах, картинах, разговорах. Или в блаженном распивании чистейшего самогона из кристально чистых граненых стаканов, что трезвому, точнее трезвомыслящему, человеку нипочем не понять.

Художнику не нужен разбиратель, поэту ни к чему судебный пристав в обличье умничающего филолога, мятущейся, вечно живой и ранимой душе непотребен дурак патологоанатом. Поэзия и музыка без оглядки на «человейник» живут в математически совершенном мире собственного одиночества, живут в ожидании тепла.

Коле было присуще редкостное чувство меры, вкуса, такта, пропорций. Любым его движением повелевал слух. Абсолютный. Какое дело Моцарту

до Коли? Но если бы случайно Николаша столкнулся вдруг с Амадеем, они нашли бы, о чем поговорить.

Зависть — самый страшный из всех смертных грехов, ибо из него произрастают все остальные: жадность, трусость, предательство и уныние. Все завистливые люди унылы бесконечно. Николаша заменил само понятие зависти на иное, высокое — восхищенье. В самом деле, быть надо полным идиотом, чтобы завидовать Пикассо. Или желать построить пирамиду выше Хеопсовой. Или перешагать-перелетать Шагала. Или девушку в церковном хоре забыть и жить в свином корыте.

Коля — гений. Как Сальери. Как Руссо. Моцарт нас прельщает некой невыносимой легкостью бытия. Гайдн попивает себе токайское и снисходительно поглядывает, как жена крутит папильотки из нотной бумаги, на которой, так, между прочим, соната мужнина.

Все можно. Единственное, чего нельзя позволить, так это чтобы дураки и недоумки изъясняли свои невнятные намеренья и пошлые влечения стихами, обмакивали кисточку в рыбью кровь и живописали пустоту.

После смерти Николаши в груди образовалась дыра. Холодно. И вот теперь Коля с этих страниц дарит нам тепло и оставляет нас в ожидании тепла.

Слава Михайлов

Вот так…

Человек родился в мир, подрос чуть-чуть, и его выпустили гулять. Вышел он на крыльцо и увидел: большие дома, деревья большие, люди кругом, собаки бегают.

На газоне трава растет.

Так много всего, и все хочется потрогать, разглядеть поближе.

Человек закричал от восторга и побежал.

И упал с крыльца.

И набил себе шишку.

Как его звали, не знаю.

Может быть, Иванов, может, Петров, а может — Сидоров.

Или просто — Герка.

А возможно, это была девочка. И тогда ее звали Люська.

Человек посмотрел вверх и увидел небо.

Человек посмотрел вниз и увидел лужу. В луже тоже было небо.

Человек подошел и топнул по луже ногой.

И небо раскололось.

Человек поймал кузнечика, разглядел его и подергал за ногу.

Нога отломилась.

Человек подергал за другую ногу. Она тоже отломилась.

И человек отпустил кузнечика.

Но кузнечик не стал убегать. Наверное, он уже привык к человеку.

А человек увидел птичку и сразу забыл о кузнечике.

Иванова отдали в школу.

Петрова отвели в ГПТУ.

Сидорова — в университет.

А Люську отвели в детский сад.

В детском саду Люське понравилось. Дети плакали, а Люська смеялась. Других тошнило от каши, а Люська просила добавки.

Потом дети подросли и их отправили в школу.

А Люську оставили в садике.

Потом Люська подросла и ее назначили воспитательницей, она уже больше не смеется. У нее теперь много забот.

Дети плохо воспитаны. Плохо стоят в строю. Плохо маршируют. Неправильно рисуют танк. Не знают советского гимна.

И отказываются есть кашу.

Когда наступает тихий час, дети засыпают. А Люська уходит на кухню, садится возле котла и доедает кашу.

Сидоров в детстве с крыльца падал и разбил нос.

Петров падал в яму, а Люська падала с лестницы, когда у бабушки была. Иванов никуда не падал.

А потом их приняли в пионеры.

Живот говорит заднице:

— Смотри, какую я котлету достал!

— Подумаешь, — говорит задница, — вот штанишки на мне, это да!

Иванов подрос немного и в школьном туалете голую бабу нарисовал. Петров в подъезде плохое слово нацарапал. А Сидоров это слово зачеркнул и написал рядом: «Петров — дурак».

Шла девочка мимо гаража. Вынула из кармашка кусочек мела и написала старательно: «Я мимо проходила».

Из гаража пьяный мужик вышел. Посмотрел на девочку и сказал:

— Вот красотка-то растет! Беда мужикам будет. Вырастешь — за генерала замуж выйдешь. Как звать-то тебя?

И Люська застеснялась.

— Ну, не бойся, — сказал мужик. — Генерал хороший. С усами.

Была раньше сказка такая.

Идет солдат через тайгу. С войны возвращается. Год идет — лесу конца и края не видно. Второй год идет — ни одного человека не встретил. Кругом тайга да горы стоят.

— Заблудился, однако, — говорит солдат.

На третий год вдалеке дымок увидел. Ближе подошел, видит, избушка стоит, дым из трубы идет. На завалинке Букарка сидит.

— Здравствуй, Букарка, — говорит солдат.

— Здравствуй, солдат, — говорит Букарка.

— Как с жизнью справляешься? — спрашивает солдат.

— Да вот, сижу, — отвечает Букарка. — А ты, служивый, куда путь держишь?

— Да так, иду, — говорит солдат. — Ну, будь здоров, Букарка.

— Ну и тебе счастливо, солдат.

Петров спал и видел сон, будто спит он не один, а с Люськой. И будто им нисколько не стыдно, а даже весело. И даже очень приятно им было так спать.

А потом он проснулся и увидел, что спал один.

И почему-то вдруг стало стыдно.

Сидоров шел и думал:

— Какие все люди разные. Иванов любит котлеты. Петров любит сладкое. А Люська не любит Анжелку. А я?

И сам себе ответил:

— Мне вообще все люди нравятся.

Тут он с размаху налетел на Герку.

— Вот они, денежки, — подумал Герка. И выбил Сидорову зуб и вывернул у него карманы.

— Люська! — закричал Петров. — Я же тебя видел сегодня!

— Когда? — удивилась Люська.

— Ты мне во сне приснилась.

— Дурак! — сказала Люська и покраснела.

«Как она догадалась?» — удивился Петров.

И тоже покраснел.

Сидела на улице старушка с весами. Всех желающих за пять копеек взвешивала.

Шла пышная тетка в пальто, хозяйственными сумками увешанная. Увидела старушку и говорит:

— Как хорошо, что вы здесь. Наконец-то взвешаюсь.

И вместе с сумками, в пальто, в сапогах на весы встала.

— Да вы сумки-то поставьте на скамеечку, — сказала старушка.

— Господи! — отвечает тетка. — Разве они мне прибавят!

Сидоров увидел, что в соседней квартире дверь открыта, постучал — соседей нет. Ограбили квартиру, решил.

По пути в университет зашел участковому сообщить.

В участке тоже — дверь открыта, а никого нет.

Решил посидеть подождать. Участковый только через час появился.

Посмотрел мимо Сидорова. В окно выглянул. По комнате прошелся, фуражку на сейф бросил. Расческу достал, причесался.

Ногу поднял, подошву ботинка разглядел. Ремень поправил.

Потом за стол уселся, на Сидорова уставился.

— Ну, — говорит, — рассказывай. Что натворил?

— Я? — удивился Сидоров.

— А кто же? — удивился участковый. — Ты ж здесь сидишь.

— Так и вы сидите, — возразил Сидоров.

— Ишь ты, — сказал участковый. — Бойкий какой. Я на работе сижу, а ты в милиции. Понял?

«Черт меня дернул сюда идти», — подумал Сидоров.

«Подражать глупцу нельзя ни в коем случае.

Если, уподобляясь помешанному, человек побежит по дороге, — это помешанный.

Если, уподобляясь злодею, он убивает другого человека, — это злодей.

Подражающий скакуну сродни скакуну.

Подражающий Шуню — последователь Шуня.

И тот, кто, пусть даже обманом, стремится быть похожим на мудреца, должен называться мудрецом».

Иванову родители дубленку купили.

Петров с первой зарплаты магнитофон купил. А Сидоров альбом Ван Гога купил.

Люська купила себе трусы.

Дешевле, чем дубленка, но гораздо дороже, чем Ван Гог.

Иванов гордо ходит в дубленке. Петров музыку слушает.

Сидоров альбом на видное место поставил.

А Люська трусики примерила, покружилась перед зеркалом и вдруг расстроилась. Такая красота, а ведь никому не покажешь.

Шел пьяный Петров с завода.

Сверху на него грустно Господь взирал, ангелы смотрели.

Господь взял камешек и кинул в Петрова. Или промахнулся, или вовсе попасть не хотел.

Метеорит Петрову под ноги упал.

Петров поднял голову, огляделся — никого вокруг нет.

И громко сказал:

— А вот догнать бы тебя да ноги повыдергать. Чтобы знал, как камни швырять!

— Ты у Люськи бываешь? — спросил Сидоров.

— Захожу иногда, — сказал Иванов.

— Ну и как она? — спросил Сидоров.

— Да никак, — ответил Иванов. — Приходит с работы и сидит одна.

— Зачем тебе это, не пойму, — сказал Сидоров. — У тебя и так баб — пяти мужикам не справиться. А ты еще и Люську… Мучаешь…

— Ну зачем так, — задумчиво сказал Иванов. — Надо же и ей… размяться иногда.

— Размяться, — проворчал Сидоров. — Если бы не ты, может быть, она уже замуж вышла бы.

— Или совсем бы засохла, — ответил Иванов.

Люська бежала зарплату тратить.

Иванов бежал интервью брать.

Петров на почту шел, посылку получать.

Сидоров на свидание шел, аспирантку консультировать.

Шел Мясников по улице, глядел на них и думал: «Один я никуда не иду».

* * *

Когда-то было Слово.

И было оно у Бога.

Потом появились люди. Разменяли его на мелочь и поделили на всех.

А Люське досталась сдача.

Потом был капитализм.

Иванов играл в карты и был в больших долгах.

Петров жил в фабричном поселке и имел бутылку по праздникам.

Сидоров служил в департаменте и имел репутацию.

Люська в домработницах ходила.

Гера тогда сутенером был. И однажды забит был до смерти.

Потом наступил социализм.

Люська на постаменте стояла. В чугунном платье и с отбойным молотком в руках. Иногда весло держала, иногда — большой циркуль из гипса.

Иванов и Сидоров в почетном карауле стояли, в белых рубашках и красных галстуках. Салют прохожим отдавали. По вечерам в кино ходили. В фильмах Люську красиво показывали.

Петров к постаменту венки возлагал.

Все о Северном полюсе мечтали.

Герка на Беломорканале в большом почете ходил.

Но однажды ночью забит был до смерти.

А потом все устали.

Сидели ночами на кухне, трепались ни о чем. Водку пили. За Люськой лениво ухаживали.

Днем по знакомым бегали. Дубленки добывали. Телевизор цветной. Трусы кружевные для Люськи.

Книжки добывали. Читали иногда.

А потом и это кончилось.

Сидоров электрическими проводами торговал, Петров железные гаражи варил. Иванов в какую-то фирму директором пристроился. И фирма прогорела.

Люська на базаре тряпьем торговала. Мерзла зимой, летом потела. Вместо трусов подгузники носила.

А потом в запой ушла.

* * *

Был белый-белый снег.

Потом появилась проталинка, оттаял пучок волос, потом оттаяла голова.

Пришла собака и погрызла голову сбоку. Потом оттаяло тело, и его погрызли мыши. Потом появился запах. И зажужжали мухи.

И все заросло травой.

Кто это был? Петров? Иванов? Сидоров? Люська?

Не знаю. Теперь уже не различить.

Потом наступила осень.

Подул северный ветер, разорвал серые облака и загрохотал небесными воротами, ведущими в Великую Пустоту.

И снова на землю лег снег.

01.2010

В ожидании тепла

Уже скоро наступит тепло, и тогда мы сбегаем в лес, и тогда напилим дрова.

Мы посадим морковь и петрушку, подсолнухи и кабачки, баклажаны — для украшения — и, может быть, даже — цветы.

Мы поставим новый забор, и сарай, и новые окна, а потом настроим станок, закрепим в нем фрезы и сверла, чтоб создать наконец табуретки.

Ведь на этом нельзя же сидеть…

Табуретки, три штуки, одну для меня и две — для гостей, и скамеечку для курения.

Но пока к нам тепло не пришло, мы тихонько сидим и пьем водку….

Сначала — чтобы согреться.

Потом — чтоб поправить здоровье.

А потом пришел наш сосед, и он тоже хотел быть причастен.

А потом нам звонили друзья, и мы пили за тех, кто нас помнит. И за всех хороших людей.

А назавтра случилась Пасха, и ее нам нельзя пропустить.

И три дня мы ее отмечали…

Тут и куриц погрызла собака, и сосед был ужасно расстроен.

А потом уж другой наш сосед ни с того ни с сего полюбил продавщицу, а она его матом ругала.

Он и сам ее всяко назвал, но при этом был очень обижен… Нам пришлось и его утешать.

А потом соседка-старушка принесла нам ящик рассады, чтоб пореже ее рассадить.

И тогда нам пришлось отхлебнуть, потому что эти росточки так хрупки, что нельзя прикоснуться к ним дрожащей рукою поэта…

13.04.2007

Шепот

Над тобою — бархатное небо.

И тысячи лун на нем.

И звезды — как крупный орех…

Для тебя — лимонные облака на закате — легкие, как перо попугая, и прозрачные, словно лунный свет.

И сладко цветут деревья, и сквозь этот сладкий запах тихо дышит теплое море.

Для тебя — шорох платья, и блеск камней, и музыка, и фонтаны шампанского. Звон бокалов и звук поцелуя.

И юноши, срывающие цветы, чтобы надкусить стебелек…

И хочется плакать и плавать, веселиться и танцевать…

Я лежу на краю Земли. Врастаю ребрами в почву.

И по ребрам колотит сердце…

Вслушиваюсь в эту бездонную тяжесть в тайной надежде услышать тихий ответный стук.

Земля…

26.09.2005

Белая скука

Зимой в нашей деревне делать абсолютно нечего. А уж к концу зимы так устанешь, так устанешь…

Просто сил никаких нет.

И ведь все от безделья.

Встанешь утром, выйдешь на крыльцо, посмотришь по сторонам — снег. Баня вот напротив стоит. Огород за баней. Всё. Все события. Больше ничего нет.

Никаких новостей.

За забором крышу соседскую видно. Дым из трубы идет. Живой, значит, сосед. Если бы умер, так не топил бы.

И снова — всё. Больше смотреть некуда.

Опять в дом возвращаешься.

Чаю попьешь и ложишься. Лежишь и весну ждешь.

Вот хорошо, у кого корова есть.

Вышел, на снег посмотрел, на трубу посмотрел — дым идет ли? Идет. Подумал. Корове сена охапку отнес. Еще о делах подумал. Хозяйство. Не просто так. Тоже соображать маленько надо.

Ведро воды корове поставил.

Заодно дров охапку в избу занес.

Хоть на полчаса, а все день короче стал.

Все-таки поменьше у телевизора сидеть.

Все меньше мучиться.

Но, с другой стороны, тем, у кого корова есть, им тоже не сахар.

Ты вышел, посмотрел, лег себе и лежишь.

А у них — прямо беда! — им мясо доедать надо.

Осенью это мясо не продашь, покупать некому. За зиму это мясо не съешь. Много его на двоих-то. А весной его хранить негде.

Вот он зайдет со двора, охапку дров возле печки кинет, только сядет возле телевизора посидеть, как баба — бац! — и тарелку с мясом ему в руки сунет. Сидит он, телевизор смотрит и мясом давится.

А что делать? Не ругаться же с ней каждый день.

Ему бы картошечки жареной.

Салатик какой-нибудь…

Селедочки.

Хлеба черного с солью…

Нет, мясо доедать надо. Картошку потом.

Вот мясо кончится, тогда картошку дряблую все лето доедать будем. Да и капуста к тому времени перекиснет. Тоже доедать надо будет. Не корове же ее скармливать.

Бывает, за зиму от этого мяса так брюхо разбарабанит, что весной человек в свой «жигуль» попасть не может. Руль в брюхо упирается, не пускает.

Впору переднее сиденье снимать и на заднем ездить.

А с заднего до руля не достанешь. Тут только одно: или руки удлинять, или руль переделывать.

Вот бабам — хорошо.

Утром встала, мужа облаяла, чай заварила.

Телевизор посмотрела.

В магазин пошла. Там с бабами часа три простояла, обсудила всё, все новости вызнала.

Свои рассказала, что за ночь придумала.

Заодно пряников к чаю себе купила, чипсов, чтобы сериалы смотреть. Леденцов на палочках.

Присыпку купила, сладкую — для торта. Пусть все думают, что она каждый день себе торт стряпает. А она ее так, ложкой съест.

Домой придет, мяса сварит большую кастрюлю. Надо же мужика кормить. Пусть жрет, сволочь.

А тут уже снова сериалы надо смотреть, чтобы завтра в магазине дурой не выглядеть. А то бабы начнут обсуждать, а она не в курсе.

Ляжет потом в постель, в потолок смотрит и думает. Мысли в голову разные так и лезут, так и лезут.

Как кошки на забор.

Главных мыслей у наших баб обычно три. Редко больше бывает.

Первая про деньги.

Вторая про обиды.

А уж третья про то, что помирать скоро. Это из-за того, что зима. Просто настроение такое. Погода.

Ну и пожалеть ей себя, конечно, охота.

Вот лежит и думает. Лежит и думает…

Про деньги думает, про мужа.

Вот, дескать, мясо не продал, а как бутылку с мужиками выпить, так это пожалуйста. Сволочь. Был бы мужик как мужик, давно уже с деньгами были бы. И мясо продать можно, и картошку. Нет, зачем ему? Он лучше его сам съест. Вон Васильевы. В город съездили и продали.

Машину, правда, совсем разбили. Так у нас все мужики такие. Никто по городу ездить не умеет.

Он когда на права-то сдавал?

В том году, однако, сорок лет будет. Или это Фирсов был? Черт его знает…

А этот, чучело, возле телевизора сиднем сидит. Жрет свое мясо и глаза пялит.

Был бы как Васильев, может, какой-нибудь прок из него и вышел бы.

Тот небось не сидит вот так-то. Всю зиму машину ремонтирует. К лету-то надо сделать. Как летом без машины?

Только и видишь его — в город, из города, в город, из города. Все за запчастями ездит. И все пешком!

И все на себе!

Совсем исхудал мужик. Так дальше пойдет — и смотреть не на что будет.

А этот, рохля такой…

Вот так она про свои обиды и думает.

Мол, картошки в этом году наросло, а продать некому.

Вот если бы продать, так за триста ведер это же сколько бы денег было? Другой мужик посуетился бы, поискал. А этот…

Люське два ведра бесплатно отдала. Да хоть бы по двадцать пять рублей — уже полтинник. Так нет, бедной прикинулась.

Так Люська — она всегда такая была.

В девках еще ведь ни одного мужика не пропускала.

Всех перебрала. Даже с татарином была, а там на что смотреть-то? И стыда ни в одном глазу.

Уж я с директором-то…

Так он мужчина солидный… Щепетильный…

Два раза на «вы» меня называл.

А Люська-то… Это уж когда она замуж вышла, так тогда уж недотрогу стала из себя изображать. До этого-то все трогали. Клеймо негде поставить.

Все мужика своего по рукам била. Не трогай! Не прикасайся! Не для тебя цвету!

До того достукалась, что дите из детдома брать пришлось. А врет, что свой. Откуда он свой-то? Детдомовский.

В город уехала чуть не на год и вид сделала, что рожать ездила. Мужик ее тут один с хозяйством пластался.

А ей что?

Да ей не картошки, ей веником бы по морде! Козе драной…

Вот так и думает себе. Мучается. Сердце рвет.

Так иногда расстроится, так ей себя жалко станет, что, бывает, вскочит ночью с кровати и давай мясо есть.

Чтобы мужику меньше досталось.

А потом леденец пососет, ляжет, снова задумается.

Жизнь-то на что ушла? Что я в жизни видела?

И тут вдруг вспомнит, что помирать скоро. И так ей страшно станет, что вытянется вся в струночку, притихнет…

Да так и уснет.

Вот и я говорю — зима.

Такая бывает скука, даже и думать-то не о чем.

И ведь так до весны.

А там уж приедет кто-нибудь. Привезет что-нибудь этакое… необычное. Селедочку. Или сардельку.

Сыру кусочек…

Расскажет что-нибудь интересное. От кого жена ушла или кто машину разбил. Помер, может, кто.

Потом хоть будет о чем подумать.

Повспоминать…

Так это когда еще будет…

Ночь

Я вышел на ночное крыльцо и остановился в дверях, чтобы закурить сигарету.

Огонек вспыхнул, и в то же мгновенье в лицо дунул легкий ветерок, привлеченный неожиданной вспышкой света, — и тут же улетел, осторожно поглаживая по пути молодые листья яблонь.

Перелетел через забор — туда, где на соседской сливе уже начали распускаться бутоны, шевельнул сухие стебли бурьяна и затерялся среди голых стволов ближних сосен.

Луна запоздала, только редкие звезды мерцали в темноте.

Сигарета догорела до фильтра, огонек упал на пол.

Было видно, как он тянется вниз, к доске, как он покрылся прозрачным ореолом, заиграл мягкими искрами, пытаясь ее согреть, воспламенить, а потом медленно, постепенно потускнел.

И погас…

Какое-то тонкое облачко отделилось от того места, где он только что мерцал, поднялось вверх и растаяло.

Я сидел на корточках, прислонясь к косяку двери, смотрел в темноту и слушал осторожные ночные звуки — какую-то иную жизнь, в которую человек никогда не будет допущен.

А потом ночь мне шепнула:

— Спи…

09.05.2007

Внезапные деньги

Тебе, Михайлов, тебе это все посвящается.
Мной. Мля.

Господи! Да что же это творится…

Боже мой! Откуда же это, откуда? И сразу столько!

Нет, это дело надо скрыть! Главное, никому не проболтаться.

Никому. Скрыть, скрыть, скрыть. Главное — скрыть!

Пять тысяч! Пять тысяч!!!

Кто же их мог раскидать в моей бане? Кто? Кто?

Михайлов…

М-м-михайлов.

М-м-ми-хай-лофф. Поэт…

Точно — поэт.

Он же в прошлые выходные в мою баню ходил.

Да вот и штаны его лежат. Правда его штаны. Его.

Да как же он без штанов в город уехал? Ведь зима же?

Зима! Мороз.

Вот что значит — поэтическое мышление.

Все! Быстро бросаем пить.

Вместе бросаем. Пить теперь будем только по отдельности.

Ну, Михайлов, не жди. Не жди, не верну.

Ни-за-что-не-вер-ну. Не-дож-дешь-ся.

Мое. Будем считать — возмещение нанесенного ущерба.

Так. Что?

Надо заплатить за свет — рублей пятьсот. Или больше?

Шестьсот…

Банку майонезу. Майонезу хочу. Салатик какой-нибудь сделать. Приелось все… Все приелось.

Сигареты с фильтром. А то от «Примы» уже бронхи болят.

Зубную пасту, мыло, перец. Туалетную бумагу.

Стиральный порошок не будем. Весной будем стирать.

Для бензопилы литров десять бензину. Это кубометров десять — пятнадцать.

Нам с соседом до весны хватит. Если не увлекаться альтруизмом.

На альтруизм — еще десять.

Бросить пятьсот на мобильник.

Олифу. Весной надо будет сразу олифить.

Все!

Куплю жратвы, сяду и буду писать.

Мяса килограммов пять. Три… Два.

Майонез — еще раз.

Сыру кусочек… Маленький.

Кофе, кофе, кофе, кофе…

Чай, чай, пусть немного, но чай.

Стержень для авторучки — один.

Стельки в зимние сапоги.

Боты «прощай, молодость».

Флакон витаминов.

Две бутылки водки.

Еще одну — на утро. Пиво…

Или джин-тоник?

Джин-тоник — дрянь.

Джин-тоник…

Рыбные консервы.

Тушенки какой-нибудь на черный день.

Грудинку.

Нет. Денег не хватит. Беда…

— Слава! Слава! Ты меня слышишь? Замолчи и слушай.

У меня нет денег на телефоне. Замолчи!!! Замолчи, я тебе сказал! Я ведь нашел твои деньги.

Нашел, да. Не отдам!

И не надейся!

Слава, ты в своем уме?

Что за глупости ты говоришь?

Как ты это себе представляешь?

Вот сейчас встану на лыжи, побегу в город и вручу тебе их лично в руки. Без расписки.

Твои, Слава, твои. Никто не спорит. Да. Это твои деньги, и никто на них не покушается.

Слава, ты меня знаешь.

Нет, не много.

Майонез, табак, соль, спички. Телефон.

Мясо предлагали. Немного.

За свет, Слава, за свет. За свет надо обязательно.

Это кончится тем, что отключат электричество, а меня самого отсюда выселят. Да. Да, говорю! Выселят на хрен!

Вот тогда я приду к тебе жить.

Нет, не надейся.

Тогда я буду приходить ежедневно. К обеду приду, а после завтрака уйду.

Слава, послушай! Ты забыл у меня брюки, очки и чью-то чужую телогрейку.

Нет, все в полной сохранности. А в чем ты уехал?

Нет, если ты считаешь, что это камера хранения, то я буду высчитывать у тебя пятьдесят рублей в сутки. Умножь на шесть месяцев и добавь пеню.

Все, Слава, все!

Все, я тебе сказал!

Не надо, Слава, не надо!

Слава, не усугубляй эту глупость!

Да, деньги твои. Да. Да. Но с чего ты решил, что там было пять тысяч?

А с чего ты решил, что они были вообще? Ты узнал об этом от нетрезвого человека. Абсолютно нетрезвого.

Нет, нет, я шучу.

Отдам, конечно, отдам. Кроме шуток, отдам.

Слава, все! У меня отключат телефон, и я не смогу вызвать «скорую помощь».

Ты приедешь летом на дачу, а тут лежит обгрызенный мышами труп и на его бледных ребрах — изъеденные мышами бумажки… Купюры. Или банкноты?

Слава, посмотри по Интернету, как правильно?

Купюры или банкноты?

Посмотри обязательно и перезвони.

Все, Слава, все!

Брось мне завтра пару сотен на телефон.

Я буду держать тебя в курсе.

Подожди! Ольгу видел?

И как она? Опять?

Ну, все, все! Все, я сказал!

Что за глупость, прости меня, Господи…

11.01.2008

С утра в магазин

Конечно, если смотреть телевизор, то мыслей становится больше.

Допустим, кто-нибудь в фильме скажет: «Не грузись!»

И ты сразу думаешь: в самом деле, чего это я?

Да послать их всех подальше, и живи спокойно!

Всех, всех! К чертовой матери!

Всё!

Или один герой говорит другому: «Давай-ка лучше выпьем!»

И вот эта мысль самая лучшая. Так глубоко западет в душу, что ходишь и думаешь до утра: «А давай-ка лучше выпьем!»

Как хорошо сказано! Как хорошо!..

А уж утром бежишь в магазин, еще до открытия, пока бабы за хлебом не пришли, ведь потом они такой театр устроят, до обеда в очереди простоишь.

Одной мармелад несвежий, другой чипсы надо обязательно с крабами, третья леденцы сосать не может, если они на палочку не надеты. А уж если все леденцы на палочках, то тогда подавай ей именно зелененькие.

Вот тут и выяснится, что как раз зелененьких-то и нет. А из остальных она выбрать никак не может.

То за одни ухватится, то на другие поменяет, а уж те на шоколадку заменит.

И когда уже посчитают ей все и сдачу сдадут, тут ей новая блажь придет — шоколадку на маргарин поменять.

И тогда уж снова все пересчитывать приходится. Снова все из сумки достают и заново считают.

Со сдачей запутаются…

Продавщица новая, к счетам еще не привыкла, а на бумажке считать стесняется.

А эта дура, что всю очередь держит, смотрит поверх голов. Мол, я такая! Я достойна самова лутчего!

И мужики все на нее с испугом смотрят: а вдруг она сейчас маргарин вернет, из-за того что он на палочку не надетый?

Тогда точно до обеда все без водки останутся.

А ведь не каждый такое воздержание может выдержать.

И когда вытерпишь все это безобразие, схватишь свою бутылку, забыв о сдаче, прибежишь домой — вконец измученный, усталый, с головной болью, с ломотой в спине и коленях от этого бессмысленного стояния, хватишь два стакана подряд — второпях, не чувствуя вкуса, — вот тогда только и вспомнишь о том, какая хорошая мысль погнала тебя прямо с утра в магазин.

Вздохнешь, улыбнешься, скажешь себе радостно:

— А давай-ка выпьем!

Схватишься за бутылку — а она уже пустая…

И надо снова идти в этот проклятый магазин…

И такая обида поднимается в душе…

Да и деньги… Где их возьмешь?

01.2010

Письмо из деревни

Михайлов...

Слава? Михайлов? Вот!

Это тебе письмо пришло. От меня.

Да ты переверни его. Переверни...

Переверни, говорю! Еще раз...

Вот, теперь читай. По порядку. Сверху вниз.

Я тебе что хочу сказать: удивительная вещь — наша человеческая память.

То, что надо забыть, обязательно вертится в голове. А то, что надо непременно вспомнить, исчезает куда-то навсегда и бесследно.

Вот с утра я сегодня вспоминал, какое-то дело у меня было намечено... Что-то срочное. Такое, что и отложить нельзя... И ведь так и не вспомнил!

А тебя опять вспомнил. Да и вчера вспоминал...

Уж не случилось ли что? Не случилось?

Ну и правильно. Это хорошо.

А у нас здесь зима. Снег кругом, снег, снег, снег. Снег.

И еще здесь метели. Метели, метели, метели... Ничего больше нет. Ничего...

Снег у нас не такой, как в городе. Белый-белый. Как простыня до первой стирки.

Леонид вырвал все зубы. Совсем без зубов остался.

А Василий два раза на рыбалку ходил. Совсем ничего не поймал...

Больше и событий никаких не было. Совсем никаких.

На седьмое ноября курево в магазин не завезли.

Так мы всей деревней целую неделю табак резали и курили. Резали и курили, резали и курили, резали и курили.

Резали и курили...

Удивительное свойство у нашего табака: пока на одну самокрутку нарежешь, уже горит все внутри, как курить охота. Свернешь себе быстро самокрутку, покуришь маленько — опять табаку не осталось.

Снова его крошить надо.

Так до вечера и сидишь не разгибаясь.

А утром — опять...

Такая вот неделя нам выпала.

Сидим мы, табак режем, а сами боимся.

Девятого числа река встала. Паром восьмого последний раз ходил. Так вот, сидим мы, режем табак, а сами думаем: успели эти, райповские, наши сигареты сюда, на наш берег, переправить? Хоть немного?

Или все сигареты на том берегу остались?

Если успели, так почему они их в наш магазин не завезли?

А не успели, так, значит, им и завозить нечего. Потому и не завезли.

Вот ведь беда...

Это если они сигареты на том берегу забыли, то нам ведь теперь до самого нового года табак резать придется. Уж покуда зимник по льду не проложат.

Там-то уж вспомнят. По зимнику завезут...

А если опять в этом году лед слабый будет?

Тогда ведь и зимник никто прокладывать не станет. А это, считай, мы до конца мая без курева сидеть будем. Покуда снова паром не пойдет...

А пойдет он или не пойдет, этого никто не знает.

Пойдет, наверное, если с него опять всю медь не отвинтят. А вот поотвинчивают, так и не знаешь уже, чего дальше ждать.

И что же ее не отвинтить, если этот паром всю зиму без присмотра стоит? Еще и алюминиевые провода пооборвать можно. Зимой-то мужикам все равно делать нечего. Только что табак резать...

Так этого табаку никак нам до лета не хватит.

Никто же его не садил специально. Собрали что само взошло...

Такие вот мысли в голову приходили. Тяжелые.

Сидишь, табак режешь, а сам боишься, что теперь всегда так будет.

Но ничего. Обошлось все-таки.

Через неделю «Приму» в магазин завезли. А когда мы на «Приму» все деньги истратили, тогда уже и хороших сигарет привезли. С фильтром.

А так... Скучно здесь. Скучно. Совсем скучно...

Даже собаки скучают.

Сидят, каждая у своих ворот, и зевают.

Соревнуются, у кого пасть шире открывается. А потом какая-нибудь встанет, обойдет вокруг себя, хвост свой понюхает, сядет опять и снова зевает.

И другие, глядя на нее, тоже встанут, обойдут вокруг себя, хвост понюхают...

А потом сидят и зевают.

Прямо танец какой-то...

Звезды по ночам разглядывают!

Или залезет на стожок и лает, лает на лес. А потом слушает, как эхо отлаивается. И тогда уже начинает на эхо лаять.

А что им еще делать? Дачники разъехались, ни облаять, ни укусить некого. Никого нет в деревне. Никого.

До того собачки дошли, что со скуки мышей ловят. Поймает, хвост ей лапой прижмет и разглядывает ее часа три. Пока не стемнеет. А потом уже на звезды смотрит.

А едят они их или просто это тренировка у них такая — не знаю, не пойму.

Иная собака прохожего увидит и улыбается ему. Снег хвостом подметает, глазки сразу веселые у нее. Приятно ей живого человека встретить.

А сама в лицо ему заглядывает: уж не поэт ли идет? Уж не Михайлов ли?

Другие даже к магазину ходят, чтобы на людей посмотреть. Целый день сидят и смотрят: кто пришел? что купил?

Обсуждают между собой...

И бабы рядом стоят. Тоже обсуждают.

Собачью науку перенять хотят. Учатся...

Да и я, знаешь, до того здесь дошел...

Бывает, гляну вокруг — пустыня...

Весь берег в снегу, сугробы кругом, сугробы, одни сугробы, только крапива на твоем огороде из снега торчит. И ветер по этим сугробам метет, снег заметает.

И вдруг почудится как-то, что идешь ты по берегу — в рваных шортах, с большой сумкой пива, и издалека еще мне рукой машешь...

А потом встану на крыльце, стою, смотрю, как вьюга лес заметает, метет и метет, и конца этому нет, — и вижу вдруг, как ты из леса выходишь. Майка какая-то желтая на тебе...

И снег в волосах, как белый веночек...

И сумка с пивом через плечо висит.

Бог ты мой, думаю. Да где ж он пива-то в лесу набрал?

Да что ж он в майке-то в такую погоду ходит?

А ты тут враз и исчезнешь...

Хожу потом целый день из угла в угол. Расстраиваюсь...

Что же, думаю, это за выверт такой, чтобы зимой холодное пиво пить? Что это за глупость такая?

Тут и без всякого пива мерзнешь!

Выйдешь со скуки снег от крыльца отгрести, так лопата в один момент к пальцам примерзает! И не отодрать! Только с перчатками вместе.

Уж для нашей-то зимы совсем другие напитки есть!

И ведь не мальчик уже! Надо к жизни серьезнее относиться!

Такие вот у меня мысли бывают...

Нет, соскучился я. Совсем соскучился...

А однажды было так сильно я по тебе заскучал, что даже оделся и пошел к тебе в дом. Пойду, думаю, посижу. Вспомню, как мы тут летом со Славкой жили...

Часы твои со стены снял и у себя повесил. Пусть, думаю, про Михайлова мне напоминают.

Печенье у тебя забрал, чтобы мыши не сгрызли. Тут по холоду очень на сладкое тянет. Хотел и сахар у тебя забрать, да все никак сахарницу ухватить не мог.

Руки часами заняты, печеньем. Еще что-то там у тебя нашел. Уже и не вспомню что...

А потом-то до меня дошло, что ты в этой сахарнице всегда соль держишь! Потому-то она всегда у тебя полная. Заглянул я в банку для соли — мать честная! — а там сахару две ложки всего.

Не стал его брать.

Ладно, думаю, обойдусь как-нибудь. Дотяну до весны...

Деньги-то я все на «Приму» истратил.

А мышь дохлую я из твоего кофейника выкинул.

Думал, думал, да так и не понял, ты ли ее туда посадил? Или она сама в кофейник залезла? Тут ведь зимой даже спросить некого — пьют мыши кофе или нет?

Если пьют, могла она и сама залезть...

Или ты ее туда посадил? Согреть хотел? От осенней стужи спасал?

Не знаю... Выкинул ее на всякий случай.

Уж если она тебе будет нужна, мы тебе летом другую поймаем. Или хоть у собак отберем.

Эх, Слава...

Зимой тут совсем лень одолевает.

Совсем...

Утром проснешься, печку затопишь, ляжешь на кровать и ленишься.

А еще бывает, что разлепишь утром глаза, лежишь себе под двумя одеялами и думаешь: сейчас встану, печку затоплю, чайку попью и все дела разом переделаю. Подумаешь так хорошо да и снова заснешь.

И снится тебе, будто ты уже дров натаскал, хлам всякий, что зря под ногами болтается, в сарай унес, воды накачал, все тряпки перетряхнул, пол вымыл, полотенце выстирал. Носок заштопал...

Ну, думаешь, вот это я дал! Вот это я молодец!

Да от удивления тут же и проснешься.

А здесь уже и дом остыл, и чайник пустой стоит, и какие-то вещи ненужные с осени под ногами валяются...

Приходится все заново делать, по второму разу. Но уже второпях, в сокращенном виде. А потом уже снова ложишься и тогда уже ленишься.

Изредка только приподнимешься, два слова запишешь да и снова ляжешь. Я уже и стол к кровати придвинул, чтобы сильно далеко не ходить.

И знаешь, что я сейчас пишу? Ни за что не догадаешься.

Письмо!

Письмо я тебе решил написать! Вот это самое, которое ты в руках держишь. Удивить тебя хотел. Обрадовать.

Да и хватит, наверное. Много уже написал... И писать-то больше нечего. Ничего ведь не происходит.

И устал я, отдохнуть надо.

Может быть, потом еще напишу что-нибудь. Если что-то произойдет. Кошка какая-нибудь котят принесет. Или рыбнадзор утонет. Все ведь может быть. Нельзя же совсем без происшествий жить.

Даже непонятно — почему у нас ничего не происходит?

Ну и ладно. Встретишь кого, так от меня привет передавай. Только тем, кто меня знает, тем не передавай. А другим передавай сколько хочешь.

Про меня если кто будет спрашивать, так ты им говори: пропал Мясников, совсем пропал... Ночью мыши насмерть загрызли. Голые кости в кровати лежат. Да и то не все удалось найти...

Надоели мне люди. Ох, надоели...

Который год от них отдыхаю, а все еще толком не отдохнул...

Ну и все. Прощай. Дай тебе Бог...

А я спать буду. Спать, спать, спать, спать...

Сара ЗЕЛЬЦЕР

«ПОКА ЗИМА ПЕЧАТАЕТ КУРСИВОМ...»

* * *

Оторванная дверца без петель,
Бужу добро, не поминаю лихо.
Дай бог дожить до станции апрель
И родине уткнуться в облепиху,
Где мелкий дождь —
Не пойман и не вор,
Где в поле спит машина грузовая.
И яблони молчат, как на подбор,
Мелодии моей не узнавая.

* * *

Еще одна шальная пятница
Скользнет иголкой по винилу.
Земля не вертится, а пятится,
И ничего не изменилось:
Все те же солнечные зайчики
И тех же облаков обрезки...
И только там, где сбили мальчика,
Теперь лежачий полицейский.

* * *

Стою, окно завесив, имярек.
Пока зима печатает курсивом,
Закройте музыку и выключите снег —
Мне эта красота невыносима.

Уж лучше в грязь лицом и до утра
Подсматривать, как безымянный город
Машины вынимает из нутра
И звездами выкладывает ворот.

Но даже здесь захочется реветь
От синевы — густой и нелюдимой...
Лети, мой свет, лети на красный свет —
Его пути давно исповедимы.

* * *

Последний лист надеждами пришит,
Но здесь ветра целуют не по-братски.
Раскольников старушку сторожит,
Каренина от холода дрожит
На будущем вокзале Ленинградском.
А что же лист? Да так, обычный лист.
Упал к ногам и сгинул моментально.
Он не узнал, что пьяный гитарист
Всю ночь лабал мотив сентиментальный
О желтых листьях.
Дяденька в плаще
Наступит каблуком и юркнет в узкий
Промозглый двор. Он не поймет вообще,
Чем осень завораживает русских —
Не потому, что лирики в нем нет
И чудеса свой ход остановили,
Он просто грек и видел, как рассвет
Торопится на запах бугенвилий.

* * *

Здесь было много алкоголя
И снега.
Десять долгих дней
Медсестры в сумрачном покое
Склонялись к голове моей.
И хрипло кашлял врач дежурный
На сквозняке у проходной.
Но и в бреду температурном
Я различала голос твой,
Где сочных бабочек бутоны
В неразличимой темноте
Из жаркой трубки телефонной
Слетались на руки ко мне.

* * *

Когда-нибудь все музыки на свете
Устанут петь о смерти и любви,
Как устают взрослеющие дети
Дружить до слез и драться до крови.

И в этот день, холодный и усталый,
Потерянный, как в марте снегири,
Я наберу твой номер, но не стану
(Я не смогу) с тобою говорить.

И ничего такого не случится.
Увидишь ли сквозь липкую пургу:
Слова-слова столпились на ключицах,
И тяжело, и сбросить не могу?

* * *

Как ни падай в грязь,
А любовь чиста.
Что бензин с числом октановым
Выше ста.
Что с пыльцой расставшийся
Мотылек.
Что дитя, плывущее
За буек.
Как ни долог праздник —
Я все снесу,
Просочусь сквозь пальцы
В людском лесу,
Не щадя ни сердца, ни головы
Перед столкновением лобовым.

* * *

Ничего не случится вовек,
Только поезд и снег.
Только тамбур, в котором никто не продаст сигарету.
И сидит человек. И украдкою пьет человек
За тяжелую жизнь, за свои небольшие секреты.
И похоже купе на уютный овечий загон.
На непрочный корабль, что вот-вот натолкнется на рифы.
И качнется вагон. И звезда упадет на перрон.
Даже если ее в этот раз уронили для рифмы.

* * *

Двадцатый век внутри не умирает,
Пока Освенцим снегом засыпает.
На Соловках акация болит.
А то, что сын не пишет, не звонит,
Пока я рвусь к нему, теряя силы —
Мне выносимо.

* * *

Когда надежда выскользнет лещом
И будет стих колючим, словно холод,
Оставьте свет и музыку.
Еще
Оставьте город.
Оставьте парк.
Желтеющий магнит
Его ветвей притягивает тени.
И Бога в нем, который говорит
На языке растерянных растений.
Оставьте ночи тоненький рубин
И теплый дом с орнаментом прихожей.
И тех людей, которых разлюбил,
Оставьте тоже.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

ЖУПЬ. ИСТОРИИ ПРО САШУ

Рассказы

Жупь

В сером небе утопает туман, домик утопает, все утопает, вчера в нем утопает и сегодня. А завтра еще не пришло. На окраине домик — натянул покатую крышу-шапку и блестит окошками-глазами. В домике кот, стол круглый, люстра репкой, ложки, вилки, чашки, мама, Саша. Часы скрипят, пол поскрипывает, сверчок хвостом дрыгает.

— Не дрыгают сверчки хвостами.

— Тогда ногой.

— И ног у него нет, только лапки.

— Как же он ходит?

— Он не ходит. Сидит, шумит.

— Хороший.

— Да уж.

Оживает чайник, звенит водой о бок, блестит крышечкой. Уставшее солнце на полу ленивой змеей-полоской разлеглось и потягивается. На скатерти рисунок — всадник летит, пыль поднимает, конь недовольный скачет, грива мятая развевается.

Саша в окно смотрит, вдали деревья и вечерние всполохи, на подоконнике в углу паутина скомкалась, а Саша вдруг вспоминает:

— Мама, а Жупь не прилетала?

— Не прилетала. Но оставила в прошлый раз для тебя булку с повидлом, свежую. Будешь?

— Будю.

* * *

Жупь — птица степная. Вечером мама и Саша выходят за калитку и утопают взглядом в дали. В степи — травы разноцветные, пахучие: бурачок, горицвет, медведица, чабрец, полынь — шепчутся, переплетаются, волнуются, толкаются, ругаются. Саша зажмуривается и представляет, как прыгает в мягкую траву, падает, падает, и до самой мягкой земли. В траве звери шершавые водятся: жук-олень, богомол, кузнечики, гусе-

нички. Саша со всего разбега жуку на спину прыгает, тот бодается, упирается, жук огромный стал, как носорог. Саша хохочет и ногами дрыгает. Потом, раскачавшись, на кузнечика длинного прыгает, и-и-и! Ка-ак они полетят, как подпрыгнут! И вни-и-из, и-и-и…

— Саша, вылезай из травы, весь в росе!

— Уползу!

— Вылезай.

— Пры-ы-ыг!

— В траве весь.

— А у кузнечика ноги!

— Очевидно. Пойдем чай пить.

— Цай!

* * *

Совсем стемнело. Мама ведет Сашу за руку домой. Он оглядывается — там, далеко, в траве жук-олень свалился на бок, шевелит лапками, сердится. Вокруг сбежались муравьи, смотрят, переговариваются, переглядываются. Сверху раздается громкий звук — как будто простыня хлопает воздухом на ветру. Муравьи разбегаются, жук падает на спину. Сверху приближается и посвистывает, крылья хлопают и…

— Не балуйся. Зачем печенье ложкой раскрошил?

— Смотри — крошки бегают.

— Мне кажется, нет.

— Давай это для муравьев оставим?

— Отличная идея. Картошки им еще разогреть?

— Неть. Картошка невкусная.

— Интересный такой.

— Мама, а Жупь не прилетала?

— Ты когда днем, помнишь, в сад убежал без спросу?.. Она как раз залетала, но говорит: «Времени сейчас нет, надо лететь. Вот Саше конфету передай».

— Ух ты! И ничего не сказала больше?

— Только кивнула.

— Ладно.

* * *

Одеяло сверху колючее, снизу холодное, на обоях узор желтоватый: цветочки, цветочки, узор, крючок, рыцарь, динозавр, машина, машина, машина. Глаза закрываются, и Саша видит, как грузовик несется, пыльный, дребезжит, гремит, а Саша на коленках у мамы сидит, в окно машинино смотрит, а там дорога мелькает, пылится, убегает, камнями стреляется. За рулем папа сердится. Мама переживает, поправляет Саше куртку. Вдруг вдалеке крылья начинают хлопать, столбом ввысь что-то взлетает и исчезает в точку.

— Мама, там, кажется, Жупь пролетала.
— Это вряд ли, она сейчас в Чебоксарах.
— Зачем?
— Семинар у нее там. По археологии.
— Архилоги? Звери такие?
— Нет, землю копают.
— Кроты.
— Ну да.
— Не забивай мальчику голову. Дура.

Совсем ночь. Саша в сон падает, и теперь все мягко-мягко вокруг, только синь глубокая сгущается, укачивает, жук пролетает мимо, обиженный, обида во все стороны разлетается и на Сашу попадает, а он только рукой отмахивается и летит растянуто-медленно — вниз, вниз и потом вперед. Пролетает мимо люстра-репка, занавески, карандаши, запылившаяся старая бритва — папа за ней не вернется. Саша в степи. Темно вокруг, но не страшно, луна только зеленым и странным траву подсвечивает, и Саша один стоит, и Жупь ждет. Все кругом трещит, шепчется, деревья вдалеке кряхтят и жалуются. Он ждет долго, минуты друг за друга цепляются и растягиваются, а Жупи все нет. Саша ложится на траву, сворачивается калачиком и лежит. Тихо. Вдруг раздается шум, хлопают крылья. Большое гулко приземляется на землю рядом. «Жупь!» — вскакивает Саша. Жупь смотрит на него — подходит и трогает его клювом. В клюве мячик цветной и каучуковый. Птица оставляет мячик, смотрит боком, топает и улетает.

«Жупь больше не прилетит», — думает Саша.

* * *

Саша спит, за окном становится все светлее. Утро. Мама поправляет одеяло и кладет Саше в руку каучуковый мячик.

Шелкопряд

Он мысленно выстраивал их в ряд. Жук, пчела, червяк, гусеничка, мотылек и таинственный шелкопряд. С жуком все понятно — жужжит, чернеет спиной, летит грозно и неуклюже одновременно и падает на спину замертво, если что-то приключится. Пчела опасная и кусучая, о ней и говорить страшно. Сашу она не цапала ни разу, но он видел, как распухла и отекла щека у соседской Любки, как она ревела самым звонким звуком, который Саша слышал за всю свою пятилетнюю жизнь, как охала и ухала вокруг нее одутловатая квадратная тетя Люба и как от ее неловких и размашистых движений с грохотом с соседского стола слетел алюминиевый чайник и разлился водой. Червяк, напротив, спокойный и неторопливый, что, несомненно, мешает ему жить — много раз Саша видел, как медленного червяка разрубало напополам лопатой, а то и вовсе разрывало на куски грязными руками соседского Веньки. Гусеничка поражала Сашу

своей экзотической красотой, а мотылек — глупостью: этот был быстрый и красивый, но до чего неумный — летел на лампу, которую включали по вечерам, с мягким стуком раз за разом шлепался о стекло, пока не попадал внутрь и не исчезал там. Саша поначалу каждый раз ждал, когда очередной мотылек вернется, но потом понял, что тот улетал в лампу навсегда.

И только шелкопряда Саша никогда не видел, а когда начал спрашивать у взрослых, которые были на даче, как выглядит шел-ко-пряд, они сначала уверенно начинали:

— Это такой!.. Э-э… Ну… такой!

— Такой, с крыльями. Наверное.

— Червяк такой.

А потом не очень уверенно продолжали:

— Жук такой…

— Бабочка такая?

— Шелк делает…

Саша понял, что с шелкопрядом никто из взрослых знаком не был.

В тот день, ковыряясь совком в сыром песке, Саша снова вспомнил о шелкопряде.

Повалившись на спину и растянувшись во весь рост, он стал рассматривать лениво плывущие по небу мятые облака. Постепенно облака все прояснили: шероховатый и одновременно пушистый шелкопряд сидит у себя в доме (красивый семиэтажный дом из песчинок, мелкого мусора и глины), за спиной у него шевелятся крылья, а из окна нитка тянется вниз, а внизу сто муравьев один за другим нитку тянут, тянут, тя-я-янут…

— Тутовый шелкопряд, — внезапно произнес за ужином дядя Петя, сухощавый и угрюмый. Он почти ни с кем не говорил, всегда был хмурым и мрачным. Рано утром он уходил на рыбалку и возвращался обычно вечером, почти всегда пропуская ужин. Но в этот раз ужин был позже и дяде Пете пришлось сесть за стол.

— Тутовый? Потому что он тут? — изумился Саша.

Дядя не ответил. Наоборот, снова помрачнел и уткнулся в свою тарелку. Остальные были заняты глупой взрослой беседой о каких-то Кораблёвых, и каких-то переездах на осень, и о каких-то ремонтах и Сашиного вопроса не услышали.

Весь оставшийся вечер, до самого темна, Саша искал шелкопряда. Тут — значит рядом, поэтому он облазил весь дом: заглянул во все уголки и закоулки и изучил каждое дерево в саду. Пока никто не видел, залез рукой в бак с холодной водой (вдруг шелкопряд сидит на дне) и в конце долго исследовал огород (осмотрел все листы капусты, все пупырчато-неровные огурцы в теплице, прощупал гладкие листы щавеля и длинные зеленые острые перья лука), пока бабушка не начала ругать за то, что он «потоптал все кабачки, лук помял и вымазался весь с ног до головы опять, чертенок, да еще и вымок». Саша не обратил внимания на эти мелочи — был слишком увлечен исследованием и если и заревел, то не оттого, что бабушка заругала, а потому что шелкопряд не нашелся.

— Три года уже их нет. Один живет. Вот к нам в этом году приехал и все молчит. Смотреть не могу. Со мной не говорит, ни с кем не говорит, — поздно вечером, в постели, сквозь сон Саша услышал, как бабушка на крыльце негромко говорит с соседкой. — В аварии разбились Лена со Светочкой. На детей не может смотреть — я же вижу.

Саше снилось, что он приходит в гости к Шелкопряду и садится с ним рядом на стульчик из срезанного стебля ромашки. В окошке вдалеке не спеша проползает гусеница, на голове у нее элегантная серая шляпка, в разноцветных волосках на спине переливается солнце, и вся гусеница необыкновенно хороша. В дверь на секунду заглядывает пчела, но не успевает Саша испугаться, как она уже исчезает. Шелкопряд молчит, только шевелит свободной от шелковых нитей лапкой и слегка улыбается. Мальчик жалуется Шелкопряду, что дядя молчит и на Сашу глядеть не может, но зато дядя знает, что Шелкопряд тут. Шелкопряд вздыхает, улыбается и пускает на Сашу струю шелка, и шелк окутывает его, и вот Саша в коконе, и в коконе тепло, укачивает, убаюкивает, хорошо, Саша спит, Саша спит…

— Саша спит.

— Ладно.

— Ты на рыбалку пошел?

— Да.

Утром Саше было очень жарко и заболело горло, и взрослые сказали ему, что он заболел. Весь день он проспал, в перерывах между сном его кормили невкусным лекарством и вкусным бульоном, он немного хныкал, но потом снова спал и сквозь жару снова нырял в траву к Шелкопряду. Когда за окном почти стемнело, он проснулся, было хорошо и прохладно. В комнату зашел дядя. Он сел на край кровати и протянул Саше книгу.

— Вот тут, на сорок четвертой странице. Про шелкопряда.

Саша зашелестел страницами, которые мелькнули белым в сумерках. С картинки на него смотрел большой коричневый усатый мотылек, сидящий на блестящем зеленом листе.

— Не похож, — вздохнул Саша.

— Я знаю, — сказал дядя.

Утром, когда Саша проснулся, мама зашла в комнату, потрогала Сашин лоб, убедилась, что он не горячий, и стала раскрывать шторы.

— А это что за книга?

— Дядя подарил. Энциклопедия животных. Он уже ушел на рыбалку?

— Он уехал домой сегодня. Можно посмотрю?

В комнату проник яркий свет августовского солнца. Мама открыла книгу. На первых страницах было написано круглым неровным почерком: «Это книга Волковой Светланы, 7 лет, будущиго биолога и исследователя».

Между рамами окна билась серая пыльная бабочка. Из последних сил она вылетела в открытую форточку. Саша долго смотрел, как облачко пыли медленно оседало на подоконник.

Рыба

В этом году ему казалось все совсем другим. Воздух был холоднее, деревья суровее, мама чаще ругала за шалости, а кот из теплого податливого комка превратился в клокастого злючего хищника. Сашу он даже глубоко царапнул один раз, и мальчик помнил, как едко пахла и текла зеленка, как она пролилась на коленку и сползла тонкой струйкой почти до носка, там иссякла и мгновенно впиталась. Саша ревел с минуту, потом всхлипывал еще минут десять, вокруг волнами расходилась атмосфера глубокой поддержки и понимания, а мама с бабушкой слились в одно большое сочувствие. Потом Саша отвлекся на саранчу, которая опрометчиво влетела огромным прыжком в их сад, и на целый час мир сузился до короткого жизненного пути не очень складного существа с длинными лапами-механизмами и не самой счастливой судьбой. Стремительный путь саранчи (уже без пары лап) резко прервался, когда неуклюжий дедушка наступил на нее ногой в старом резиновом шлепке. Саша ревел еще раз, но потом позвали к полднику и мальчик увлекся киселем.

К ночи, когда на крыльцо стали сползать сумерки, мама натянула на сопротивлявшегося Сашу колючую кофту и усадила за стол, высыпав из пыльной коробочки домино. Он не умел играть, но любил выставлять костяшки в ряд, строить маленькие башенки-города, гулко стучать ими о стол и вспоминать, как взрослые, играя в домино, зачем-то все время выкрикивают: «Рыба!» Дедушка в это время подсел с другой стороны стола и стал обматывать синей изолентой дряхлый приемник. Изолентой дедушка чинил все предметы.

— Завтра за рыбой пойдем, Сашок.

— Рыба!

— Главное, чтобы была.

— Мокрая?

— Наверное. Какая будет.

Засыпая, Саша представлял рыбу, за которой они пойдут. Огромная и сизая, она шевелила прозрачными плавниками и медленно и задумчиво рассекала дрожащую воду. Саша тянулся за ней, и руки чувствовали прохладу, легко доставали до рыбы, уже проглотившей крючок. Ударив по воде хвостом несколько раз, она оказывалась над водой, в густом утреннем воздухе. Вот рыба уже у Саши в руках, и он рад — рыба у него, рыба с ним…

Утром Саша проснулся и сразу побежал на террасу — там уже с утренним уютным звоном расставляли тарелки и чашки к завтраку.

— Куда босиком, пол холодный!

— Где дедушка? За рыбой!

— Скоро вернется. Успеете. Умываться пошли.

Умывание, завтрак и чтение после него длились так долго, а дедушка так долго не шел, что Саша в итоге надулся, залез в кучу песка и стал сердито шлепать ведерком башенки — одну, вторую, третью, другую, еще, целый ряд башенок. Постепенно мир снова стал понятнее и логичнее, и про рыбу Саша стал забывать.

Но когда к обеду дедушка, заскрипев калиткой, вшаркал в сад, Саша мгновенно вспомнил холодную тяжесть рыбы в руках и с криком побежал ему навстречу, повалив по дороге ведро с недавно собранной вишней. Вишня бесшумно рассыпалась и заалела в укропе, бабушка запричитала, а дедушка отчего-то внезапно схватился за поясницу.

— За рыбой идем?!

— А… Идем, идем.

— Пошли!

— А обедать?

— Не хочу-у-у…

После обеда заставили спать.

Солнце уже превратилось из колкого и обжигающего в обливающее теплым предвечерним светом, когда они с дедушкой вышли на улицу и зашагали по дороге с примятой травой. Одна Сашина рука утопала в сухой дедушкиной ладони, а второй он цеплял на ходу все, до чего мог дотянуться: высокие стебли одуванчиков, облезлые спины заборов, низкие листья одичавших кустов малины. Они вышли на широкую улицу, которая, единственная в поселке, была одарена щербатым, неровным асфальтом.

Приблизились к невысокому зданию с кривой металлической дверью, и дедушка за руку стал здороваться с огромными басовитыми мужиками, стоящими у входа. Внутри было темно и прохладно, пахло соленым и в углу что-то звенело и перестукивалось. Дедушка вдруг стал удивительно быстрым, в мгновение исчез и появился с огромной кружкой, переливающейся янтарным. Саше он протянул конфету на палочке, завернутую в пестрое. Пока внук боролся с плотной оберткой, дедушка успел выпить поблескивающее во мгле содержимое, исчезнуть снова и вернуться еще с одной кружкой. Саша засунул конфету в рот и стал разглядывать огромные весы, одиноко стоявшие в углу, покрытые пылью и мелкими черными букашками. Под весами лежала полуживая огромная муха с поломанным крылом — последние звуки в ее жизни были похожи на поскрипывание сломанного будильника. Дедушка успел справиться со второй кружкой и, одолев третью, подошел к Саше:

— Пошли домой, Сашок.

— А рыба?!

— Точно. Рыба.

Они подошли к прилавку, и хмурая женщина, посмотрев на них недовольно, медленно развернулась и исчезла в полумраке. Ее не было так долго, что Саша начал волноваться, а дедушка — задремывать, оперевшись на покатую витрину с мутным стеклом. Женщина внезапно появилась, неся на вытянутых руках огромную сизую рыбину. Дедушка очнулся, полез за деньгами в карманы штанов, долго возился, отсчитывая скомканные купюры. Рыбину опустили в прозрачный целлофан, после чего она наконец оказалась у Саши в руках. Упругая, с круглым глазом, она холодила руки и пахла тиной. Саша крепко обнял ее и тоже резко захотел спать. Брусочки домино радостно застучали по столу в глубине магазина: рыба у него, рыба с ним…

Потеря

Была хрупкая, настойчивая и затянувшаяся осень, которая так распласталась, размазалась по городу, что смурные, еще больше посеревшие пятиэтажки словно гнулись и пошатывались под ее желто-коричневой тяжестью. Все вокруг жаловались на октябрь. Октябрь холодный, октябрь мрачный, октябрь слякотный, октябрь слишком быстро наступил, октябрь никак не закончится. Одному Саше октябрь нравился — как нравились ему резиновые сапоги, и рассекать в них по глубоким лужам, и собирать желтые, пожухшие по краям листья, разбегаться и пинать огромные кучи из них в парке.

Однажды они с мамой пошли на почту — забирать посылку. Саша взял с собой небольшую пожарную машину и по дороге все время пытался прокатить ее то по облезшей краской спинке скамейки, то по краю металлического палисадника, то просто по маминой руке, что у нее вызывало мягкое рассеянное раздражение:

— Саша, ну в самом деле!

Когда они подошли к зданию почты — покосившемуся домику с проржавелым крыльцом и деревянными ступеньками, от которого уже издалека тянуло ощущением тревоги и недовольства, в сером и неприглядном небе стало совсем мрачно и в воздухе зашевелились капли дождя. На почту была очередь, она заканчивалась на улице, и так как крыльцо было уже занято людьми в плащах, куртках и вязаных шапках, мама раскрыла зонт и они с Сашей примостились рядом, прижавшись друг к другу. Долго тянулись минуты, но очередь в итоге сжалилась над ожидающими и сжалась. Саша с мамой оказались внутри, а еще через двадцать минут — у заветного окошка, за которым виднелась недовольная женщина с лицом, колко бледневшим в окружении сероватой дымки волос.

Саша заметил в проеме двери мелькнувший черный косматый хвост. Блеснула лужа, дверь распахнулась, но ничего интересного не произошло — вместо этого проем полностью заполнила собой конусообразная женщина. Постояв и тяжело отдышавшись (четыре крыльцовых ступеньки почти отражались в ее утомленном выражении лица), она грузно зашагала к окошку с бандеролями. Мама в это время что-то пыталась доказать колючей и серой женщине в окошке, слова которой Саша разобрать не смог:

— Какое заявление?

— …

— Вот паспорт.

— …

— Где расписаться?

— …

— Отдайте паспорт.

— …

— Отдайте паспорт!

— …

— Я же вам говорю…

Сутулая старуха острым локтем нечаянно толкнула Сашу, и ему стало невыносимо тоскливо — настолько, что захотелось снова на воздух, в мокрый октябрь, к блестящим лужам. Мальчик незаметно выскользнул, деревянная дверь недовольно и резко скрипнула и глухо захлопнулась у него за спиной.

Огромный черный пес сидел на краю тротуара и пристально смотрел на Сашу. Саша собак не боялся — он знал, что почти все они или друзья пограничников, или добрые дворняги, других он не видел. Поэтому Саша подошел к нему и погладил. Пес прижал уши и растянулся на животе, положив голову на передние лапы. Хвост весело забился туда-сюда.

«Голодный и добрый», — подумал Саша и полез в карман за конфетой, которую перед выходом ему дала бабушка. Вытянутый из глубокого кармана батончик почти уже развернулся и пребывал в полурастаявшем состоянии — Саша смело протянул конфету псу, который лихо повернул головой и мягко и молниеносно слизнул конфету с руки. Затем, глубоко и немного нервно зевнув, пес резко поднялся и направился в сторону парка. Мальчик собрался было вернуться к маме, но когда он посмотрел в сторону почты, то увидел в проеме пирамидообразную тетю и внутри снова стало тоскливо и пыльно. Невыносимо захотелось узнать, куда побежал огромный пес. Саша оглянулся на почту и («Я только мигом!») решил немного проводить пса, который огромным черным пятном медленно удалялся вдаль.

Совсем скоро случился еще один поворот, потом еще один, собака остановилась и села, Саша наконец ее догнал, но радость сменилась ужасом — он оказался в совершенно незнакомом месте. Справа неизвестный сквер, слева — угрожающе красный дом, через дорогу — продуктовый магазин с немытыми окнами. Мимо проспешило несколько прохожих, мальчик оглянулся по сторонам и тихо заревел. Собака подошла к нему, села и ткнулась мордой. Саша обнял ее за шею и так и застыл, изредка всхлипывая.

* * *

Виктор Петрович шел по улице, слегка похрамывая — от слякотной погоды у него всегда ныло правое колено, результат старой спортивной травмы. На душе было тоскливо — вот уже как две недели он не видел Тибета, шестилетнего ньюфаундленда, который всегда до этого отличался славным добрым нравом и примерным послушанием. По какой-то неожиданной причуде, разыгравшись на прогулке, Тибет внезапно убежал куда-то и потом не вернулся. Все эти дни Виктор Петрович искал его, но с каждым часом надежда вернуть собаку таяла. За две недели многочасовые выматывающие прогулки по городу уже вошли в его привычку, равно как и постоянное высматривание черного пятна. Сегодня он гулял уже четыре часа, совсем устал и решил направляться к дому.

На другой стороне улицы он увидел небольшую толпу — не было видно, вокруг чего собрались люди, и что-то заставило Виктора Петровича, превозмогая усталость, направиться в их сторону. В какой-то момент в толпе мелькнуло черное.

— Потерялся!

— Мальчик, как твою маму зовут?

— Где ты живешь?

— Молчит, ничего не говорит.

— Надо в милицию его вести.

— Как ты его поведешь — собака вон какая.

Виктор Петрович подошел ближе, стоявшая перед ним сухонькая старушка посторонилась. На тротуаре сидел Тибет, которого обнимал пятилетний мальчик, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Пес не двигался, но людей к себе не подпускал и отпугивал их легким рычанием.

— Тибет! — позвал Виктор Петрович.

Собака вздрогнула, мягко вырвалась из объятий ребенка, резко повернула голову и с громким лаем устремилась в сторону хозяина. Встав в полный рост, яростно размахивая хвостом, Тибет стал лизать лицо Виктора Петровича. Саша удивленно смотрел на них и даже перестал плакать. Толпа, не успев сообразить, что произошло, замолкла и тоже изумленно застыла.

— Ты куда пропал, дурачина? — бормотал Виктор Петрович. — Ищу хожу тебя, а ты тут прохлаждаешься…

Собака снова встала на четыре лапы, а Виктор Петрович подошел к мальчику и спросил:

— Ты где Тибета встретил, малыш?

— На почте, — тихо сказал мальчик.

— Так надо на почту его отвести — тут она одна в районе, — наконец подал голос кто-то из толпы, которая к этому моменту немного поредела.

— Да вон уже бежит какая-то, — сказала старушка.

Мама в расстегнутом пальто, с Сашиной машинкой в руках бежала в их сторону. Саша увидел ее, мир вдруг снова стал простым и гармоничным, и мальчик с облегчением громко заревел.

* * *

Каждый вечер сотрудница почты Громовского района Раиса Борисовна, готовя свой скромный ужин (картофель-пюре, вареная курица, овальные, еле красные помидоры), прислушивалась к звукам темного гулкого подъезда. Мягко звенела входная дверь, когда в нее, монотонно переругиваясь, входили супруги Гавриловы с четвертого этажа, грохотала, когда вбегал двенадцатилетний отпрыск Петровых с пятого, и сварливо ругалась скрежетом, когда появлялись недавно въехавшие, совсем молодые, еще бесфамильные для Раисы Борисовны двое.

Но все эти звуки не тревожили и не задевали душу Раисы Борисовны. Тот, кого она ждала, перемещался медленно, тихо и даже раздража-

юще тактично. Дверь вступала с ним в неожиданный сговор и плавно, с нежным щелчком прикрывалась. Ступеньки старой деревянной лестницы убаюкивающе постукивали, эхо тяжелых и одновременно невесомых шагов заполняло обветшалое пространство подъезда, и вот звук утихал до того момента, как разливались ярким звоном ключи и начинала скрипеть замочная скважина. Ее сосед, начальник пожарной охраны на пенсии Виктор Петрович, возвращался домой с прогулки. Больше всего на свете Раиса Борисовна хотела бы, чтобы его путь в тридцать пять ступенек заканчивался дверью правее — то есть в ее квартире. Но на все намеки и женскую доверительную помощь Раисы Борисовны он отвечал мягко, уклончиво и однообразно, давая понять, что пес — огромный, черный, с дурацким именем Тибет — занимает его много больше общения с людьми. Шаги четырехлапой мохнатой твари и ее тяжелое веселое дыхание в ежедневном карауле подъездных звуков Раиса Борисовна старалась не замечать.

Впрочем, контакт с нелюдимым собаколюбом все же удалось наладить. Несколько раз Виктор Петрович все же зашел к Раисе Борисовне: один раз — починить кран, другой — прибить полочку, и каждый раз каким-то чудом ей удавалось оставить его на чай («Вот, угощайтесь, Виктор Петрович, еще печеньем, это песочное, свежее, вчера купила, давайте я вам чаю налью еще, посидите еще со мной, расскажите про тот пожар, помните, про вас писали в газете — трех человек спасли…»).

Собака пропала — и забрезжила надежда.

Раиса Борисовна, помешивая в кастрюле макароны, стала перебирать в уме события прошедшего дня: мелькали тяжелые стопки писем, чай вприкуску с пряником в перерыве и мельком, с потаенным торжеством, спор с очередной посетительницей, которая пришла без нужного документа да еще что-то пыталась доказать. Раиса Борисовна была убеждена, что большинство посетителей почты непроходимо глупы и не удосуживаются изучить банальных правил. Поэтому свое раздражение на жизнь она с уверенной щедростью выливала на бесконечную вереницу гостей покосившегося почтового домика. Наметанным глазом Раиса Борисовна определила, что дамочка нежна, интеллигентна и не привыкла к крикам и спорам, а такие ей не нравились больше всего, поэтому позволила себе тон не только строгий, но и даже повелительный. В конце концов, это она, Раиса Борисовна, решает здесь, кому, что и как выдавать. Спор завершить толком не удалось, потому что дамочка вдруг оглянулась, поискала кого-то глазами и убежала, так и не получив посылку.

Внизу раздался гулкий стук и тихие шаги — Раиса Борисовна безошибочно услышала в них родное и долгожданное. Она устремилась в коридор, чтобы выйти на лестничную площадку и пригласить в гости поужинать — а там, за разговорами, начать постепенно вытеснять в его сердце собаку и воспоминания о ней. Шаги были уже близко, и вдруг раздалось отчетливое: «Р-ряв!»

— Тибет, не пугай соседей. Вот мы и дома, да, мой дорогой.

Сергей ШКУРО

ИЗ ДЕТСТВА

В октябре

В доме и босо, и маечно —
Летняя все еще блажь.
В комнатах — солнечно-заячный
Воздух дрожит, как мираж.

Сочная синь заоконная
Все еще дышит теплом.
Легкая дверца балконная —
Настежь и ночью и днем.

Утром, спросонья взъерошенный,
Глянешь в окно на бегу —
Так и замрешь огорошенный —
Мир
по колено
в снегу!

Из детства

Самолет жужжит мотором,
Как веселый майский жук.
Над безоблачным простором
Самолетный реет звук.

Над притихшим в воскресенье
Подмосковным городком,
Над зеленым, над весенним,
Над родным моим мирком.

И над дремлющим продмагом,
Где, хвативший через край,
Помутневшим красным флагом
Догорает Первомай.

Вячеслав БОЯРСКИЙ

ПРЕДУТРЕННИЙ СКВОЗНЯК

* * *

Когда человек привыкает
К сотворению мира,
К ночному снегу
И хлебу дневному,
К воде, утоляющей жажду,
Холодной,
Прозрачной, как время,
Ко взгляду младенца,
Объятьям жены пред уходом, —

Не чует он запах беды
За порогом,
Теряется голос, которым
Он мог разговаривать с Богом.

* * *

Е. Ш.

Твои губы — нежнее скрипичной струны,
В темноте они вкусом полынным полны,

Но скрипичные слезы я слушать боюсь:
Словно солнце в пустыне — в них вечная грусть,

Словно плачет земля под сожженной травой,
Словно камень кивает степной головой…

И из горных ущелий, где вьется река,
Поднимается холод к губам рыбака.

* * *

Да, кто-то умирает на войне,
А кто-то — на расправленной постели.
Потом встает и ходит в стороне,
Как будто бы совсем на самом деле.

И то сказать: как жить опять начать
Тому, кто научился умирать?

* * *

...Отец приснился мне
Особенно красивым, аккуратным,
С иголочки одетым; говорили
Мы с ним о домике в деревне, он кивал
И слушал так внимательно-печально,
Так пристально он слушал, молчаливо,
Что вспыхнуло: осталась пара дней
Ему прожить, а дальше — пустота,
Невидимый водителю прохожий,
Визг тормозов, машина под откосом,
Больница, экспертиза, неподвижность,
Последняя рубаха, запах глины...
Я понимал, что можно изменить
Неумолимый ход простых событий,
И должен я предупредить отца
Намеком тонким... Если мне удастся
Дать знать ему, заставить поберечься,
Не ехать к другу лучшему на праздник,
В компанию студенческих времен!..
Но прямо я не должен говорить,
И правило настолько очевидно,
Что даже речи нет его нарушить.
Я намекаю, навожу на мысль,
Пытаюсь вызвать интерес к другому,
Но тщетно все... Спокоен и красив,
Он смотрит на осенние деревья.
Смотрю и я. Молчим перед дорогой.

* * *

Над домами — топленое марево,
Тополя беспокойно мерцают…
Дымом пахнет весной в Легостаево.
Эти дни, только встав, засыпают.

Снег все ниже, а лед все тоньше,
Удивлением воздух пропитан…
«Тише, тише, не надо громче», —
Кто-то шепчет устало-сердито…

Кашель

Болел ребенок: глухо кашлял вечер
Весь напролет, а ночью стало хуже:
Почти без остановки кашлял он.
И эти звуки по ночной квартире
Кругами расходились в тишине.
Был за окном фонарь, и падал снег
Без спешки, но уверенно и плотно,
Нигде ни человека, ни машины,
Морозец легкий спорил с темнотой —
И только кашель — дробный стук болезни,
Настойчивый звонок заимодавца —
Усталый кашель, сбивчивый, упорный,
Как кислота, по капле падал в ночь.

Я засыпал, но и во сне моем
Болели люди, кто-то торопился,
Другие строились — и все не удавалось
Разбитое моим отцовским страхом
Фарфоровое чудо сновиденья.

И только на рассвете кашель стих.
Истерзанная дочь заснула крепко,
А я от тишины совсем проснулся
И ухом все пытался уловить
Привычные болезненные звуки.

* * *

Голос матери приходит во сне.
Просыпаешься. Стакан воды.
Пьешь. Смотришь из окна вне.
Декабрь. Небо. Две далеких звезды.

Одиноко? Больно? Не то.
Просто не хватает воды.
Так и проходила в пальто
Старом — до последней звезды.

* * *

Нелепица, метанье, толкотня,
Кряхтенье, бормотанье и обида —
Все унесет предутренний сквозняк,
Который видывал и не такие виды.

И в комнате пустой, на холодке
Останутся графин воды прозрачной,
Портрет сановника, увы, довольно мрачный,
Два яблока, кузнечик на цветке.

Всеволод ИВАНОВ

ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Роман*

Глава шестнадцатая

Тишь стояла так долго, что, казалось, она распространилась на всю землю. Шлепающие шаги прохожих по мягкому, словно хлебный мякиш, асфальту доносились сюда, в библиотеку, словно из звукоусилителя. Слышно было не только то, о чем говорили встречные, но даже и то, как ложились ладонь к ладони их руки. Девушки, возвращающиеся с окопных работ у реки, восклицали так молодо и так сильно, что голоса их казались подслащенными и неестественными.

Но затем подул ветер и, словно исполняя чье-то поручение, снял всю тишину. Проспект наполнился гремящими, стонущими, звякающими и ревущими звуками. Ветер будто объединил их и понес возбужденной и стремительной массой.

Пришлось закрыть окна.

Владислав Силигура вернулся к столу. Гудящий и жужжащий город остался за двойными стеклами, — вплоть до воздушной тревоги. Но немедленно же в сердце зашумел огромный город его чувств. Он вспомнил семью, троих детей, бабушек, двух дядей… Все это теперь пробиваясь сквозь жару и ветер, едет к далекому Узбекистану, в глубь нашей страны. У каждого свои заботы, тревоги — и все они, вместе, помещаются вот здесь, в сердце Силигуры, библиотекаря. Он рассматривал каждого из них в отдельности, и каждый из них встречал у него хороший прием…

Глядя на закапанную голубую чернильницу с широким, как блюдечко, дном, он думал: отправить им вдогонку все семь томов, которые он написал о жизни СХМ, или не отправлять? И он опять повторил то же самое, что сотни раз в последние дни повторял самому себе: «Значит, те сто тысяч томов, которые стоят вокруг тебя и которые эвакуируют в последнюю очередь, ты считаешь менее ценными, чем твои семь?» И он ответил самому себе тем же, чем отвечал раньше: «Недостойно! Родные увидят трудности там, где их нет. Пусть тома лежат вместе с остальными ста тысячами».

---

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 7, № 8.

Он развернул восьмой, — самый яркий том истории, — и стал из него переписывать в письмо, которое отправлял вдогонку своим родным. Но, переписав несколько строк, он решил их зачеркнуть с тем, чтобы ими закончить письмо; вначале же решил изложить свои личные переживания, с которыми, кстати сказать, редко соглашалась его жена.

«…Это ваше мнение, а не мое…» — писал он, предвидя все ее возражения. Из уважения к его знаниям, из любви к его высоким чувствам, жена часто преувеличивала его достоинства, и теперь, когда смерть могла посетить его каждую минуту, он признавал особенно вредными эти преувеличения.

Смерть? Он держал перо в руке на весу, переводя взор с чернильницы на лампу, завешенную плотной бумагой. Глаза у него маленькие, пожалуй, их можно было б назвать крохами глаз. И тем не менее, он совершенно отчетливо видел смерть — эту «иностранку» с ее историей, которая всем отвратительна и омерзительна. Она буравит и сверлит сознание, спиралью страха скручивает сердце, — и как же велик тот человек, который может победить ее и презреть во имя родины и счастья человечества? Он глядел на нее тусклыми и крохотными глазками и шептал: «Презираю!»

И это не было ни притворством, ни упоением запахом славы, мокрые ветви которой, как распустившаяся черемуха, били его по лицу. Нет! Силигура не преувеличивал своего значения. Поэтому-то он, желая, чтоб его родные приняли возможную его смерть с достоинством, писал им, даже слегка унижая себя:

«Зайцы тоже имеют острые зубы. Но это только травоядные животные, хотя, с моей точки зрения, и смелые. Однако, мне хотелось бы, чтоб ты меня считала зайцем, а не пантерой. Заяц защищает своих детей. А у меня их двойное количество: вы, семья и еще гигантская семья моих книг, тоже требующих защиты. Вот почему, я стараюсь, насколько могу, быть и смелее, и крепче…»

Жара сгущалась исподволь. Силигуру, таким образом, жарило как бы на медленном огне. Он снял с плеч неизменный плащ и расстегнул ворот, обнаживший тощую веснушчатую шею. Надо спешить. Ему еще предстояло отобрать книги для выставки об Отечественной войне 1812 года. Помощников у него осталось мало. Библиотекари, — они, преимущественно, страдают мигренью, — оказались у него все на диво сложенными мужчинами: до одного их забрали в армию! Женщины-помощницы частью эвакуировались, частью ушли в цех. Словом, Силигуре приходилось теперь работать за пятерых, и он налетал на полки как коршун на цыплят.

Сегодня он встретил на Проспекте крестьянскую девушку Мотю. Он однажды уже упомянул ее имя в своей «истории». Теперь он считал своим долгом следить за ее душевным состоянием. Тоска в ее глазах не нравилась ему. Он остановил ее. Она его знала. Она заговорила с ним робко. И предки ее и прапрапредки считали книжников колдунами и знахарями. Что-то осталось в ней от этого суеверия. К тому же и странный

вид Владислава Силигуры заставлял думать, что он знает много таинственного. Он предложил ей поступить в библиотеку.

— В библиотеку? — повторила она с таким почтением, что Силигура умилился. И она обещала прийти в восемь вечера, как назначал библиотекарь.

Стрелка приближалась к восьми. Библиотекарь писал торопливо. Но внезапно он положил перо. Ему вспомнились мемуары. Чем больше человек воображает о себе, тем длиннее тома его воспоминаний. А что такое письмо, как не воспоминание о вчерашнем и сегодняшнем дне? Следовательно, чем больше ты пишешь о себе, тем сильнее выдаешь свое тщеславие и рисовку. И, улыбнувшись, он написал:

«Таково, насколько хватает глаз, обозрение моей личности. Перехожу к тому, что творится на заводе». — И он стал переписывать из «Восьмого тома». — «На СХМ нарастают крупные события. Ходят слухи, что… — Он подумал о военной цензуре, но затем махнул рукой: какая там цензура может быть в истории? В истории один цензор — истина. И он продолжал: — Ходят слухи, что немцы приближаются к той стороне реки и находятся едва ли в сотне километров. Дорожные люди передают, что полковник фон Паупель, командир танковых войск, располагает едва ли не тысячей танков. Этот факт, конечно, привлекает к себе внимание, и поэтому начальником оборонных отрядов СХМ назначен известный вам стахановец, прозванный "полковником" Матвей Потапович Кавалев. С моей точки зрения, хотя он и личность популярная, шаг — рискованный. Встреченный мною сегодня Матвей на вопрос, один ли он командует, — ответил, что он больше инструктор, чем командир, командует отрядами майор артиллерии Выпрямцев. Я расспрашивал об этом майоре. По всей видимости, знающий человек. Но, конечно, нашим рабочим мало знающего человека, им необходим человек со взлетом, голос которого был бы как удары колокола, следующие один за другим. Все эти данные, как будто, у Матвея есть, но в то же время есть у него… как бы сказать, некоторые поступки, которые кажутся иногда стремлением плясать на канате, словом, человек с причудами…»

К столу своим твердым и звонким шагом подходила Мотя.

«Отныне события буду записывать, — торопливо водил пером Силигура, забыв о том, что недавно упрекал другого в причудливости в "Восьмом томе" своей истории, — нерегулярно, так как я сам записался в отряды обороны завода, в отряды самозащиты. Конечно, если б кому из библиотечного архива удалось бы осуществить продолжение моих записей, я был бы весьма признателен…»

Он зачеркнул слова «я был бы» и вставил вместо того «история была б». Он поднял глаза на Мотю. Желание, чтоб она писала продолжение его «истории» светилось в них. Кроме того, она близка к семье Кавалей, а Матвей сейчас, именно волею истории, принял приглашение и дал торжественное обещание участвовать в ближайших ее замыслах.

— Обязанности ваши, Мотя, — начал было Силигура.

Мотя прервала его:

— А у меня от книг голова кругом, Владислав Николаич!

— Люди привыкают к пропастям, сулящим смерть, а к пропасти мудрости куда легче привыкнуть.

— А мне бы в другое место…

И она посмотрела на Силигуру такими молящими глазами, что он смутился. Ему захотелось помочь ей, и он опасался, что не сможет. Он проговорил как мог суше, чтобы тем легче было ей перенести его неуменье помочь:

— Какое ж другое место почетнее?

— Мне не почетнее, а полегче.

— Книга не тяжесть.

— Книга не тяжесть, а у меня на буквах глаза запинаются.

— Куда же вы желаете?

— На радио, — быстро сказала она, густо покраснев.

Силигура ожидал, что она попросится в Заводоуправление, в какой-нибудь сложный цех или на какую-нибудь мужскую работу… но никак не на радио.

— Почему на радио?

— Да голос у меня… говорить я люблю… читать я умею. Я у нас на селе десятилетку кончила, хотела в институт, а — война…

— Сейчас даже легче поступить в институт. Вы в какой собирались?

— Да не хочу я в институт! — воскликнула она, сводя и без того сросшиеся брови, так что они образовали теперь над ее глазами сплошной черный свод. — Я хочу на радио! Я у нас в селе выступала в радиоузле, читала…

И она засмеялась:

— А раз даже пела!

Силигура, слушая этот развевающийся, как флаг, смех, искренне пожелал ей счастья. Ну что ж, если она считает действительно способной себя к работе на радиоузле завода, почему не попытаться устроить ее? Ему хотелось узнать причины, по которым она стремится на радио, но, в конце концов, разве он их не узнает? Человек, отдавшийся истине, всегда узнает истину.

Матвей столкнулся с Мотей у подъезда, когда она возвращалась от библиотекаря, а он с военного ученья. В ста шагах от него на Проспекте еще темнела толпа рабочих, из которой он недавно вышел. В ушах отдавались слова команды, звякали падавшие на асфальт связки гранат, мерещились модели танков. Ученье не было совсем таким легким, каким воображали его многие, да и, пожалуй, Матвей в их числе. К тому же и учителя и ученики нервничали. Обходя отряд, маршировавший на площадях, на стадионе и на заводском дворе, Матвей как бы собирал в

себя всю эту нервность. Он желал противостоять ей и знал, что проявить себя в этом можно только в бою. Следовательно, он должен бы желать боя? Желать его на территории завода? Ни за что! Вот почему нервность рабочих казалась ему и близкой и понятной, и довольно трудно уничтожимой.

Когда он, окончив работу, пошел по отрядам, его догнала Полина.

— Вы домой? — спросила она.

— Из отрядов, зайду домой.

— Я вас попрошу, Матвей Потапович, скажите, чтоб не беспокоились. Я, наверное, вернусь попозже. — И она сказала с неудовольствием: — Меня вызвали в штаб.

Матвей понимал ее неудовольствие и испытываемую неловкость — разве она должна давать отчет, куда направляется? Она теперь и в квалификации и в уважении! Вся остальная надежда только на себя.

— В какой штаб? — спросил он, не желая спрашивать.

— В штаб командования участком фронта, — ответила она. — Вот повестка.

— Ладно, — сказал он, мельком взглянув на повестку.

И он отошел. Этот разговор быстро исчез из его памяти, пока он ходил по отрядам. Но, сейчас, увидев Мотю, он вспомнил его. Почему в штаб? Зачем? К кому? Может быть, какая-нибудь прежняя любовь? Но почему же тогда повестка за подписью начальника 8-го отдела? И что это за отдел? Матвей пытался вспомнить сейчас, — чем занимается этот отдел, — и не мог. На мгновение шум автомобилей и мотоциклетов прекратился, рабочие разошлись и Проспект опустел. Тогда от моста послышался смех лесорубов, восклицания… очевидно, валили какое-то большое дерево. Так и есть! Послышался треск ломающихся сучьев.

Матвей строго поглядел на Мотю и сказал:

— Ты вот что, Мотя! Ты брось обижать Полину! Ты с ней помирись. Ты об ней зря думаешь, что я с ней путаюсь. Я если и путаюсь, так в военных делах. А голову мне надо держать трезвой.

Мотя от радости улыбнулась и даже закрыла глаза. Исчезнувший блеск глаз и неподвижная неистовость ее лица были ему очень неприятны.

Мотя, ожидавшая, что он возьмет ее за руку и не почувствовав его пожатья, открыла глаза и сказала:

— А ты держи голову сколько хочешь прямо. Я тебе голову не закружу. И Полину я буду видеть мало. Я теперь на радио поступаю! Хочешь, чтобы я здесь осталась, ну я и останусь!

— Ну, какой тебе сосед радио? — сказал Матвей с неудовольствием.

— Такой близкий, что ты и не понимаешь, — ответила Мотя, едва ли зная сама, какую она сейчас высказала истину и о себе, и о Матвее, и о Полине, которая в эти минуты пересекала улицу Кирова, чтобы войти в будку пропусков и затем в штаб командования участком фронта.

Глава семнадцатая

Сирены проревели отбой. Матвей сложил пожарную кишку; поверх ее, несколько наискось, водрузил длинный латуневый брандспойт и вышел из чердака на лестницу. Хлопали двери квартир. На улице слышались возбужденные голоса возвращающихся из бомбоубежищ.

Часы показывали десять вечера.

— Вовремя отбили, — сказал, смеясь, отец. — Авось, даст выспаться. Как бы чайку устроить, мать? Выпьем, Матвей!

Матвей присел к столу, молча выпил три стакана, стараясь изо всех сил придумать такое, о чем бы могла говорить и семья, и все живущие в квартире. Но люди, от усталости и духоты в бомбоубежище, не испытывали надобности в обмене мыслями. Кто-то рассказал, что в школу, квартала через четыре от них, попала бомба… детей, к счастью, в школе не было… Разговор затих.

Матвей развернул книгу по математике. Не понимая не только ее смысла, но даже и надобности в ней, он просидел над нею полчаса… час… Полина не приходила. Он взял фуражку.

— Если кто по телефону… — сказал он, — я буду у Лариона Осипыча.

Последние дни он часто посещал Рамаданова. Сначала он приходил к нему под предлогом совета: какую почитать книгу или «протолкнуть» чье-нибудь рационализаторское предложение, которое, по мнению Матвея, неизбежно должно было застрять в канцелярии. Но затем он привык приходить без повода, а просто наполненный желанием видеть и слышать «старика». Если он не заставал Рамаданова, он садился на ковровый диван, брал один из художественных альбомов, которые так любил «старик», и раскрыв его, долго сидел с ним, и видя репродукцию и не видя ее. Иногда перед ним вставал молодой человек с русыми волосами, как пишется «на ¾ вправо, смотря на зрителя». Это был портрет работы Якопо Пальма Старшего. На молодом человеке — белая сорочка, черный камзол и черная шуба, подбитая серым мехом. Правую руку в перчатке он держит на столе… «Откуда он? — думал Матвей. — Кто он был такой? Чем он мучился и чему веселился и думал ли он о том, для чего он живет? Какие у него были друзья? С кем он встречался? Кого любил?»

Входил Рамаданов, потирая поясницу и семеня ногами в мягких кавказских сапогах. Он здоровался кивком головы и, судя по тому, что он угощал кофе «своей варки» только особенно приятных ему гостей, вид Матвея доставлял ему удовольствие. Он приносил кофейницу, сам молол кофе, склонив голову набок и время от времени нюхая размолотую массу, похожую на мокрый песок. Затем он поднимал тонкую фарфоровую чашку с пурпуровым ободком, под которым мутно темнела густая влага, и говорил:

— Война закрывает пути. Когда-то провезут к нам новые партии сей аравийской снеди? Поэтому, пейте много его, дружище! Память удерживает только множество, и в особенности это относится к пище и питью.

Он закидывал нога на ногу, показывая голенища сапог, и, щурясь, отхлебывал крошечные глотки. Кофе напоминало ему Йемен, Сирию, камни, высохшие источники, холмы крупного песка и щебня. Затем, словно на волшебном ковре, он переносился через Средиземное море — и пред ним вставала Греция! Будто сказочные испарения, из-за вершин аметистовых волн виднелись острова Архипелага, то поднимаясь, то опускаясь как волны воспоминаний; они проплывали перед ним как волны молодости, в которой, некогда, он посетил эти острова…

Эти острова все время просвечивали сквозь ту беседу, которую он заводил и слушать которую доставляло Матвею наслаждение удивительное. Красота и вечность этих островов, их мифы, добавляли особую нежность к тому ужасу восторга, который охватывал Матвея обычно к концу беседы.

После особенно длинной фразы, старик, как правило, прокашливался и выпивал глоток кофе. И тогда Матвей видел перед собой Платона, очень пожилого, длиннолицего, загорелого, в сандалиях из потрескавшейся кожи. Он сидел на камне в саду Академии, в предместьях Афин. За невысокой каменной оградой слышались голоса погонщиков, которые вели тяжело нагруженных ослов на базар; крики ругающихся торговцев или визгливые сплетни парикмахеров, или часто срывающаяся песня пьяницы. Платон, ожидая, когда наступит приблизительная тишина, подносил ко рту длинный кувшин с холодной водой, только что принесенный одним из его учеников. Затем, он брал рукопись с колен и оглашал какой-нибудь отрывок из «Политейя». И сердца учеников и сердца приехавших издалека путешественников — искателей истины содрогались от счастья! «Справедливость, здравствуй!» — говорили их восхищенные взоры, которыми они обменивались. И они как бы видели перед собой «золотой век на земле», который лился в строках Платона; и воображение их наполнялось желанием рассказать об этом веке своим соотечественникам. И они спешили и в Египет, и на таинственный Кавказ, где, говорят, жили орлы величиною с мула, и на Оксус, где всадники срослись с туловищем коней, и вдоль берегов Африки, острых и высоких, где в каждой расселине гнездились змеи и львы…

…Рамаданов ставил чашку на стол и поднимал высоко кофейник с длинным изогнутым носиком, в конце которого постоянно блестела капля кофе. Ложечка позвякивала о блюдечко.

— А вам, Матвей? — спрашивал Рамаданов, — добавить?

И Матвей протягивал свой стакан, из которого он не отпил и глотка. Рамаданову, видимо, нравился такой слушатель, и он начинал говорить с еще более горящими глазами…

...Перед ними вставали города Малой Азии в те времена, которые мы сейчас называем первыми веками христианства. Под неутомимым солнцем, по белым и раскаленным дорогам шли проповедники равенства и справедливости. Они останавливались у входа в города, в предместьях, где-нибудь на полузасохшем винограднике, и проповедовали против богатых, мечтая о равномерном распределении благ земли, которых и без того-то не так уж много. Гремели речи Варнавы из Кипра и Климента Александрийского. Они поднимали руки, благословляя труд рабов, и впервые здесь, среди оборванных и истощенных людей со шрамами от ударов плетей и палок, прозвенели слова: «не трудящийся да не ест!» Карпократ, ученый гностик из Александрии, высокий и мощный мужчина в зеленом плаще, взбирался на возвышение и проповедовал оттуда общность имущества и идеи равенства. Всадники в шлемах, на длинноногих лошадях, с цветками роз, заткнутыми за уши, смеясь, проносились мимо, на игры. Рабы мрачно смотрели им вслед, и этот взгляд, казалось, проникал сквозь тысячелетия, чтобы вот так же пылать ненавистью к притеснителям и богатым, как он пылает сейчас, устремленный на запад с Проспекта Ильича.

Так как рядом еще существовало греческое искусство, то в голосах проповедников можно было уловить нотки могучего смеха Аристофана, и отцы церкви цитировали Аристотеля и Софокла. Эти времена, по сравнению со средними веками, казались влажным горным лугом перед сухим осенним предгорьем. Но стоило вглядеться и тогда становилось ясным, что и средние века наполнены мечтами о справедливости, что человеческую мысль нельзя задавить и она переливается из века в век, как переливается вино из одного сосуда в другой, чтобы попасть на пир к избранным.

Они видели перед собой готические церкви, похожие на темные щели в голубом и вечном небе. Перед церквями горели костры и смрадный дым высоким облаком, как бы напоминая о свободе, поднимался к небу. Это сжигали еретиков: донатистов, циркумцеллионов, аскетов, вступающих всюду в борьбу с неправдой в защиту обиженных и угнетенных; всех тех, которых называли «катарами», то есть чистыми; богомилов в Болгарии; апостольских братьев, ткачей-гумилиастов в Ломбардии; вальденсов, лионских бедняков, альбигонийцев во Франции; лоллардов в Англии. Разжиревшие попы и рыцари шли на них крестовыми походами. Еретиков убивали, топили и вешали столько, что не хватало деревьев у дорог и приходилось вкапывать большие столбы.

Вот крестовый поход направляется в горы тенистой Чехии. Здесь недовольный народ поднялся против богачей, заодно убивая и немцев, которые хотят уничтожить чешский язык и чешскую веру. Полки гуситов бесстрашно двигаются навстречу крестоносцам! Гуситы, чешские мужики, одеты в рваные одежды, копья их с короткими наконечниками, так как не хватает железа, а мечи, зачастую, представляют просто короткие ку-

ски грубой стали, вправленные в обломок дерева. Мужиков не ведут Ян Жижка, Прокоп, Мартин Гуска. Золоченые немецкие рыцари, бахвалясь богатым богом и выносливыми конями и женами, ожидающими победы, приближаются к гуситам. Что произошло? Почему рыцари валяются в придорожных канавах? Почему на рыцарских конях сидят гуситы? Почему плачут кони рыцарей? Почему полки гуситов, распевая победные псалмы, идут по Австрии, Бранденбургу, Силезии, Баварии? И почему горят рыцарские замки и немецкий король не прочь заключить мир с гуситами? Откуда возвращаются чехи, отягощенные добычей и славой настолько, что кажется, будто они взяли ее за все века, за всех погибших еретиков? Почему, всей Европе, а, может быть, и всему миру, известен небольшой по величине, но великий по славе, чешский город Табор?

Потому что нельзя потушить пылающие в веках идеи равенства и справедливости!

…И еще они сидят в тесной комнате Томаса Мора и читают вместе с ним «Утопию»: евангелье мечтателей, меч революционеров.

Эта книга, как головной полк. Она ведет за собой «Новую Атлантиду» Бэкона, «Заступника бедняка» Петра Чемберлена и множество других книг о справедливости, то горячих, то холодно-расчетливых, то крупных, то тонких, но наполненных одной мыслью, одним стремлением: правда и торжество ее! Пламя справедливости горит не только в одной Англии. Им наполняется Италия.

…И думается им, что при свете догорающей свечи и при отблесках поднимающегося из-за итальянских гор рассвета, сидят на скамье рядом два человека, беседовавших всю ночь. Это — Томазо Кампанелло и русский странник и турецкий раб, бежавший в Италию, Болотников. Томазо читает ему «Город солнца», и Болотников видит Москву, деревянную, с серыми улицами, напоминающими рвы, бородатых людей, жалкие рубища и пышных бояр в собольих шапках. И, Болотников сжимает яростно кулаки, и клянется, именно, в Московии, в лесной стране, куда трудно добраться крестоносцам, основать сей Град Солнца, дабы он, как солнце, осветил справедливостью своей весь мир!

…И видится им сражение под Тулой, когда войска царя Василия Шуйского осаждали рать Болотникова и много дней бились с нею. И вот подошел последний час битвы, как он подходит всегда и всюду. Пали мечтатели, желающие построить Град Солнца. Наемные татарские сабли и шведские стрелы пронзили их сердца. Тесными рядами, сжимая мечи и глядя в небо мертвыми очами, без упрека и жалобы, а с верою, лежат они вокруг кургана, где бьются последние остатки бессмертной рати Болотникова, русской рати справедливости и равенства! Меньше и меньше людей. Ближе и ближе наймиты — татары и шведы. Вот уже осталось их только пять человек, да еще около них бочка с порохом, наполовину пустая. Надежды на спасение нет. Кто там, не царь ли Васька, рыжий, подслеповатый предатель и обманщик, кричит им, призывая к сдаче? Нет!

Пять бородатых мечтателей и бойцов переглянулись. Сдаться? Никогда! Они посмотрели на бочку, вложили мечи в ножны и, не глядя на подбегающих татар, достали огнива и выбили искру в трут. Один из них закурил трубку с еретическим зельем-табаком — и все они, разом, бросили искры в пороховую бочку и все они, разом, взлетели на воздух! Никогда не сдастся и не будет побеждена справедливость и равенство! Слава!.. Слава!

— Ну что ж, покурим? — спрашивал Рамаданов, прерывая рассказ и доставая из стола коробку с табаком: здоровье не позволяло ему много курить, и он прятал сей древний соблазн.

Они закуривали.

За окнами шумел и гремел Проспект Ильича. Передвигались в темноте войска. За ними везли снаряды и продовольствие, погрохатывали кухни, издавая запах борща и каши. У реки скрипели экскаваторы. Металлические надолбы из распиленных рельс звенели перед тем как погрузиться в бетон. Завод наполнял железнодорожные платформы противотанковыми орудиями с длинными дулами, окрашенными вперемежку зелеными и синими пятнами. Орудия, новенькие, ловкие, скорострельные, всем своим видом говорили, что они, вместе с людьми, выполнят принятые на себя обязательства по защите справедливости, равенства и братства, что завещано всему честному от века.

Глава восемнадцатая

Генерал Горбыч, несмотря на свою грузность, вошел такой легкой и стремительной походкой, что Полине, на мгновение, показалось, будто генерал способен улетучиться мгновенно, как во сне испаряется приятное вам видение. Возможно, что Полина подумала так от волнения, а, возможно, что шныряющие по коридорам штаба молодые, сильные и уверенные командиры создавали вокруг старого и умного генерала атмосферу стремительного, с развевающимися победными знаменами, постоянства.

Она пришла к пропускной будке без пяти девять. Несмотря на то, что возле узкого, как боковой карман в платье, окошечка, стояла длинная очередь, все получали пропуска минуты через две-три. Уже это, казалось бы, маловажное обстоятельство, указывало, что люди здесь приучены к точности и исполнительности, первому закону войны, после смелости. Вдоль стен коридора штаба находились диваны. Ожидающие решений или явившиеся несколько рано, сидели здесь. Некоторые из них спали. Лица их казались померкнувшими от усталости, но это была пленительная усталость боя.

Цеха прельщали Полину, но куда прельстительней были ей комнаты и коридоры штаба, где дело шло как полная повозка, уложенная многоопытным возчиком, ничто-то здесь не упадет, ничто-то здесь не звякнет, все предвидено, все известно — большую тяжесть можно увезти на такой

повозке, и увезти далеко-далеко! Словом, выражаясь языком современным, все действовало здесь с максимальной крейсерской скоростью.

— Обычно делается как? — сказал генерал, держа в руках анкету Полины, видимо, затребованную для Заводоуправления. — Обычно, как правило, если у нас нехватка в людях для подобной ответственной работы, мы просим партийные организации, в первую очередь…

Полина сидела подле стола, покрытого сукном, который примыкал к письменному столу генерала, образуя, таким образом, нечто вроде большой буквы «т». В графине с водой отражалась пепельница оранжевого уральского камня с искорками, чернильный прибор с медными медведями, вставшими на дыбы и до блеска песком вычищенными услужливой уборщицей, и за ними кряжистые руки почтенного генерала, который был выстроен прочно, добротно, так что даже сукно на его гимнастерке казалось дубленой на диво кожей.

Пока он смотрел на анкету, Полина думала: «Зачем меня из восьмого отдела послали сюда? Чтобы отказать?» Это маловероятно, потому что не такое сейчас время, чтобы генерал брал на себя всевежливейшие миссии. К тому же, он, видимо, торопился. Полина ждала с нетерпением дальнейшего.

— …но, в данном случае, — продолжал генерал, — у нас есть возможность, товарищ Смирнова, видимо, не беспокоить партийную и иную организацию? Да?

— Вы говорите обо мне?

— [В рукописи пробел.]* Я говорю о вас, — сказал генерал, превосходным немецким языком. — [В рукописи пробел.] Вас, наверное, удивит, что мы, видя вас впервые, хотим дать вам высокоответственное поручение?

— [В рукописи пробел.] Постараюсь оправдать ваше доверие, — ответила также по-немецки Полина.

— [В рукописи пробел.] Вы учились в Баварии? — спросил генерал.

— [В рукописи пробел.] Да.

Генерал опять взял анкету и прочел вслух, что Полина Смирнова знает в совершенстве немецкий и английский, читает…

— Почему же вы, товарищ Смирнова, зная столько языков, поступили простой работницей на завод?

Полина покраснела. Ей не хотелось лгать, а говорить правду ей было немножко стыдно: могло показаться, что она легкомысленна, и тогда ей не дадут ответственного поручения.

— Мне не хотелось покидать родной город, а, будучи актрисой, я боялась, что не принесу большой пользы.

— Или, вернее, вы побоялись секретаря Обкома? — спросил, громко смеясь, генерал.

---

* Здесь и ниже в диалоге пробелы. Очевидно, Вс. Иванов предполагал дополнить текст фразами на немецком языке.

Полина не поразилась неожиданности смеха. Ей самой хотелось рассмеяться, покажись бы ей, что этот строгий длинный кабинет уместен как обиталище смеха.

— Вы меня не помните?

Полина подумала, что он намекает на свое посещение какого-нибудь концерта ее.

— Нет! Я не смотрю в публику.

— Я тогда еще не был вашей публикой. Я был «дядькой», у которого вы, иногда, качались на коленях.

Полину охватило такое чувство, когда дорога внезапно обрывается и вам нужно спускаться вниз по крутому скату. Она не верила ни своим воспоминаниям, ни своим глазам. А, между тем, она видела за темным, загорелым лицом генерала и за его тремя золотыми звездами безусое, решительное лицо и стройную фигуру, соскакивавшую с коня, веселые приветствия отца, их воспоминания о конармии, для которой отец когда-то выделывал патроны в полукустарной мастерской. Вспомнила она и диван «[В рукописи пробел.]», простеганного рыжего бархата, невесть как к ним попавший. На диване сидит ее отец и этот стройный военный в кавказской рубашке с множеством пуговиц. Громовым голосом он читает стихи Шевченко, Блока, Маяковского... Видение? Это же друг ее отца, «мушка у нашего ружья», как шутя зовет его отец! Затем его провожают. Куда? Кажется, на Дальний Восток или...

— Куда мы вас провожали? — спросила Полина. — Ну да, на Дальний Восток!..

— Конечно! — воскликнул громовым голосом генерал. — Конечно же, на восток!

Он уселся в кресло, откинулся назад и глядел на нее сияющими и довольными глазами:

— Как только я попадал в Москву, я шел на ваш концерт!

— Тогда это просто свинство, что вы не пришли ко мне!

— Конечно, свинство. Но я старик, актеры насмешливы, вдруг думаю, исчезну у вас как видение прошлого и стану пошлым и сюсюкающим...

— Никогда!

Он радостно улыбнулся.

— Тогда жалею, что постеснялся.

Он встал, обошел столы и остановился против нее, всунув широкие руки в карманы.

— Голубушка, а, может быть, вы это зря?

Он указал глазами на анкету.

— Почему зря?

— Смелости, знаю, у вас хватит. Хладнокровия тоже. Вы, вижу, в отца. Да и ребята вас будут сопровождать соответствующие... словом, ваш поход будет обеспечен.

Он присел рядом и, несколько застенчиво глядя ей в глаза, сказал:

— Нам нужен человек, который знал бы баварское наречие. Кроме того, он должен обладать актерской сметкой, мог бы пошутить. Обладал бы хорошим слухом. Вы в танках что-нибудь смыслите?

— Знаю, что есть мелкие и крупные.

— Уже много, — смеясь, сказал генерал. — Но в общем это и не особенно важно. Задача ваша: пройти сквозь танковые колонны и… но, в общем, вас инструктируют. Тут, главное, баварское наречие. Немец сентиментален. Вы в Баварии были ведь?

— Да.

Он встал и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— Очень грустно мне, Полинька, посылать вас в такое дело. Я и по-стариковски спрашиваю вашего отца-покойника: как бы ты одобрил, Андрей? И у меня такое чувство, что в интересах родного города он бы одобрил. Но, с другой стороны, ведь в случае, несчастья, я погублю и талант ваш, и…

Он утер слезы, подошел к ней, поцеловал ее в лоб и, пристально глядя на нее, сказал:

— По-моему, удастся. Психологически: блондинка, нежное лицо, голубые глаза, поет немецкие песни, певица, приехала из Баварии…

Полине все же казалось, что он колеблется. И она сказала:

— Когда нужно выбирать: рисковать ли жизнью одного человека или рисковать жизнью целого города, тут нечего размышлять.

— Вот и я тоже так думаю, а все же, старый дурак, размышляю. Такая привычка, Полинька! Сколько я вас не видел?

И, не ожидая ответа, охваченный своими мыслями, он спросил ее:

— А туалеты у вас заграничные есть? Есть. Вот хорошо! Львовские? Еще лучше. Будут думать, что вы были во Львове и оттуда к ним... Я убежден, что все сойдет благополучно.

Он волновался. Посылать Полину ему очень не хотелось, но не было другого выхода. Разведка сообщила ему, что немцы хотят направить главный удар танками как раз через тот откос, у которого расположены завод СХМ и мост, выходящий на Проспект Ильича. В бой будут двинуты баварские танковые части. Генерал привык относиться очень критически к данным разведки, как бы тщательно она ни производилась. Во всех армиях мира чаще всего врет разведка — и вовсе не из желания врать, а потому что трудно разобраться сейчас в ежеминутно меняющейся обстановке войны с ее постоянно возрастающим стремлением к маскировке. Генералу казалось, что удар танковых частей будет направлен влево, в обход города, где имелось больше маневренных возможностей, а сюда, к Проспекту Ильича, будут двинуты демонстрационные части с целью обмана. Генерал был убежден, что исходные позиции противника будут находиться в других участках, а не против Проспекта Ильича, но некоторые работники штаба, кажется, думали по-другому. Помимо

всего прочего, помимо желания выиграть операцию, генералу хотелось поучить этих слишком самоуверенных командиров. Вот почему он посылал в партизанские отряды, находящиеся в тылу противника, равно как и непосредственно к немцам, несколько новых разведывательных групп и в том числе Полину Вольскую, знаменитую певицу, дочь его друга. Он знал, что ему попадет от секретаря Обкома, когда тот узнает, что он послал Полину, попадет и непосредственно из Москвы… но, он любил этот город! Он родился в нем! Он не хотел отдавать его на разграбление немецкому бандиту!

Он посмотрел на часы.

— Вы отправляетесь в ноль десять, — сказал он.

Глава девятнадцатая

В начале второго ночи, Рамаданов окончил рассказ. В этот вечер они беседовали о разногласиях между Лениным и Плехановым. Матвей не только видел, но и чувствовал тесноту узких комнат гостиниц, где происходили сходки. Ему представлялись возбужденные лица, рассуждающие о социализме так, как будто он наступил уже. Час от часу усиливался и голос Ленина, и его аргументы, и все жизненные условия, которые подтверждали эти аргументы, так же как усиливается и растет ветер, который разгоняет тучи. Споры переносятся на площадь, идет 1917-й, споры оглашают мраморные залы дворцов, которые вот уж никогда не воображали, что здесь будут яростно бороться вера в социализм подошедший и сомнения в нем, словом — большевики с меньшевиками…

Рамаданов встал, потянулся. От обильного курения глаза его несколько опухли и голос охрип. Он проводил до дверей молодого своего друга и пожелал ему спокойной ночи. Матвею нравилось всегда это пожелание. Рамаданов произносил его так удивительно приятно, и с такой, как бы сказать, весенней доброжелательностью, что всегда мерещился Матвею теплый и обильный дождь, листья, развертывающиеся на сирени, и сизые кисти будущих цветов. Он шел по лестнице, повторяя:

— Спокойной ночи! Спокойной ночи!..

А ночь-то оказалась совсем не спокойная! Это он понял, как только вышел на Проспект и вовсе не потому, что ревела сирена тревоги и шли красноармейцы. Сирены как раз не было, красноармейцы не шли, и Проспект, словно завешенный чем-то непроницаемо черным, казался относительно спящим. Его беспокоила Полина. Пришла ли она домой? Что ей сказали в штабе? И какая у нее незаменимая специальность? Не мобилизовали ли ее?

Как раз в это время Полина, держа на коленях чемодан с костюмами и нотами, одетая в крестьянское платье, плыла в дощатке через реку. Неслышно опускались весла. Спутники ее, три сильно пожилых мужчины, напряженно молчали, и Полина чувствовала, что напряжение это вы-

звано ею: им строго-настрого приказано беречь ее как зеницу ока, и «не дай боже…» — сказал генерал, сжимая волосатый кулак.

Она, ясно, волновалась. Да и как же иначе? Но сквозь волнение ей приятно было думать, что аккомпаниаторша не бросила ее, не эвакуировалась, а, оказалось, переехала на квартирку в две низеньких комнатки, таких ветхих, что даже начальная скорость движений аккомпаниаторши, когда она, увидев Полину, радостно вскрикнула и вскочила, — способна была пробить потолок. Полина не сказала ей, куда направляется, однако тревога и несколько немецких песен, которые заставила Полина проаккомпанировать ей, если и не открыли тайну, то все же намекнули на что-то более опасное, чем сумасбродная идея скрыться на заводе от эвакуации.

Лодка вошла в камыши. Какая-то ночная птица с длинными крыльями, от движений которых заколебались метелки камышей, пронеслась мимо. Перевозчик, погружая шест в ил, сказал, что переправа окончена и что остальные девять километров придется идти по болоту.

— Бо тут шныряют нимцы, — добавил он спокойно.

Как раз тогда же, одновременно с этими словами, Матвей, вдевая цепочку в продолговатое отверстие, спрашивал у Моти, которая открыла ему дверь:

— Ну, как дела?

Свет в коридоре горел неестественно ярко, — Мотя читала рукопись для завтрашнего испытания, а потому ввинтила лампочку посильнее, — бумажки, какие-то щепочки, должно быть, принесенные на подметках с чердака, когда была тревога, обрывки тряпок — весь этот дневной сор был особенно не нужен и даже омерзителен сейчас.

У Моти торжественное лицо, так мало подходящее к ночной обстановке, и вообще вид у нее как у поля спелой пшеницы, когда ее сожнут с одного края, а на другом уже поднимают темный пар…

— Чему радуешься?

— А чему горевать?

— Где Полина? — спросил грубо Матвей, которого раздражал торжественно-самодовольный тон Моти.

— А ушла твоя Полина! Пришла, вишь ты, справиться, как на ней крестьянское платье сидит! Ряженая! Чемодан купила! Я заглянула туда, барахло какое-то на шелковой подкладке!

— В крестьянском?

— А это чтоб ее в эшелон скорее пустили! А там и в городское переоденется, хахаля начнет искать!

— Про меня спрашивала?

— Нет! Ничего.

Мотя говорила неправду. Полина и пришла-то сюда для того, чтобы попрощаться с Матвеем, хотя генерал ей и решительно запретил показываться на Проспекте Ильича. Полина же подумала: неизвестно,

куда и в какие дебри закинет ее военная непогода, а здесь она жила среди не чужих, не дальних людей. Ей хотелось сказать Матвею дружеские, хорошие слова, поблагодарить его… она даже уронила слезу, когда услышала, что Матвея нет, и вот эта-то слеза и заставила Мотю, вообще редко лгавшую, солгать сейчас и даже порадоваться тому, что Матвей поверил ее лжи.

— На эшелон, говоришь?

— Да, на эшелон.

Тут Мотя не солгала. Полина, действительно, на вопрос Моти ответила, что уезжает с эшелоном. И ухмыльнулась. В конце концов ведь и лодку с пятью пассажирами можно назвать эшелоном?

— С каким эшелоном?

— А мне надо знать? Пусть уезжает, прах с ней! Одной грязной девкой в городе меньше.

Матвей положил руку на цепочку. Мотя схватила его за плечи и, наклоняя к себе, сказала:

— Матвей! Я за жизнь не стою! Ты видишь, какое горе лежит у меня на сердце?

Дремавшая в ней тоска вся высыпала на ее лице, как иногда вдруг выступает болезненная сыпь. Словно переливы огня и дыма, влекомые ветром от костра, охватили ее. Она вся дрожала, Матвею было неприятно смотреть на нее, — и он, не скажи она этих слов, не дрожи, — кто знает, может быть, и остался. Но он ушел.

Он пересек Проспект, ширина которого угнетала его, и направился к вокзалу боковыми улицами. Восток, если всмотреться, уже напряженно-чутко алел. Казалось, в следующую секунду тучи встрепенутся, расступятся, и в стройной гармонии поднимется неизменно-великое и сладкое солнце.

Однако, то, что казалось приближающимся восходом, было только далеким заревом. Наверное, где-то немцы сбросили бомбы? Не на эшелоны ли, в которых уезжают дети и женщины? Не на те ли повозки крестьян, что заполнили собою все дороги? Ах, горе, горе!

— И месть! — воскликнул Матвей, взмахнув резко рукой и стараясь увеличить шаг, словно он шел за местью.

Месть! Беспощадная, бессонная, горячо сжимающая сердце месть!..

Месть за слезы, за убийства, за надругательства, за все, что претерпевает от этих подлецов наша родина! Месть! Каждое биение сердца должно быть сильно как набат, каждый взгляд должен быть ярко пылающий, как те хаты, которые жгут ныне немцы. Месть!

Бормоча слова о мести и ненависти, Матвей обошел несколько эшелонов. Большинство классных вагонов были открыты, а теплушки, наоборот, плотно закрыты изнутри. Но все равно, пробиться ни в те, ни в другие было невозможно. Матвей заглядывал в окна, раза два окликнул Полину по имени. Какая-то красивая женщина в широкополой, видимо,

мужской шляпе, сказала ему, что в их вагоне нет Полин; какая-то старушка вздохнула в ответ, а рядом стоящий старичок, ни с того, ни с чего, назвал его карманником. Полина не показывалась. Где она? Что с нею? Куда она исчезла?

«И почему он ее ищет? — вдруг спросил сам себя Матвей. — Кто она ему? Любовница? Сестра? Племянница? Дочь друга? Нет же ведь ничего! Просто, раз уж он начал добрый поступок, надо его довести до конца. Девушка встала на большой путь, еще два-три шага — и она самостоятельно пойдет. В техническом кружке говорили, что у нее отличнейшие способности к наукам. Кто знает, может быть, она и в университет попадет, или в какой-нибудь институт, станет знающим и толковым инженером, а там, дальше, только не зевай — в депутаты Верховного Совета выйдешь!»

Откуда взялся эшелон? Никогда она не спрашивала об эшелонах, и когда стали записывать желающих переехать вместе с импортными станками в Узбекистан, чтобы там основать филиал завода, она не выразила желания. Встретила мужа, любовника?!

Матвей остановился. Перед ним была та самая улица, на которой он впервые встретил Полину и где она спросила у него спичку. Вон там, через квартал, будет та будка с афишами. Матвей прислонился к палисаднику. Ему не хотелось идти к будке, словно он ждал, что там скажут ему дурное про нее. В палисаднике росла малина. Длинные ветви ее лезли в открытые окна домика, откуда несся храп усталых людей и пахло давно не мытым бельем и непроветриваемыми матрацами.

«Муж?! Значит, что же, ревнуешь? Значит, полюбил?»

Матвей рассмеялся.

«Так не любят!»

Вернулся он домой в шестом часу. Открыла ему мать. Он заснул немедленно, каким-то тяжелым, стекловидным, мутным сном, где почему-то перед ним, все время, вился бесконечный винт.

Вечером он позвонил генералу Горбычу и сказал, что желал бы побеседовать с ним по некоторым вопросам самозащиты завода. Генерал с небывалой охотой обрадованно крикнул в телефон, что ждет его немедленно, что вопрос, который хочет поставить Матвей, несомненно, подготовлен самой жизнью.

Всю дорогу к генералу Горбычу, Матвей думал о дружбе и вражде. «Что такое друг?» — спрашивал он сам себя. И быстро отвечал: «Человек, строгий и одновременно добрый к сподвижникам своим — вот кто им друг. Он должен пребывать в постоянном действии, стремясь отдать за них жизнь, ибо жизнь — сплошная опасность для друга твоего. Что такое враг? Человек, стремящийся уничтожить твоего друга, перерезать нить дружбы; ту самую нить, на которой висит груз, дающий определенное направление нити. Выбивай нож из руки врага!»

И он вздрагивал от ненависти.

И вспоминалась ему высокая, цвета светлого сапожного крема, ограда из леса, в одном из городков Средней Азии. Он только что вышел из госпиталя, где залечивал сломанную ногу. Демобилизовавшись, он возвращался домой. Последний раз он идет среди дувалов и видит горы и легкий ветерок, бегущий с них. Ветерок колышет садики по ту сторону дувала, к нему доносится запах отцветающего урюка и зацветшей вишни, нежный, чуть уловимый. Всходит солнце. Со дна долины поднимаются клубы тумана. Они медленно ползут по откосам гор. Неопытному человеку может показаться, что вот-вот солнце скроется в тумане. Но солнце, властной и в то же время ласковой рукой, проводит по долине — и тумана нет.

Дружба — это солнце победы!

Глава двадцатая

Начальник штаба, темное лицо которого изредка освещалось трагической улыбкой, говорил медленно и без особого почтения к Матвею. Все эти батальоны истребителей, ополчение, отряды самообороны и самозащиты казались ему красивой, но малополезной выдумкой. Он верил только в кадровые войска. Поэтому звуки его голоса и все его движения напоминали ход сильно уставшего упряжного животного, вола, а скорей всего, буйвола; да и глаза у него были круглые и большие как у буйвола.

— Необходимость установки противотанковых батарей вдоль Проспекта Ильича и в примыкающих к нему районах диктуется: а)... — говорил он медленным, как движение парома, голосом. — Не только тем, что рабочие СХМ, беспокоясь за свои не эвакуированные еще семьи, желали бы видеть противотанковые орудия защищающими их семьи, а их самих, рабочих, защищающими откос и цеха, но и б) — тем, что возле Проспекта и на таковом из-за рельефа местности, скорее всего можно ожидать появления танков противника.

Генерал задал два-три вопроса и обратился к Матвею:

— Вы имеете что спросить?

Слова начальника штаба обвили сознание Матвея, как ползучее растение обвивает вам ноги. Ему трудно было сообразить, столько ему чудилось препятствий, которые не перешагнуть, не оттащить, не отвлечь. В голове — полный беспорядок, тем не менее он сказал:

— Все в порядке. Вопросов нет.

Начальник штаба вышел. Генерал тягуче улыбнулся, словно он долго сдерживал себя.

— Вы на него внимания не обращайте. У него голова обычного хода. Ему на новые методы трудно переходить.

«Зачем же тогда держать?» — хотел спросить Матвей, но сдержался, дабы генерал не подумал, что он — Матвей вмешивается в распоряжения военных властей. Но генерал понял его.

— Держу затем, что человек знающий, спокойный и способен усваивать довольно быстро то, что ему внушишь.

Это понимание друг друга успокоило Матвея, и он осмелился спросить:

— Тут из нашей бригады вызвали в штаб девушку… Полину Смирнову. Что с ней?

— С ней благополучно, — сдержанно ответил генерал.

Он откинулся в кресле, этим движением как бы говоря, что не стоит продолжать разговора на такую тему. Но Матвей был упрям — и генерал знал это. Вот отчего, — да к тому же Матвей ему нравился, — генерал сказал то, что вряд ли сказал бы кому другому:

— Она поехала со специальным заданием. Бригаде своей скажите, что, мол…

— Знаю как сказать, — резко проговорил Матвей.

— Знаете?

Генерал посопел носом.

— Я доволен, что знаете. Очень доволен. Вот если б у вас имелась еще уверенность, что она проберется благополучно, я бы вас приветствовал.

И генерал взялся за бумагу, которую ему только что вручил порученец. Это было обыкновенное командировочное удостоверение на имя какого-то интенданта. Но генерал никак не мог вспомнить ни лицо этого интенданта, ни смысл порученного ему дела. Генерал Горбыч глядел на Матвея и думал о Полине: «Может быть, она из-за любви к этому стахановцу спустилась в завод и из-за желания помочь своему возлюбленному напросилась на опасное поручение?» Мысль совершенно естественная, однако, беглый обзор ума и действий Матвея делал эту обычную мысль умопомрачительно-вздорной. Тогда сразу же вырастал до размеров необычных образ Полины, ее возвышенная душа и ее певческий талант! Имел ли право генерал губить ее столь легкомысленно… Может быть, именно в данном случае начальник штаба и прав: он возражал против посылки Полины.

Порученец ушел.

Генерал малость подумал. Матвей встал. Генерал жестом пригласил его снова сесть и затем спросил решительным тоном:

— Вы ее любите?

Матвей покраснел, поправил воротник гимнастерки, и, когда он поправлял его, шея показалась ему необычайно горячей.

— Нет.

— Как она очутилась в вашей бригаде?

Матвей рассказал. Изумление показалось на лице генерала.

Матвей привел только факты, намеренно сняв свое отношение к ним. Он боялся, что сказав об отношении, он невольно коснется и отношения к фактам сегодняшнего дня. Он боялся этого: во-первых, потому, что считал

бессердечным поступок генерала, который, как можно было понять из его намека, отправил Полину в тыл к немцам, не зная ни ее характера, ни ее сил, а просто потому, что Полина по какой-то причине, в данное время не важной, попала в его поле зрения; и, во-вторых, из-за своей физической и нравственной слабости, доведшей ее до «дна жизни», Полина способна погибнуть, а Матвей, как и всякий спаситель, желал благодетельствовать и дальше спасенной им; и, в-третьих, наконец, он опасался за физическую ее чистоту, которую, как ни странно, он тоже теперь считал необходимым защищать и оберегать. Вот почему Матвей совершенно превратно понял дальнейшую фразу генерала, фразу, которая причинила ему множество неприятностей и чуть не уничтожила все то, чего он добился в жизни.

Генерал сказал с иронией, которую Матвей не уловил:

— Да-а… Тогда вам, точно, надо ее беречь и заботиться о ней.

Генерал Горбыч сказал это чуть-чуть улыбнувшись. Он восхищался актерским мастерством, с которым Полина разыграла свою роль «уличной», восхищался ее сдержанностью, из-за которой Полина ничего не сказала ему о своей роли перед Матвеем и рабочими; и, также, восхищался своим выбором и уверенностью, что Полина удачно выполнит порученное ей, крайне важное, дело разведки. Не думай он так, генерал полнее выразил бы свою иронию. Матвей бы спросил о ее причине, и генерал признался бы во всем, и тогда Матвей вряд ли поступил бы так, как он поступил в ту ночь.

А поступил он вот как.

Вернувшись домой, он достал крестьянские «чоботы», в которых, обычно, ходил на охоту; штаны похуже, наложил в мешок пищи и направился к майору Выпрямцеву, в подчинении которого находился. Тому он сказал прямо, о чем, как показалось Матвею, намекал генерал:

— Послали одного товарища в тыл противника. Генерал предложил мне проверить его и поберечь. Имейте это в виду, если завтра не приду на ученье. С цехом у меня улажено.

Майор был поклонником начальника штаба: он смотрел на Матвея свысока. Поэтому, майор обратился за подтверждением направления Матвея только через несколько часов, когда у него появилась надобность позвонить в штаб. Майор был крайне удивлен, когда и начальник штаба и, позже, генерал сам позвонивший ему по телефону, сказали, что они не отдавали приказа о направлении Матвея в тыл противника…

У микрофона в тот час стояла, впервые, Мотя. Она читала на весь завод и ей казалось, что эти простые слова, которые она говорит, возвеличивают и ее, и тех людей, которым она говорит, и того знаменитого фрезеровщика, а ныне мастера, М. Кавалева, который чуть свет ушел в свой цех на работу и теперь слышит ее голос.

— «…Заметных успехов в выращивании кадров, — читала она, — добился не только Матвей Кавалев, но и мастера-коммунисты Погребов, Кисленко, Зубавин…»

В библиотеке, возле стола Силигуры, находился главный инженер Коротков, которому спешно понадобились какие-то справочники по баллистике. Однако же, не обязательно главному инженеру, который, обычно, спит не больше пяти часов в сутки, приходить в свободный час в библиотеку? Он может потребовать книги по записке. Так думал Силигура, глядя на Короткова и одновременно слушая голос Моти, несущийся из рупора.

Коротков пришел, чтобы поговорить о семье Кавалей! Матвей вчера отпросился у него «по важным делам» на три дня. Какие важные дела у Кавалей? Уезжают они, что ли? Одни? Или уезжают вместе с Мотей?..

Коротков видывал Мотю и раньше. Буйная красота ее вызывала в нем изумление — и только. У него не появилось желания встречаться с нею, тем более, что красота ее казалась ему сильно действующей лишь на крайне грубых людей, к которым он себя относить никак не мог… а сегодня он увидел ее в радиоузле, где он должен был прочесть текст договора на социалистическое соревнование между СХМ и рядом городских заводов. И вот, Мотя, среди белых, ничем не украшенных стен, среди портьер из рубчатого бархата и радиоаппаратуры показалась ему невыносимо (он не боялся такого, разумеется, пошлого слова!) прекрасной. Откуда в ней это?

— Сочный голос, слышите? У нас в узле новый диктор?

— Из семейства Кавалей, — сказал Силигура, и глаза его заблестели так насмешливо, что Коротков, опасаясь «исторической записи», не стал расспрашивать дальше.

А Силигура записал: «Был Коротков. Книги взял хоть и толстые, но незначительные, впору себе. Хотел спросить о Моте: “Почему она поступила на радиоузел, что в ней скрыто?” Он опасается, что, увидев ее у микрофона, способен полюбить — и свершить безрассудное: жениться на ней! Коротков, уведенный ее голосом, который, есть чудо. Кроме того, ему непонятны причины: откуда явилась у нее такая убедительность голоса, откуда и почему звучит он с такой силой и уверенностью? Откуда? Насколько я понимаю, она хочет, чтобы голос ее ежеминутно звучал перед человеком, которого она любит. У нее мало надежды, что он ее слышит иначе, сердцем!..»

Здесь Силигура задумался. Ему представилось строгое лицо читателя, перелистывающего его книгу. В истории прошлого читатель верит, что, наряду с общественными огромными событиями, существовала любовь. «А в настоящем, — ибо, как сказал один умный человек, каждая эпоха считает себя наихудшею из существовавших, — разве люди в состоянии одновременно и воевать, и любить?» И думается Силигуре: встает перед ним читатель его истории и, строго подняв палец, спрашивает: «Что же это такое? Разве любовные истории суть исторических фактов?» И тогда Силигура ответит: «Все, что могуче и страстно, все, что совершенствует человека, его ум и волю, все, что помогает нашей победе, все это —

история или ее ответвления. А именно: на ветках-то и цветут цветы, дорогой мой!»

За столом, в квартире Кавалей, сидела Мотя.

Старики Кавали ушли к знакомым, чтобы узнать: как, что и где слышно насчет фронта. Отец Моти пришел в табор беженцев-крестьян, направляющихся на восток и расположившихся на ночлег возле города. Он встретил знакомого крестьянина и, как старик Каваль, тоже жаждал изустного рассказа о войне. Матвей исчез… только старуха мать слушала Мотю, которая готовила чтение на вечер.

Старуха не понимала того, что ей читает дочь. Старухе хотелось сказать дочери, что на Проспекте большое беспокойство, что ходят слухи, будто немцы опять придвинулись к городу и что нынче на рассвете некий дымно-багровый луч пересек все небо и будто бы прогремел неразборчивый голос, и все увидели в этом дурное, кровавое предзнаменование, и священники в церквах начали опять служить нескончаемые молебны о даровании победы державе российской и ее славному воинству, и сама Агриппина Борисовна видела во сне Сергия Радонежского и ходила советоваться о том с батюшкой…

— «По всей территории завода широко раскинувшиеся цеха гремят по-разному: где слышится лязг многосильного пресса; где гуденье вечно бессонных горнов; где ровный рокот трансмиссий и шум станков. Но дыханье их едино — все для фронта!»

Мотя повторила, глядя на мать глазами, в которых вот-вот могли показаться слезы:

— Все для фронта, мама! А я?

И, уронив рукопись на пол, она положила голову на плечо матери и заплакала.

— Что ты, дочка?

— Ой, страшно ж мне, мамо! Страшно!.. Приехали мы до Кавалей и думали: поедем дальше, вместе…

— Так мы ж одни, можем уехать, дочка?

— Куда? Куда уедешь от войны, мамо?!

Старуха понимала, что дочка говорит не все, что хочется ей сказать.

— От войны, дочка, можно уехать, а вот уедешь ли от сердца?

Мотя отшатнулась от матери.

Быстро наклонившись, Мотя стала собирать разлетевшиеся квадратные листочки желтоватой пухлой бумаги. Но, не собрав и половины их, опять припала к плечу матери.

— Страшно, дочка?..

— Ой, страшно ж мне, мамо! — древним, напевным голосом ответила матери дочь. И этот голос нашел в душе старухи такое, что она замерла и почти в полуобмороке слушала все возвышающийся, с хриплыми оттенками, голос дочери; и чудилось старухе в голосе этом такое горе, что нельзя было его ни слушать, ни отказаться от слушанья. — Ой, мамо,

мамо! Что ж со мной такое? Я пошла из-за того Матвея на радио. Думала: услышит он меня, не будет мне так страшно. Боюсь я тех бомб и тех самолетов, ой как боюсь... а он ушел куда-то, и никто не знает куда: то ли на фронт, то ли сел в танк?.. И на одну меня, мамо, посыплются те бомбы, которые немцы обещают сыпать нещадно на наше радио, на тот Дворец, на мое сердце, мамо!..

Глава двадцать первая

То ли в день ухода Матвея «на ту сторону», то ли дня два-три перед тем, Матвей побывал в отделе Обкома партии, ведающем промышленностью, вернее, кадрами ее. Матвей хотел похлопотать о судьбе одного конструктора, парня дельного, но драчливого и дурного на язык в пьяном виде.

К несчастью, ответственный, слушавший Матвея, сам недавно сильно выпил и, хотя не наскандалил, но решил отныне быть и к самому себе, и к другим беспощадным. Конструктор и попади под линию этой беспощадности! Словом, из хлопот ничего не получилось.

Однако ответственный не желал щеголять адской своей беспощадностью и потому он пригласил Матвея в обкомовскую столовку пообедать и поговорить дополнительно. Матвею есть не хотелось, но он полагал, что за едой ему удастся уговорить ответственного... Ответственный, будто поняв намерения Матвея, подвел его к столу, усадил, заказал обед — и исчез, будучи спешно вызван к первому секретарю.

За столом, кроме Матвея, находилось трое: пожилой химик с толстым носом, жалующийся на несварение желудка; испитой трестовик в рубашке с длинным воротничком, выпяченной грудью и глубоко запавшими глазами; очень красивый татарин, жеманно подбирающий губы и ласково всем улыбающийся, видимо очень доброжелательный человек. Не будучи знаком с Матвеем, он дал ему совет, что есть и что выпить, — и совет этот оказался удачным, чему тот и радовался все время обеда.

Трое, перебивая друг друга и беззлобливо бранясь, говорили о том, где найти провода для электропечей, где тигиля, куда сложить цемент, а куда огнеупор, и о многом другом, что или разыскивалось, или делалось, или должно быть сохранено. Создавалось впечатление, что они не закончили какое-то горячее совещание, но Матвей знал, что это просто обычная манера ответработников, которые даже за обедом спорят о делах и взаимно упрекают друг друга в нерадивости, недосмотре или скупости. Оказалось, что трестовик с выпяченной грудью управляет четырнадцатью кирпичными заводами, три из которых — в области — ему уже пришлось взрывать при подходе немцев. Желтое лицо его, когда он упоминал об этих взорванных заводах, наливалось кровью.

— Обиднее всего, — говорил он, стуча вилкой по горшку герани, стоявшей на столе, — что наши заводы, кирпичные, можно увезти только

частично. Печи ж не разберешь и не погрузишь на платформы. И летит все мое добро на воздух, будь они трижды трою прокляты, и обглоданы собаками!

И чем больше они говорили, тем яснее понимал Матвей, что, хотя они и ни разу не упомянули СХМ, — они ближе этому заводу, чем близкие братья. Один из них поставляет СХМ огнеупоры, другой — татарин — металлический лом, третий — химикалии и, как поплавок среди множества других поплавков, отмечающих расположение сети по реке, в то же время отмечает, ныряя, и направление волн и ход рыбы, так и каждый из этих людей отмечает положение дел на СХМ, его производительность и его силу. По их словам, можно было понять, что СХМ — спокоен, деловит и работает здорово, только подавай сырье да силу. Матвей даже на тарелку с темно-лиловым борщом, который поставили перед ним, смотрел с гордостью, словно это было произведение его завода…

...Переплывая теплую реку, преодолевая руками быстрое теченье ее; нащупывая ногами вязкий берег; шагая по камышам, вдоль его; ползя среди холмиков песка, прикрытых высокой, уже пожелтевшей травой, остро колющей его плечи; выходя на шлях и направляясь к лесу, где по его предположению, должен был находиться штаб партизанского отряда, Матвей думал об этих трех своих соседях по столу. Что прельщало его в них? Какие высокие и умные слова они произнесли? Какие героические поступки они свершили?

Никаких высоких и умных слов они не произносили, никаких героических поступков они не свершали, а тем не менее, они были удивительно прельстительны, и чем глубже уходил Матвей на территорию, занятую немцами, тем милей ему становились эти трое.

Матвей превосходно знал места, по которым он сейчас так осторожно пробирался. В детстве он бродил здесь по камышам, ища и разоряя птичьи гнезда, в юности рыбачил и охотился, или косил траву; лесные дороги он вспоминал и по охоте и по тому, как ездил сюда за валежником или ходил за ягодой и грибами, а зимой пересекал на лыжах; и сейчас лес перед ним, все его тропы были как мотовило для ниток, на которое он вместо ниток наматывал свои воспоминания.

Удивительно! Другим был лес. Другая была жизнь. Словно лес, как в сказке избушка на курьих ножках, повернулся к нему другой стороной. Он узнавал его и не узнавал. Он кружил, иногда, по поляне, ища выхода, хотя и бывал здесь раньше сотню раз, а, иногда, с полувзгляда, не бывав и здесь раньше, находил главное направление.

Знакомые деревни, — он не подходил к ним, а видел их большей частью с вершин деревьев, — представлялись только контурами, по которым прошел фрез ужасной войны. Трубы, кое-где уцелевшие стропила, дымки затихающих пожарищ, кирпичные стены колхозных конюшен — все это было линиями, обозначающими направление смерти.

Но ведь он-то шел по другому направлению?

И он шел, шел торопливой и, с виду, спокойной побежкой упряжного животного. Он спускался в балки, поднимался на пригорки, шел по истоптанным нивам, по следу четко отпечатывавшихся пластинок гусениц танка, по следам подков, которые не походили на широкие наши подковы. Время от времени, привлекаемый запахом разлагающихся трупов, он подходил к какой-нибудь яме, куда немцы сбрасывали расстрелянных. Мертвые были набросаны как попало. Матвей заходил то с одной стороны ямы, то с другой, стараясь разглядеть их лица и этим как бы еще более укрепить мучающее его чувство ненависти. Когда он видел исколотое штыком лицо крестьянина, которое, несмотря на раны и мученья, все еще хранило в себе думы селянина о земле и доме, — ему хотелось выразить скорбь свою криками, взывая к военному суду и к суду народного гнева. Он топтался на месте, ища слов; слова, казалось, вот-вот дотрагивались до него и исчезали, увлекая его дальше.

Он шел!

Он шел всего только сутки, но так как внутри него, словно полый волчок, издающий звук при верчении, вилось невыносимое страдание с быстротою несказанной, то ему, вполне понятно, казалось, что он шел сотни лет, среди этой истерзанной страны.

Он изо всей мочи старался привести свои мысли в порядок, выточить их, так сказать, сложить их в безукоризненном порядке. Он вспоминал прошлое, — совсем недавнее, — как он с группой представителей СХМ ехал в колхоз, откуда был родом, чтобы приветствовать совещание районных пятисотенников. По краям дороги, чуть зеленеющие, возвышались тополя, отражаясь в весенних лужах, сквозь которые пробивалась трава, казалось, говоря воде: «Да уходи ты, пожалуйста!» Открывался пруд. Длинная цепь уток, с перьями, еще нескладно торчащими, по-зимнему, бежала к воде, не обращая внимания на приближающийся грузовик. Окна в школах были открыты. Дети доучивали последние уроки. Девушка с томными глазами глядела на проезжающих, словно высматривая милого. Платок ее, белый, в розовых цветах, кокетливо сдвинут на ухо, и ушко это такое нежно-розовое, как цветок, так что хочется остановить машину и спросить ее: «Кого вы любите, не меня ли?»

Где все это? Куда все это скрылось? Кто заплатит за весь позор и все оскорбления, за пожарища и насилия?

И он отвечал самому себе: «Мы заплатим!» Кто — мы? И он говорил: «Мы — Россия! Мы — Украина!» И тут же он вспоминал разговор трех за столом. Они все трое были самые разные люди, трех разных наций. Трестовик — украинец, химик — русский, а тот, «волочащий лом», как сказал о нем трестовик, — татарин. Но одно, сильное и неудержимое, как вращающаяся броневая башня, выступало у них в разговоре: месть и победа, победа и месть!

Месть!

Да, именно месть и жажда мести, ненависть, обрабатывающая его как он обрабатывал детали, привлекла его сюда. И он сам желал мстить и желал видеть мстящих за его родину, за его — Россию, за его Украину, ибо мать его была украинка, а отец — русский крестьянин.

Месть и ненависть!

Это чувство мести и ненависти и вело его; оно было как бы тем чувством духовного осязания, которое все понимали с первого взгляда на него. Правда и то, что многие в районе его знали, да к тому же только накануне прибывшая в штаб партизан со специальным поручением товарищ Полина и два сопровождавших ее, рассказывали о выдающемся стахановце Матвее Кавалеве. Как бы то ни было, Матвей избег лишних волнений и расспросов и довольно скоро очутился перед начальником партизан, очень хитрым, увертливым ветеринарным фельдшером из села, где родился Матвей.

Фельдшер, товарищ П., как его называли, хотя всем широко было известно и его имя и фамилия, сидел в ямке, возле родничка на дне балки в прохладной и длинной тени. Он ел кашу из горшка, поставив его себе на колени; время от времени он прислонялся к стволу деревца, и тогда тени листьев и ветвей начинали плясать от каши, а он, ухмыляясь, разгонял их, как мух, длинной ладонью с тонкими пальцами.

— Садись, — сказал он Матвею, — вот гром аплодисментов! Тебя зачем сюда прислали? Здесь, брат, немцы нас обвили как зелень беседку, здесь рисковать такими товарищами мы не привыкли.

Он достал из мешка тонкую и легкую алюминиевую ложку и протянул ее Матвею. Матвей хотел есть, но слова фельдшера взволновали его. Тут только он оценил свой, совершенно бестолковый и, пожалуй, преступный поступок. Кто его послал? Зачем он явился? Кому он здесь нужен? И почему он компрометирует командование, которое, конечно, не пошлет безрассудно такого необходимого и важного для завода стахановца. Ах, какая глупость, какая глупость!

«Но, с другой стороны, — продолжал думать он, — раз уж я пришел, надо вывертываться, чтобы и себя не сконфузить и не подвести командование. Вернусь в город, пусть меня судят, может быть, здесь и не узнают скоро о моем суде, да и можно скрыть, что меня судили за то, что я пришел сюда. Вывертываться? А как? Кабы знать, зачем послали Полину, так бы сказал, что надобны добавочные сведения… Нет, это чепуха… Меня в разведку не пошлют!»

Он взял полную ложку каши, разжевал ее, запил горячей водой, чуть бурой от настоя какой-то травки, заменявшей чай, и сказал:

— Велено вас проинструктировать насчет производства гранат и кое-чего домашним способом.

Видимо, вопрос с оружием больше всего волновал фельдшера, поэтому он сразу поверил Матвею. Лицо его засияло и от радости даже

покрылось потом, так что Матвею стало совестно. Фельдшер вытер лицо, первой подвернувшейся под руку тряпкой:

— Вот это спасибо! Вот это забота о живом человеке! А то все требуют дела. Я даю дела, но без ручной гранаты мне их трудно осуществлять. — Он коснулся руки Матвея и просяще заглянул ему в глаза. — А ты думаешь, выйдет?

— Надо полагать.

— Я тоже думаю, надо полагать. Ведь не послали б тебя, раз нет надежды. Послали, потому что хотят дать веру — Матвей Кавалев так проинструктирует, что весь округ немец удобрит своим испугом. Как полагаешь?

— Так и полагаю. У вас твердое место есть, где бы станки установить?

— У нас склады на каменоломнях.

— Вот-вот. Веди.

На СХМ, когда не хватало какого-нибудь оборудования, Матвей придумывал к своему станку приспособление, превращая его, таким образом, в станок, так сказать, всезнающий и всеумеющий. Горизонтальный станок у него делался вертикальным и при этом не понижал качество и количество продукции, а, наоборот, повышал. Конечно, создать приспособление не траву подстричь, а, некоторым образом, подстричь лишние свои мысли, да вырастить новые: процесс напряженный и трудный.

Но что значил этот процесс выдумки приспособлений перед тем процессом мысли, который пришлось испытать Матвею в старой, заброшенной, небось, лет двести каменоломне, ход куда шел через шесть оврагов и три болота. В каменоломне было сыро, темно, отовсюду ползла вода, какие-то длинные и мокрые насекомые облепляли руки, два жировика горели по сторонам станка, тощие лошадки крутили колесо молотилки, от которого шел привод к станку. Когда жировик мигал, зажигали пучки соломы. Кони у привода шарахались, погонщик ругался. У станков не хватало частей. А, главное, все хотели помочь, и вместо помощи выходило совершенно бестолковое крученье на месте. Иногда, от всего этого, тупое бесчувственное состояние охватывало Матвея, и ему казалось величайшей подлостью, что он пообещал товарищу П. наладить производство гранат.

Свеча иногда горит плохо. Но достаточно ее поставить в подсвечник, чтобы она, как бы наполнившись гордостью, выпрямилась и стала светить хорошо. На третий день безуспешных попыток Матвея, к нему подошел товарищ П. Он с удовольствием оглядел линию молчаливых станков, послушал шипение и шлепанье чересчур длинного приводного ремня и сказал с радостью:

— Вижу, дело выйдет!

Он ничего не понимал в производстве, но одобрение он считал главным стимулом часто повторяемого им слова «дело». Помогло оно и на

этот раз. Вдруг, словно бы Матвея вставили в подсвечник. Он увидел по-иному станки, высокие, покрытые грязью и бледными растениями, стены, всю возвышенность и необычность дела, все то, что поэты называют романтичностью, а народ — дивом… Матвей сказал:

— Хочешь знать, какой тоннаж будет выработки?

— Ясно.

Матвей назвал цифру. Товарищ П., как всегда он это делал, взял первую попавшуюся тряпку и вытер ею взволнованное и пораженное лицо. Пусть тряпкой только что вытирали станок, пусть она отдавала керосином, — все равно товарищ П. был счастлив.

— Дело, — сказал он кратко, но так выразительно, что дрожь восторга пронизала Матвея. — Дело! Проси, что хочешь, — помогу и как фельдшер и как начальник отряда.

На другой день Матвей узнал, что Полина вернулась «с дела». Тот же фельдшер П. сообщил Матвею, что сейчас она «подводит письменно итоги», а, подведя их, придет к Матвею, чтобы договориться о совместном возвращении.

Глава двадцать вторая

Матвей очень желал видеть Полину — и немножко опасался этой встречи. Одно мгновение, в особенности в начале пути сюда, он подумал было опять: а не любовь ли, как говорит Мотя, влечет его к Полине, а, значит, — и за рубеж? Нет! Его вела ненависть. Он желал наполниться ею до краев, желал своими глазами увидеть то, что наделали фашисты в его родных местах, где еще не остыли следы его детских ног, где рама в школе, возле которой он сидел за партой, еще не переменена, да и стекло то же самое. Он желал, чтобы его ученик, которым он считал Полину, с честью выполнил данное ему поручение и не опозорил учителя, а если ученик не выполнит, то он исправит невыполненное. Его вело правильное чувство! Ненависть — вот разрыв-трава древних сказок, которая раскрыла ему все двери, привела сюда, в эту старую каменоломню, — тоже картинку из сказок, — чтобы завертеть зубчатые колеса станков, резать и точить гремящий металл, найти способ достать порох…

Ему хотелось, чтобы Полина удачно выполнила поручение генерала Горбыча. Еще до перехода рубежа, он слегка сомневался в ней, но когда он увидел первую сгоревшую деревню, первый труп измученного селянина, первого повешенного, он понял, что его мысли о возможности ее предательства — вздорны и обидны для нее. И ему еще больше захотелось, чтоб она действовала ловко, умело и быстро.

Необходимо, чтоб она свершила подвиг, совершенно необходимо! Ее подвиг, и вообще все ее поступки напоминали ему родину, ту, которая стоит там, держа в руках оружие, — за рекой, за самолетами с красными звездами на крыльях, время от времени появляющимися из-за реки.

Полина была часть его дела, которым он гордился. Она вышла снизу. Еще месяц с небольшим… Нет, Матвей даже не хотел и думать об ее прошлом. Как бы смутно и спотыкающе оно ни было, теперь она имела полное право на имя друга и товарища!

«И даже больше того! — вдруг подумал он с опаской, такой, что ему даже захотелось оглянуться: не подслушал ли кто его мысль? — Ведь ты, Матвей, теперь на неправом пути? Ведь ты так ошибся, как ниже и нельзя. Ведь ты обманул доверие рабочих, которые не для шутки же назвали тебя полковником? Беспечность мыслей, прихоть привели тебя сюда. Ненависть? — Не оправдание. Ненависть, ты, как большевик, должен был испытывать к врагу и не видя его, не осязая его преступлений. Миллионы, наполненные ненавистью к фашизму, идут на фронт, и тысячи из них погибают, так и не видя врага, сраженные его снарядами и пулями. Что же, им всем надо пробираться через фронт, лгать партизанам, притворяться, что тебе даны какие-то особенные поручения? Нет! Плохо, Матвей! Дисциплинированная, слабая женщина, Полина Смирнова, куда лучше и тверже тебя, прославленного стахановца. Уж лучше бы ты пошел за ней из-за любви! Тут всякий самый строгий судья, разведет руками и скажет: ''Да, любовь! Это, знаете, того… материя''. Здесь не вредно допустить и терпимость в отношении Матвея. А то что, занесся невесть куда и измеряет поверхность всех событий только своим разумом. А он, твой разум, тьфу!..»

— Вы надолго сюда, Матвей Потапыч? — спросила Полина.

Голос у ней звучал с прежним почтением, и глядела она на него так же, как глядела, когда спрашивала, нужно было помочь ему в разметке на металле. Она ничего не подозревала, как и остальные… На это было больно глядеть. Конечно, жизнь не шахматная доска и люди не фигурки шахмат, да и на шахматной доске бывают тоже замысловатые положения. Но все же!..

— Уйдем вместе! — сказал он сухо.

Полину в каменоломню привел товарищ К., начальник разведки партизанского штаба, до войны в крупном районном центре преподававший языки. Собой он был высок, строен и вообще держался с достоинством, как литаврщик. Каким образом в своей учительской карьере он накопил уменье вытаскивать и отыскивать разные сведения — объяснить было невозможно; он же предпочитал некую таинственность, издавна подписывая жене письма латинским «Н». У него было лицо фанатика, постоянно выигрывающего во всех своих замыслах.

— Счастливо отделались? — спросил его Матвей.

Не желая отвечать на вопрос, учитель сказал:

— Да, раньше здесь были хорошие охоты, а сейчас всю дичь распугали.

На этом разговор с начальником разведки и окончился. Часа два спустя, он вернулся и сказал, что пробраться к городу трудно и придется

обождать дня два. Полина взволновалась. Тогда он отвел ее в сторону от Матвея и тихо сказал, что зашифрованные сведения, добытые ею, они отправят с «одним товарищем». Ее же Полину, приказано беречь, и он не может взять на себя ответственность за ее доставку именно в этот час. «Кто знает, куда выкарабкаешься?» — добавил он многозначительно, легкими шагами отходя от нее.

— Не отправляют? — спросил Матвей.

— Да. Говорят: труднопроходимо.

— А не из-за меня ли? Мне еще денька три их надо инструктировать...

— Ну, что вы, Матвей Потапыч?

— Война войной, но и в войне у каждого свои интересы.

Она, уважая его большие знания жизни, не стала с ним спорить. Они обошли станки, сопровождаемые рабочими, которых понемногу, из разных мест, свозили в каменоломню партизаны. Что-то высоко драматическое и прекрасное, в духе Художественного театра, чудилось ей, когда она, иногда задевая локтем талию Матвея, шла с ним рядом, среди этих станков, каждый из которых имел свою, необычайно яркую историю. А что говорить о людях? Она даже немножко боялась глядеть им в лица, так они были грозно-прекрасны и, словно цветы, которые садят по шнурку, выровнены в каком-то удивительно мощном порыве труда и борьбы. Пусть некоторые из них покашливали от сырости, наполнявшей воздух каменоломни, пусть некоторые сморкались, а один все одергивал рубаху, которая у него лезла кверху, обнажая тощий, исцарапанный живот. Пусть! Полина знала, что такое человек.

До самой поздней ночи она не могла отделаться от этих возвышенных дум, она держалась за них, как держится рулевой за румпель руля, и они влекли ее далеко-далеко. Она засиделась в каменоломне до поздней ночи. Матвей вышел проводить ее. Звезды в высоком и необыкновенно чистом небе блестели так, как будто готовились идти в какую-то неслыханно удалую атаку. Гам в болоте утих, робко колыхнулся камыш и опять замер, устремив в небо пестрые по очертаниям верхушки.

— Как-то у нас на Проспекте? — сказала Полина, глядя в небо.

— Бомбят на уничтожение, — ответил Матвей. — Немецкое радио передавало, мне товарищ П. сказал, что продовольственные базы в городе разбомбили.

И он глухо добавил:

— Нет ничего страшней, когда хлеб горит.

— Немцы много врут, Матвей Потапыч.

— Знаю. Они врут, когда говорят, что хлеб у нас захватили. А вот врут ли, когда кричат, что хлеб у нас сожгли...

— Подвезем.

— Подвоз отрезают.

Эти два слова прозвучали как останавливающая внезапная стрельба. Они испугались и замолчали.

Немного погодя, Полина стала рассказывать о том, как она побывала у немцев. Ей хотелось отвлечь его от мыслей о городе — и оттого рассказ у ней получился горячий и притягивающий. Матвей ярко представил себе поле, которое она пересекала. Словно зубчатые штемпеля, отпечатывались в лиловом небе с редкими, белесыми, предутренними облаками силуэты танков. Между танками, прикрывшись шинелями, спали, прямо на земле, баварцы. Где-то в стороне звякнуло ведро, послышалось боязливое ржанье лошади, будто ее пугали эти металлические возы. Полина ощущала в груди неприятное и в то же время задорное дерганье сердца.

Плащ, прорезиненный и длинный, с плеча убитого лейтенанта, видимо, большого щеголя, постоянно сползал с ее плеча. Она спотыкнулась о какую-то корягу. Плащ упал на спящего солдата. Он поднялся и схватил ее за руку. «Откуда? Куда?» — «От лейтенанта Швабе к полковнику фон Паупелю», — отвечала она быстро. «Пароль?» — «Афины!» Солдат захохотал. Баварский говор, видимо, был приятен ему, и едва ли он не подумал, что видит эту девушку во сне. Он лег и, положив голову, протяжным и сонным голосом, почти нараспев, сказал: «Дура. Я — не на карауле».

Матвею почудилось лицо этого солдата. Лицо было широкое с большим, как у игрушечной копилки, ртом. Матвей увидел поле, танки, поднимающийся рассвет, прохлада, дохнувшая от реки, танки, покрытые росой, особенно обильной в эти дни, солдат, ежащихся от прохлады. Он видел лейтенанта, присевшего на пень возле танка. Наклонив голову, с багровым лицом, он с усилием, посредством крючков, вдернутых в ушки, натягивал сапоги, сшитые из трофейной, русской кожи…

О, мы заставим тебя потерять эти сапоги со страха, обер-лейтенант! О, ты еще узнаешь Россию!

Передернув плечами, Матвей спросил:

— Ну, дальше?

— Дальше все было гораздо глаже. Судя по первому моему успеху, немцы не так уж умны! Вы как думаете, Матвей Потапыч? — И, не ожидая ответа, она спросила: — Сейчас, когда я вам рассказывала о поле, мне вспомнился «Тарас Бульба». Помните лагерь запорожцев, пробирается Андрей?..

Она покраснела и добавила:

— Впрочем, все эти литературные реминисценции не стоят и гроша. Тем более, что ситуация совершенно другая. Вы ведь мало читаете, Матвей Потапыч?

Матвей вспомнил такой же вопрос, заданный ему Рамадановым, и ответил сухо:

— Сейчас читаю, да некогда.

— Действительно, не до чтения. Так же, как сейчас разговаривать о литературе или Художественном театре. Вы бывали там? Нет? Вас ждет

огромное наслаждение. — Она вспомнила опять каменоломню, которая дышала ей сейчас сыростью в спину, и воскликнула оттого еще горячее, чем ей хотелось: — Огромнейшее, Матвей Потапыч!

Она протянула руку, сорвала горсть листьев, влажных от росы. Растирая листья в руках, словно бы готовя бальзам, она заговорила о русском искусстве. Матвей задал ей два, а, может быть, и три вопроса, и вопросы даже прямо-то и не относились к сущности того, о чем она говорила. Полина уловила в них другое: тоску по России, по Украине, по искусству этих народов, которое так мало видел Матвей. Он спрашивал ее: увидим ли мы то, что не увидали? Могут ли немцы уничтожить все то, что они обещают уничтожить? Могут ли фашисты сжечь наши библиотеки, наши дворцы, опрокинуть наши памятники? «Мне кажется, — говорил тонущий в темноте взгляд Матвея, — что вы понимаете больше меня в искусстве. Вот я и прошу вас, отвечайте мне, пожалуйста, по правде. Я верю вам, что искусство — важнейшая и нужнейшая штука. Этот тезис бесспорен. Ну вот, хорошо, отобьют эти пулеметы, которые тоже равномерно отстукивают время, как часы. И я, допустим, останусь цел. И я, допустим, пожелаю разглядеть то искусство, которое мне не удалось увидеть еще. И я приду — и передо мной пепелище и заржавленная немецкая каска на нем. Как быть?»

— Искусство нашего народа бессмертно! — воскликнула Полина. — И вы хотите знать, почему?

— Да.

Кусты справа раздвинулись. С автоматом на согнутой руке вышел начальник разведки.

— Покурить вышли? — сказал он строгим, хотя немножко и театральным голосом. — Ничего. Курите. Сегодня вокруг спокойно. — И он, свернув папироску, попросил спичек у Матвея. Закурив, он широко дунул на спичку, выронив ее из руки. Чуть тлеющий уголек ее, описав дугу, упал в болото. Начальник разведки вздохнул, словно придавая падению спички какое-то особое символическое значение.

Затем он обратился к Полине:

— Извините, вот я слышал, вы говорили, искусство бессмертно. У нас последнее время что-то очень уж любят разбрасываться бессмертием. И то бессмертно, и этот бессмертен, будто зарождается новая теогония. Мифы о происхождении богов, — добавил он, поясняя непонятный термин.

— Вы способны считать, что наше советское искусство смертно? — воскликнула, волнуясь, Полина, забыв все восхищение, которое она испытывала к начальнику разведки, так искусно проведшего ее в стан немцев.

— Человек смертен. Значит, смертно все человеческое, — сентенциозно проговорил начальник. — Может быть, вы способны доказать обратное?

— Докажу.

— Конечно, можно окрасить и кролика под тигровую шкуру…

Это замечание уже совершенно взбесило Полину.

— Позвольте, а вы советский или не советский человек?

— Господи боже мой, по-вашему, если мне не нравится, допустим, мещанский театр Таирова или мазня художника Яковлева, я уже не советский человек?

— Мы говорим о совокупности всех явлений, которые определяют советское искусство. Если хотите, я говорю о духе его, а не об отдельных представителях!

— Вот как? О духе?! Вы, значит, отдельных представителей не видите?

— Именно оттого, что я вижу отдельных представителей, я и понимаю дух всего советского искусства!

— Может быть, вы мне расскажете о них, о каждом в отдельности? Совокупность явлений — это и есть тот молот каменотеса, который гранит камни. Вы имеете возможность, таким образом, воздвигнуть пьедестал для советского искусства.

— Он уже воздвигнут? А рассказать — расскажу. Я не испугаюсь!

— Я видел, что вы не пугливая. Но ведь есть и главный театр войны, а есть и второстепенный, тот самый, о котором французы говорят «[В рукописи пробел.]». Боюсь, на сей раз как бы вы не очутились в этом второстепенном театре, где гораздо труднее проявить свою доблесть.

— Напрасно боитесь.

— Вы не отбивайтесь фразами, а начинайте. Тема — советское искусство. Глава — советский художник и роль его в строении нового общества.

— Силами искусства, не правда ли?

— Вот именно, силами искусства. Автоматом и штыком уж мы постараемся, а ты, голубчик, расскажи мне в романе, на полотне и в песне, как ты понимаешь идеи нового общества. Спой мне, голубчик, так, чтобы, когда я шел в атаку на немца, у меня в ушах твоя песня гремела. Начинайте, голубушка! Что ж вы молчите? Вы были такая задорная.

И вдруг начальник разведки услышал с того места, где стояла Полина, тонкие и жалобные детские всхлипывания.

— Господи боже мой, товарищ Полина, что с вами?

И, повернувшись к Матвею, начальник разведки сказал:

— Это вы виноваты, товарищ Кавалев! Стоите тут как чурбан, и нет вам дела, дабы возразить на мои дурацкие разноглагольствования!

Глава двадцать третья

Немцы проведали о путях, по которым партизаны держали связь с городом. Грозные народные мстители были страшны на каждом куске территории, занятой немцами, и что ужасней всего — как есть особый привкус вина, зависящий от свойства почвы в виноградниках, так и гнев народный принимал на каждом куске земли особую, свойственную ему форму; и сколь немцы ни старались найти тоже особые формы борьбы с партизанами, они не могли их найти. Поэтому, усиленные немецкие патрули, расставленные на путях связи, были для партизан только временным препятствием, обойти которое они надеялись в ближайшие дни.

— Придется еще подождать, — отвечал на все требования Матвея и Полины командир отряда. — Ваши сведения в город переданы, чего вам еще? Не могу рисковать вашей энергией. Да и куда вы торопитесь, вы на ребят посмотрите, когда теперь увидимся?

Но желание скорее попасть в город мешало теперь Полине, а, особенно, Матвею, видеть отчетливо все происходящее вокруг. Матвей инструктировал слесарей, токарей, кузнецов, стоял возле станков, и, однако, когда он пытался вспомнить, что же сделано им, это сделанное вставало перед ним в какой-то тусклой, бесцветной дымке. Не стесняясь в выражениях, он и передал свои чувства начальнику отряда товарищу П. Начальник посмотрел на него так, как смотрят на пловца, про которого думают, что он может потерять берег из виду:

— Ну что ж, раз настаиваете. Есть дорога. Только опасна. Вы из этих мест родом?

— Из этих.

— Вдвойне опасна.

— Можно бороденку приклеить.

Товарищ П. ухмыльнулся. Он презирал маскарады, переодевания — «предпочитаю брать сведения боем», говорил он в таких случаях. И, пожалуй, он говорил это не без оснований: тактика неожиданного боя, боевой разведки, часто удавалась ему, наводя ужас на немцев.

— Ногу, может, приклеишь? — И он добавил очень серьезно: — Богом тебя прошу, Матвей, не ходи селом, а тем паче ночью. Если заметишь, что подозрительное, лучше остановись. Человек ты видный, а у видного как раз и видней все его физические недостатки. Кто про меня знает, что у меня левая рука короче правой на пять сантиметров, а прославься я, вся область меня прозовет «краткорукий».

Матвей смотрел на его умное лицо и думал: знает он или не знает, что его уже именно Краткоруким прозвала вся округа. И Матвей дал слово слушаться советов товарища П.

Хороший совет словно земляная насыпь: и защищает, и помогает далеко видеть. Но стоит лишь наступить ненастью, как насыпь разбухнет,

станет скользкой, да и дождь закроет перед тобою даль. Таким ненастьем был в жизни Матвея его, как он признавался в горькие минуты, «сверлящий характер». И точно, когда перед ним вставала темная стена неизвестности, ему мучительно хотелось пробуравить в ней отверстие и заглянуть в него. А дальше — будь что будет! Для того чтобы «сверлить отверстия», он прибегал к множеству увертoк и уловок, увиливая от самых резонных возражений трезвого разума.

Например, здесь. Куда ловчее, дожидаясь ночи, сидеть в норе, вырытой под корнями дуба, а не идти к селу Низвовящему, где ему и в юности, и взрослым, приходилось бывать частенько. К тому же, проводники говорили, что немцы собираются гнать через село какие-то орудия или автомобили, или войска… разве их толком поймешь?..

— Так ты ж ради сведений и пошла! — убеждал он Полину.

— Сведения уже получены и отправлены.

— Получим дополнительные.

— Виселицу получим дополнительную!

Матвей сказал с живостью:

— Вот что. Ты тут сиди, а я схожу. Я и хромой, и волосищем оброс, сойду за инвалида, а мне — надо. Надо! — повторил он, колотя себя кулаком по колену. — Честное слово, надо!

— Зачем?

— Как зачем? Простая причина. Если они погонят через село войска, нам уже не пройти. Тогда и надо искать обходный путь. А то сидим мы в логовище как крысы, и как крыс нас тут и удушат проходящим танком.

Разговор происходил к вечеру. Нора была тесна. Трое: проводник, сонный старичок крестьянин, Матвей и Полина с трудом умещались в ней. Как Полина ни старалась, но постоянно или ее нога, или ее рука соприкасались с телом Матвея; и каждое прикосновение цепко удерживалось ее памятью. Это не могло нравиться ей. Кроме того, она упорно думала, что точно такие же ощущения наполняют Матвея — и тоже не нравятся ему. Как ни странно, но это обижало ее, хотя она, разумеется, меньше всего желала терзать себя или Матвея, или создавать между собой и им натянутые отношения. Ей нравилась та дружеская нежность, с которой он обращался с нею в эти дни, и она не хотела терять ее. Вот почему она согласилась на его предложение:

— Действительно, а вдруг, вы правы, Матвей?..

У холма, близ села, лежит мелкая и тонкая, словно голубая пелена, речушка. Белые пески плоских ее берегов похожи на подушки. В воздухе разлита такая тишина и благость, что кажется — деревья и кусты благодарят речушку за тишину, склонившись на колени. Тут же, возле холма, словно мудрец, опершийся на посох, стоит возле деревянного моста древняя сосна. Курчавые облака в небе словно свитки какой-то удивительно умной и вечной поэмы, великого сонма мифов… Так думала Полина,

когда они увидели издали этот холм, село за холмом, и белую шатровую колокольню!

В детях любопытство часто превозмогает любой страх.

Толпа ребятишек лежала в кустах, глядя на провалившийся мост, возле которого много селян и несколько немцев в темных, отсвечивающих машинным маслом на солнце, комбинезонах суетились возле широкого танка, упавшего с моста в речку.

— Чего это они? — спросила шепотом Полина у ребятишек.

И хотя до моста было далеко и полный голос едва ли долетел туда, тем более что к мосту, шляхом, подходили танки, тоже с черными, отороченными белыми полосами, крестами на боках и длинными зелеными надписями готическими буквами.

— Да, застрял, — ответил с охотой мальчик, — ему, видишь, дорогу загораживает, он и велел пригнать мужиков и тащить...

— Веревки, веревки несут, — быстрым шепотом подхватил другой мальчик. — А какие веревки его вытащат, в нем, небось, тонн двести. Тетенька, пойдем ближе кустами, а?

Любопытство мало понятно и очень заразительно. Полина и Матвей, не глядя друг на друга, поползли вместе с мальчишками по кустам. Несмотря на листву, ветви у кустов были теплые, и когда Матвей раздвигал их, остатки влажной прохлады, державшейся у корней кустов, овевали его лицо, а затем опять сухие лучи солнца особенно почему-то паля щеки, охватывали его, мешая напрягать слух, держать себя настороженно и вообще принимать в расчет опасность.

— Дальше нельзя, — услышал он шепот Полины.

Они легли на живот, прижавшись лицом к земле. Полежав так несколько минут и словно бы набрав сил, они подняли головы и стали смотреть на мост и танк, который чуть приподнялся было, а затем опять сполз в какую-то рытвину. Послышался высокий голос немецкого танкиста. Полина закрыла рукой лицо.

— Что он? — спросил тихо Матвей.

Полина не отвечала. Он не повторил вопроса. Мальчишки, лежащие позади них, вздрагивали от страха так, что шелестела трава, будто кто шел по ней.

Селяне, отступившие было от танка, вновь подгоняемые голосом танкиста, приблизились к машине. Меньшая часть селян отделилась и вступила на мост. Немецкий солдат раздал им топоры с короткими рукоятками. Неумело взмахивая незнакомыми топорами, селяне стали тюкать по плахам и бревнам; звуки были редкие, разреженные и больше походили на жалобу, чем на рубку дерева. К мосту приблизилось несколько танков. В отверстие башни высунулся офицер и спросил что-то. Держа руку у шлема, танкист, распоряжавшийся починкой моста и вытаскиванием танка, загораживающего путь, подбежал, высоко взметывая ноги и разбрасывая песок, к офицеру. Повернутая боком к Мат-

вею машина позволяла разглядеть надпись по ней, расположенную чуть выше креста.

— Что там написано? — спросил Матвей.

— Написано по-немецки: «Я брал Фермопилы».

— Чего он брал?

— Проход такой горный есть в Греции. Там, в древности, греки отбили нашествие персов, если не путаю.

— Так разве ж персы шли с танками?

— Какие ж танки, когда было это едва ли не две тысячи лет назад.

— Ну так чем же хвастаться? Фермопилы ты, может, и взял, а вот попробуй, возьми наш СХМ.

И неожиданно, Матвей стал тихонько насвистывать «Песню о хорьке». Умиление охватило Полину. Вот оно — искусство! Вот где ответ начальнику разведки. Как жаль, что его здесь нет! И это умиление поднялось еще выше, к самым глазам, когда сельские мальчишки, там, позади, в траве, подхватили свист Матвея. Полине захотелось встать, выпрямиться во весь рост, — и запеть. И она верила, что не нужно ей сейчас микрофона и голос ее разнесется далеко-далеко…

Матвей, словно понимая ее мысли, положил ей, на мгновение, свою руку на плечо.

Машина, на высоком шасси, с опущенным брезентовым верхом, окрашенная в желто-зеленую волну, виляя между танками, подошла к мосту. Четыре немецких офицера выскочили из нее и медленно, с достоинством шагая, взошли на мост. Полина сказала:

— Вон тот, повыше, полковник фон Паупель, командир танковых частей. Двое, позади, фашистские журналисты, приехавшие из Берлина, чтобы описать, как взяли танки наш город. Тот, подальше, маленький, который вынул темно-малиновый портсигар, командир пехотных соединений...

— А ты здорово в них разбираешься, — сказал с уважением Матвей. — Надо нам ползти обратно. Я не хочу рисковать твоей жизнью, раз ты так разбираешься.

Он подался шага на три назад. Клокочущий и громкий, словно тендер паровоза, когда туда сыплется уголь, полковник фон Паупель вскочил на свою машину и заметался по ней. Он сначала кричал, повернувшись лицом к танкам, затем — к мосту! Машина, стоявшая на неровном месте, раскачивалась, что-то булькало в ней и звякало, и эти звуки, наверное, раздражали полковника. Он кричал, не дорожа своим голосом. На его крик сбегались танкисты, из леса, направо, вышли солдаты.

— Недолго они навоюют, если будут разоряться по каждому пустяку!

Полина сказала:

— Он — нарочно. Я думаю, и крестьян нарочно согнали, и нарочно дали такую задачу, которую нельзя выполнить. Ведь есть тракторы,

можно вытащить трактором танк. Фон Паупелю нужно найти повод для «внушения ужаса». Это невыносимо!

Полковник, дергаясь, выскочил из автомобиля и опять побежал к мосту. Палка подвернулась ему по дороге. Он спотыкнулся, а, может быть, сделал вид, что спотыкается. Он наклонился, поднял палку и стал бить ею крестьян, стоящих на мосту; затем спрыгнул в ручей и, шлепая по воде, подскочил к крестьянам, столпившимся возле танка, охваченного канатом. Матвей не видел полковника. Чуть свистящие удары палки ложились во что-то мягкое, словно в глину. Иногда палка мелькала между уцелевшими перилами моста, и вслед за тем тонкий, старческий голос селянина выкрикивал что-то неразборчивое, но хватающее прямо за сердце и клубком подкатывающееся к горлу.

Матвей почувствовал руку Полины, разжимающую его пальцы. Он оглядел себя. Он стоял на коленях и рука его лежала на заднем кармане брюк, куда он прятал револьвер.

— Пойдемте, Матвей Потапыч, — сказала Полина ласково и настойчиво.

— Что он приказывает? — спросил Матвей, опуская руку.

— Он приказывает повесить четырех. За саботаж.

— Пойдем.

Матвей прыгнул в речку и стал карабкаться вверх по откосу.

— Матвей Потапыч, нам в противоположную сторону.

Матвей повернул к ней искаженное лицо с трясущимися губами. Облизывая губы, он сказал:

— У меня нет противоположной стороны от той стороны, где вешают моих братьев. Я убью этого полковника!

(*Продолжение следует.*)

Арнольд ХАРИТОНОВ

СПАСИБО, ЧТО ЖИЛ…

Анатолий Кобенков: портрет на фоне времени

Думаю про Толю Кобенкова… Вспоминаю Толю Кобенкова… Печалюсь о Толе Кобенкове…

Пространство вокруг меня стремительно пустеет. Все меньше людей, с которыми можно душевно поговорить, а то и помолчать… Все меньше адресов и телефонов, которые помнишь не слабеющей памятью даже, а душой…

Иркутский поэт Пётр Реутский написал две строки, которые я часто повторяю: «Умереть не страшно, страшно не родиться…» Не примеряю их на себя — если бы я не родился, кто бы об этом знал? Но если бы не родились, каждый в свое время, мои ушедшие и ныне здравствующие знакомые, приятели, друзья — Саша Вампилов, Толя Кобенков, Гена Сапронов, Тэф Коржановский, Виля Венгер, Серёжа Захарян, Женя Корзун, Валера Кирюнин, Игорь Альтер и еще великое множество — насколько беднее была бы моя жизнь!

Поэты родятся в провинции…

Но сегодня — о Толе… Толя… Анатолий Кобенков… Его называли первым среди сибирских поэтов, а Евгений Евтушенко однажды сказал: в Иркутске живет первый поэт России. Конечно, не все это мнение разделяли, завистников у него хватало — большой и свободный от предрассудков и чинопочитания талант всегда вызывает злобу и даже ненависть у посредственностей, которым нет числа в родном отечестве.

Когда мне сказали, что в Москве скончался Толя, я не сразу понял, о ком это... Хотя знал, что у него плохо с сердцем. Было дело, мы лежали с ним в одной больничной палате, и доктор, прочитав кардиограмму, сказал Толе: «А ведь у вас был инфаркт, очевидно, вы перенесли его на ногах». Потом, кажется, был еще один… Я уговаривал его: «Прежде чем переезжать в Москву, сделай хотя бы коронарографию, а еще лучше — решись на операцию, в столице ты этого никогда не сделаешь». Но он меня не слушал — в Москву, в Москву, в Москву!

Не раз отмечал в памяти фразу из записных книжек Сани Вампилова: «Поэты родятся в провинции, в столице поэты умирают». Но тогда она меня не задевала… Не сразу в те горькие дни вспомнил о ней, но когда вспомнил, то горько изумился — как мой давно ушедший университетский приятель смог предсказать судьбу Толи?

Позже, когда пришел в себя от оглушившей вести, еще раз перечитав два последних сборника стихов Анатолия Кобенкова, неожиданно для себя обнаружил, что он много и безбоязненно писал о смерти. Думаю, что хорошие поэты, писатели, художники и вообще творцы смерти не боятся — они оставили на земле заметный след, их будут помнить долго, некоторых вечно. А Толя даже оставил «Автоэпитафию» и в ней проницательно описал место, где ему уготован вечный покой:

Ничего не остается —
только камни да песок,
да соседство с тем колодцем,
что к виску наискосок.

Никуда уже не деться —
успокойся, помолчи…
Пусть дорога по-над сердцем
рассыпающимся мчит, —

хорошо бы к ней пробиться
чем-то вроде родника —
пусть и птица, и девица
припадут к нему напиться…
Выпей мой зрачок, девица,
чрез соломку червячка!..

Русаку и иудею,
как русак и иудей,
я взываю, как умею:
влажной смертушкой моею
свою грядочку залей…

Так вот, я не поверил, не захотел поверить черной вести. Кинулся звонить по его московскому номеру. И услышал спокойный Толин баритон. Эту фразу я запомнил навсегда, не только слова, но и интонацию. Он говорил: «Вы умничка, вы знаете, что делать дальше!» Сразу понял — это автоответчик. И заставил себя согласиться — да, Толи больше нет. Растерялся — что делать дальше, я совершенно не знал: то ли садиться писать некролог (в последние годы это чуть ли не главный мой жанр), то ли звонить Ольге, его жене, то ли лететь в Москву, что было совершенно невыполнимо.

Не только я, многие в Иркутске пережили этот уход очень тяжело. Но не все. Были и такие, что тихо радовались. Спасибо, что хоть тихо.

«Ну что, оставляем Толю?»

Совершенно забылось, где, как и когда мы встретились. Помню только, что он приехал в наши края в том же 1968 году, в котором и я вернулся в Иркутск, правда, из недалека — шесть лет провел в Усолье-Сибирском, шесть лет в разнообразных занятиях, которые теперь, с высоты прожитых лет, кажутся мне странными: после зоны, потерпев фиаско в попытке перевоспитать уголовников и несколько подрастеряв в этом окружении веру в светлое будущее, вдруг ока-

зался лидером местного комсомола. В тесном общении с партийными вождями еще более в этом будущем разуверившись, наконец вернулся в столицу области и приземлился в кресло заместителя редактора газеты «Советская молодежь». Вот здесь-то наша встреча стала неизбежной — разве может молодой поэт не открыть двери молодежной газеты, к тому же фрондирующей, частенько вызывающей головную боль у партийных руководителей?

Как вообще он, рожденный в Хабаровске, выросший в Биробиджане, оказался в Иркутске? Как именно, точно не знаю. Там был какой-то затянувшийся сюжет с Литинститутом, что-то помню про командировку, но от кого и зачем — забыл. Да это и неважно, какой бы случай ни привел Анатолия в наш город, для нас, иркутян, он был счастливым. По-моему, и для него тоже. А вот как остался здесь, и надолго, он рассказал сам в одном интервью.

«Здесь жил замечательный литературный критик Евгений Григорьевич Раппопорт, он меня давно сюда звал. В первый же вечер Раппопорт привел меня в Союз писателей, где я сразу со всеми познакомился, там были и Вампилов, и Распутин, и Машкин, и Гурулёв. Марк Сергеев предложил: "Давайте послушаем Толю". Я прочитал какие-то стихи. "Ну что, оставляем Толю?" — спросил Марк Давидович. — "Оставляем..."». Вот так просто, без официоза, формальностей и громких слов, решилась судьба.

Женя Раппопорт был другом «Молодежки» и не мог не привести Толю к нам.

И мы, конечно, встретились. И познакомились. Но приятельские, а потом дружеские отношения установились у нас только после того, как он пришел из армии.

Поначалу Анатолий жил в Ангарске, где успел обзавестись семьей (жена и двое детей) и задушевными друзьями, с которыми делил и дело, и застолье. И первыми из них были два замечательных человека, которые пахали культурную ниву во Дворце культуры «Нефтехимик» — Леонид Владимирович Беспрозванный в качестве главного чудака в народном театре «Чудак» и Михаил Филиппович Бачин в качестве директора этого замечательного дворца.

Была в Ангарске одна семья, которая заняла в судьбе Анатолия Кобенкова особое место. Это супруги Лейдерман — Лев Иосифович и Инна Львовна, больше известная под девичьей фамилией — Фруг. Супруги познакомились на фронте, на войне (Инна оказалась там добровольцем, семнадцатилетней девочкой), которую они прошли насквозь и которая наделила их нелегкой солдатской судьбой связистов — я не раз слышал от бывалых фронтовиков, что именно связисты были самыми уязвимыми в этой многолетней кровавой бойне.

Но они уцелели. После войны выбрали самую мирную профессию — выучились на врачей. Окончили Первый московский мединститут и отправились в Сибирь, в молодой город Ангарск. Лев Иосифович стал хирургом-урологом, одним из лучших в городе, а Инна Львовна... Она была не только отличным терапевтом, но и парапсихологом, и... Впрочем, приведу лучше слова Анатолия, которые он сказал о своей старшей подруге: «Гуру для рвущихся к правде, истерзанных бытовухой медсестричек, заклинательница зеленого змия для сибирских бедолаг, писатель, не похожий на писателя».

Ей мало было лечить бренное тело, она научилась врачевать вечные души. Она писала стихи и прозу (остались две замечательные книги — «Запах гари» и «Кубик Рубика»), живо интересовалась театром, вела многолетнюю пере-

писку с интереснейшим человеком — доктором биологических наук Сергеем Владимировичем Сперанским из Новосибирска, который тоже не замыкался в рамках своей профессии, в круг его интересов входили и литература, и живопись, и театр, которые он знал глубоко, практически профессионально. Эта перекличка родственных душ впоследствии сложилась в замечательный эпистолярный роман (почти исчезающий в наше время жанр) «Свеча, зажженная с двух сторон».

У Инны Львовны было любимое детище — клуб медицинских сестер «Свеча». Мы так привыкли к названию этой категории младшего медицинского персонала, что перестали замечать в нем слово теплое, родное — «сестры». Когда-то их называли еще проникновенней — сестры милосердия. В наши дни это замотанные бытом и нелегкой работой женщины.

На заседаниях клуба говорили не только и не столько о профессии, медицинской этике. Инна Львовна хотела, чтобы сестрички увидели, что мир не замкнулся в стенах больничных палат с их инъекциями, капельницами и утками, он гораздо шире. «Свеча» освещала этот широкий мир, в котором есть и живопись, и музыка, и классическая литература, и Библия… На встречи «Свечи» приходили известные писатели, философы — разговор шел о ценностях вечных.

Ясно, что в молодом промышленном городе, где культурная среда только зарождалась, эта семья настоящих интеллигентов не могла не стать близкой, почти родной для Анатолия Кобенкова. Он врачевал тут не только душу — «заклинательницей зеленого змия» Толя назвал Инну Львовну не ради красного словца.

Время шло, Толя становился старше, полнее осознавал свое призвание… При всех замечательных друзьях, которых он обрел в Ангарске, ему не хватало профессионального общения. К тому же семья распалась, Ангарск стал тесен, и центростремительная сила затянула Анатолия в Иркутск (а через много лет и в Москву) — уже с новой женой Ольгой, и в этом союзе вскоре появилась маленькая Варя. Вторая семья оказалась прочной…

И вот когда Толя осел наконец в Иркутске, мы как бы заново познакомились и постепенно подружились. Несмотря на то что разница в возрасте между нами была значительная и не в мою пользу — одиннадцать лет. К тому же он был поэт — по самой своей сути, по взгляду на мир, по таланту… А я, подобно Чехову, писал все, кроме стихов и доносов. Ну, «все» в те годы было в рамках газеты, не более того…

Это мы, жидомасоны

Но было нечто, что нас объединяло — наше «жидомасонство». Этим термином пользовались ура-патриоты, обозначая им все, что имело хоть какое-то отношение к евреям. Впрочем, вовсе не обязательно было иметь отношение — эти ребята отыскивали «зловредную примесь» в крови любого человека, который им почему-то не нравился. Как обычно в смутное время (а когда оно у нас было не смутное?), искали виновных во всех российских бедах на стороне — и находили. Кого? Да конечно инородцев. А кто у нас инородцы? Прежде всего евреи! А они, зловредные, всячески прячутся, в том числе и за русскими фамилиями, сами «полтинники» или «четвертаки». А мы с Толей и суть самые что ни на есть «полтинники» — рожденные от русских отцов и еврейских матерей, потому и фамилии у нас русские. Мы, в отличие от некоторых, свое ев-

рейство никогда не скрывали, но и не гордились им. Нам были смешны восклицания типа: «Горжусь, что я русский!» Можно ли гордиться тем, что тебе дано от рождения? Тогда надо гордиться тем, что родился брюнетом или блондином, тем, что высок ростом или левша...

Достаточно ли было нашего еврейства для того, чтобы сойтись душевно? А именно так мы сошлись гораздо позже, в конце 80-х. А холодным, неприютным февральским днем 2005 года на перроне иркутского вокзала с тяжелым сердцем я провожал семью Кобенковых в Москву…

Но я отвлекся. Так вот, о нашем общем еврействе. Конечно, это обстоятельство нас сближало, но не было единственным и даже определяющим. Что в нас обоих было от еврейских матерей, так это несколько иронический и снисходительный взгляд на мир вокруг нас (у него более грустный, чем у меня), который каждый из нас выражал в меру своих способностей. В стихах на еврейскую тему Толя умел сочетать своеобычный юмор с трагизмом существования. Вот одно его стихотворение. Он редко давал названия стихам, но этому дал. Оно называется «Визит»:

Тетя Нехама уселась
на чемодан и сказала:
— Здравствуйте, я ваша тетя!
А дядя Ефим сказал:

— Допустим, вы наша тетя,
но чем вы докажете это?
А дедушка Лейб согласился:
— Должен быть документ.

Тетя всплеснула руками
и закричала:
— Мерзавцы,
биндюжники, мародеры,
я ваша тетя, и все!

— Это другое дело, —
сказала бабушка Эстер.
— С этого бы и начинали, —
дядя Ицик сказал.

И все закричали «вейзмир»,
бросились к тете Нехаме,
стали кричать и плакать
на несколько лет вперед —

ровно настолько, насколько
смерть была терпелива.
Потом она тоже сказала:
— Я ваша тетя, и все!..

Дальше я эту тему — почему мы, такие разные, сблизились — развивать не хочу. Наверное, это никому не интересно. Может быть, по ходу моих размышлений о том, чем в моей жизни был Анатолий Кобенков, это станет понятно само

собой. Тогда же, при первом знакомстве, остался в памяти молодой, даже юный парень, по Дмитрию Кедрину, «красногубый и чубатый». Не могу вспомнить, тогда или позже принес он мне школьное стихотворение, написанное отнюдь не учеником, про школьника, читающего Блока, про соседскую девочку Таню, про две двойки в дневнике… И другое — про то, как пахнет первая верба, про грача, который приходил смотреть скворечники, опять про эти несчастные двойки и про девочку, которую поцеловал этот мальчик, сам поцелованный Богом. От них так отчетливо потянуло запахами далекой даже тогда юности, школы, что сладостно защемило сердце. И сейчас, через полвека, когда я читаю эти стихи, во мне просыпается не только память, но и чувства — и я возвращаюсь в школу, которая с такого расстояния казалась еле видной, и она вновь оживает — с чернильницами-непроливайками, со стриженными под ноль затылками одноклассников (где они теперь?), с девочками, среди которых была одна, на которую хотелось смотреть и смотреть, но… встречаясь с ней глазами, я смущался, краснел и поспешно отводил взгляд. А уж поцеловать… Видно, мальчик Толя был куда смелее меня.

Обретения и потери

Что осталось в памяти довольно отчетливо, так это наша встреча после его дембеля. Помню, что мы сидели в ресторане «Ангара», видимо, это был обеденный перерыв, потому что никаких возлияний не было, даже пива (впрочем, именно пиво тогда было далеко не всегда и не везде). Это безалкогольное сидение запомнилось смачными рассказами про боевые будни воинской части, в которой служил рядовой Кобенков. Детали за прошедшие десятилетия забылись, помню только, что было там что-то, связанное не столько с библиотекой, сколько с библиотекаршей, и не вспомнить уже, почему довольно большое место в этих устных рассказах занимал солдатский духовой оркестр и при чем тут Толя. Музыкантом он не был, впрочем, чем черт не шутит — говорят же, что талантливый человек талантлив во всем. Но вот что довольно отчетливо, в деталях запомнил — это эпизод с пьяным солдатом, который ввалился на танцплощадку с гранатой в руках и уложил на не очень чистый настил танцпола всех — и девушек в нарядных платьях, и их бравых кавалеров, и музыкантов вместе с их трубами. От этих «боевых» воспоминаний в памяти осталось мажорное настроение молодого, раскованного рассказчика, только что оставившего казарму с ее мрачным, часто бессмысленным, а то и унизительным бытом.

Но все это были эпизоды в нашей пестрой молодой жизни, богатой на знакомства и общение, на вольный треп и серьезную работу, на многие открытия и первые горькие потери. Самая страшная из этих потерь обрушилась на наши склоненные головы, когда мы все вместе, как одна семья, пережили гибель Сани Вампилова. В серый дождливый августовский день Иркутск провожал в последний путь своего любимого сына, и взрослые мужики плакали, не стесняясь слез, а женщины просто рыдали. Несколько позже туда же, на радищевское кладбище, отправился и крестивший Толю в купели иркутской литературы Женя Раппопорт, который надолго, почти навсегда, подарил его Иркутску…

Едва ли Толя был близко знаком с Сашей Вампиловым. Но он хорошо понимал масштаб его таланта, широту и глубину его личности. Потому на уход Сани Анатолий откликнулся печальным, трогательным и мудрым стихотворением:

И отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с вами
полночь перешли,

Александр Валентиныч,
Саня — на часок…
Август спелой паутиной
холодит висок,

чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что глазницами — на поле,
а зрачком — в страну,

чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас…

И смеемся мы, и плачем,
зная наперед:
будет смерть, потом — удача,
не наоборот…

В те годы, в «молодежкинскую» эпоху на Киевской, 1, я мало, почти не помню Толю — мы существовали порознь. Вспоминается эпизод, связанный не с Толей даже, а с его стихотворением, которое называлось, кажется, «Лошадь» (сколько ни искал его сейчас по сборникам, в Интернете — не нашел).

К тревожным звонкам из типографии мы привыкли… Они, как правило, начинались одинаково: «Лито снимает…» Что такое лито — многие подзабыли, а молодежь, слава богу, не знает. Это чудище, которое было «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», имело, как подобает любому уголовнику, несколько кликух — оно называлось не только «лито», но и «обллит», кроме того, имело еще и родовое имя, длинное, неуклюжее и лукавое — «Управление по охране государственных и военных тайн в печати». На самом деле все, кто от этого зверя страдал, знали, что, по сути, оно должно называться одним коротким и всем понятным словом — «цензура».

Так вот, однажды в редакции раздался звонок и дежурный по номеру сообщил: «Лито снимает стихотворение Кобенкова “Лошадь”». Дежурный цензор говорит: ничего не знаю, решайте с Козыдло. Козыдло — такую замысловатую фамилию носил главный в области хранитель всех тайн, которые мы в каждом номере норовили разгласить. Звали его Николай Григорьевич. Он был пышноволос, белоснежно сед, черноглаз, страшно обходителен и лукав.

Я отправился в его очень секретные чертоги, благо они были рядом, только улицу перейти. «Голубчик, — заворковал он в ответ на мое недоумение, мол, какие тайны мы разгласили в стихах, — вообще-то я могу вам и не объяснять, есть у меня такое право… Но так как я к вам и к вашей газете хорошо отношусь, извольте… Ну как вы сами не видите? Вот эта строка: "Лошадь как памятник павшим…" Ведь это кощунство — сравнивать какую-то клячу с памятником павшим советским воинам». — «Позвольте, — попытался возразить я, — а где тут написано про советских воинов?» — «А каким павшим, если не советским воинам, у нас ставят памятники?» — парировал мой выпад главный цензор. «А почему вы решили, что это — у нас? — Дебри, в которые я сам себя загонял, становились непроходимыми. — Может, автор имел в виду погребения римских легионеров или солдат Наполеона?» Я, в общем-то, понимал, что горожу несусветную чушь, но остановиться уже не мог. С волками жить…

Словом, это была игра в одни ворота. Главный цензор постепенно включил все свое обаяние, усыпил меня, убаюкал, и я вышел за дверь даже умиротворенным. И только там, за дверью, сообразил — так ведь я ничего не добился!

Когда Толя спросил, почему его стихотворение не пошло, я ответил одним словом: «Козыдло…» Толя понял: в советской действительности все мы помнили пословицу про плеть и про обух. Но плети-то никакой не было, а вот обух был, да не один.

«Позови меня, родина»

Довольно долгое время мы с Толей почти не виделись. Но однажды наши дороги вновь пересеклись, и больше мы уже не расставались до его ставшего роковым отъезда в Москву. Я уезжал в Среднюю Азию, вернулся… Работал в области кинодокументалистики… Толя тем временем пришел в «Молодежку», где собралась хорошая молодая компания, от тех, с кем я успел поработать, остались, пожалуй, лишь Борис Ротенфельд, Олег Желтовский и Люба Сухаревская. Вот тогда и я, поскитавшись по стране и разнообразным конторам, сделал попытку снова войти в ту же реку. Правда, «река» стала несколько другой — газета лишилась клейма «Орган обкома ВЛКСМ», а заодно — возрастного ценза для сотрудников, потому мое возвращение стало возможным.

Я вернулся в свой кабинет заместителя редактора, который не без сожаления покинул двенадцать лет назад. А напротив, через коридор, за дверью с табличкой «Отдел пропаганды и агитации, литературы и искусства», работали два человека, ставшие мне родными — Люба Сухаревская и Толя Кобенков.

Девяностые годы обзавелись стойким эпитетом «лихие». Сейчас многие во всех бедах винят демократов, а также Горбачёва и Ельцина… Их клеймят за многое — за развал экономики, системы образования, здравоохранения и так далее. У меня на это есть другая точка зрения, я уверен — то, что с нами произошло, суть последствия господства тоталитарного строя, которые мы и сейчас не преодолели. Ведь хрестоматийных Моисеевых сорока лет еще не прошло, к тому же многомиллионный народ в пустыню не уведешь, никакой пустыни не хватит.

Но вот что в девяностых несомненно было, так это свобода слова и печати. Клятая цензура приказала долго жить, партийные надзиратели тоже исчезли, а про грядущий диктат тугих кошельков мы пока не догадывались, да и «красным пиджакам» было не до нас — до поры до времени. Правда, я, например, еще долго изживал в себе внутреннего цензора, он порой хватал меня за руку — это нельзя, то рискованно… Но более молодые коллеги купались в этой свободе, как в прохладной воде после жаркого дня.

Толя, несомненно, был одним из самых бесстрашных пловцов в этих водах. Еще и потому, что он и раньше, особенно в стихах, не очень оглядывался на власть. Разве что с иронической усмешкой, а то и с улыбкой посылая ее, власть, на три буквы. Однако это вовсе не значит, что власть не оглядывалась на него — смотри выше эпизод с Козыдло. Снова и снова листаю страницы его поэтических книг, нахожу в них что угодно — весны и осени, смешных и мудрых евреев, тихие улочки местечек, сотню дятлов и одного сверчка, непридуманного кузнечика, любимого пса, множество женщин… Но ни одного кивка, взгляда в сторону идеологии, ни одного намека на тех, кто столько лет правил нами… И никакого пафоса — он чужд его почти интимным интонациям, адресованным не столько холодному рассудку, сколько душе. Может быть, кому-то захочется усмотреть некую выспренность в строках, которыми кончается одно из его стихотворений: «Позови меня, родина, если что — позови…» Но чтобы понять, о чем эти слова, надо прочесть его целиком:

Лист легко и торжественно
превращается в дым…
Верю птицам и женщинам
и поэтам своим.
Верю детскому лепету,
я над ним не смеюсь,
я когда-нибудь к этому
непременно вернусь.
На смешном пароходике
на осенней реке
я проснусь возле родины
с сединой на виске.
Обниму ее, тихую,
и душой, и строкой,
с некрасивыми птицами,
с неизвестной рекой,
с тишиной огородною
и ромашкой в пыли…
Позови меня, родина,
если что — позови…

И где тут пафос? Он растворился в дыме от сгоревшего листа, его расклевали некрасивые птицы, заглушил детский лепет и огородная тишина, он отстал от смешного пароходика, утонул в осенней реке… Это место, где поэт родился и к которому он хочет вернуться с сединой на виске. Место, к которому все мы стремимся прийти, но не всем выпадает это тихое счастье.

Родина, которую теперь называют малой… А какая еще? Ясно, что это не та Родина, которую мы пишем с большой буквы, которой посвящены торже-

ственные гимны и парадные марши… Та, другая Родина — что-то неоглядное, неохватное, что если и можно любить, то только встав по стойке смирно, пытаясь не слушать дважды перелицованный гимн. А вот место, единственное для каждого из нас, требует внимательного, любящего взгляда и памяти, которая более всего присуща хорошим поэтам.

…Там кот любил любоваться мышкой.
Там уж вылакивал молоко.
И было грустно с хорошей книжкой
проститься враз, а с плохой — легко.
Там говорили, что жизнь — «что дышло»,
а вместо «срам» говорили «страм»,
и в каждом доме был коврик вышит:
над речкой храм, да и в речке храм.
Там пели мало, грустили множко,
случались смерти, гудела пьянь.
Там на окошках сидели кошки
и голубая цвела герань.
А девки там ну не то чтоб крали,
но все в них было — и там, и тут;
мы их хотели — с собою звали,
сперва откажут, потом придут…
Там я в учительницу влюбился
и написал ей: «Ай лав Вас эм».
Зачем я жил там? А так — родился.
Зачем уехал? А ни за чем.

И совсем интимное, задушевное… То, что недруги принимали за гордыню, дескать, ишь ты, при жизни себе музей соорудил!

До чего же я жил бестолково!
Захотелось мне жить помудрей:
вот и еду в музей Кобенкова,
в самый тихий на свете музей.

Открывайте мне дверь побыстрее!
И, тихонько ключами звеня,
открывает мне сторож музея,
постаревшая мама моя…

Пространство Кобенкова

Но вернемся в девяностые… Вновь обретенная мною «Молодежка», которая еще при мне переехала с Киевской на куда более респектабельный пятый этаж Дома печати на Первой Советской, почти полностью изменила облик как издания, так и сотрудников. Кроме того, долго копившаяся энергия, как пар, посрывала заглушки и вырвалась наружу. Позицию издания можно выразить словами из песни кумира молодежи Виктора Цоя: «Перемен, мы ждем перемен!» Перемены творились кругом, но этого было мало, мало! Газета выражала интересы и ожидания своих единомышленников, а их оказалось множество, и

потому это был пик существования «Молодежки» — тираж зашкаливал за сто тысяч.

Иркутская «Советская молодежь» во время августовского путча 1991 года встала на сторону противников ГКЧП, что было отважным поступком — никто не знал, куда качнется чаша весов, тем более что среди путчистов были руководители всех силовых ведомств. Слава богу, все пошло не по их сценарию… В эти серые, дождливые тревожные дни мы почти не уходили из редакции, ели что придется, спали где падали, много курили — натянутые нервы требовали хоть какой-то компенсации. Не все, конечно, в основном несколько человек, кто должен был брать на себя ответственность — редактор, заместители, ответсек. Толя не входил в этот круг, но он все время был с нами, готовый делать любую газетную работу. Не знаю, как другие, но я всегда ощущал его рядом, и от этого становилось легче… Я был в редакции старше всех по возрасту, и в эти дни постоянно думалось — если что случится, что будет с женой, детьми, внуками? Наверное, об этом же, о близких людях, думал и Толя.

Но, слава богу, эту тучу пронесло мороком. И мы оказались в другой стране, где можно было жить по-другому и дышать по-другому. Наконец-то каждый из нас мог определить себя в пространстве профессии самостоятельно, конечно, в рамках общей концепции газеты, но рамки эти были достаточно широки. Я, к примеру, поначалу несколько растерялся, не сразу понял, на что мне ориентироваться в этом новом для меня пространстве. Но скоро заработало воображение и подсказало несколько новых рубрик, в которых я, правда, исполнителем не был, скорее «организатором и вдохновителем». А исполнителями были молодые коллеги, в основном девушки — Ирина Леньшина, Елена Смирнова, Евгения Матапова, Ольга Куклина… Они резвились от души! Очень популярными стали розыгрыши, конкурсы двойников.

Но мы не только развлекались и развлекали читателя, серьезные темы, в том числе и политика, газете были не чужды. На наши «Прямые линии» охотно приходили не только руководители области — Ножиков, Яковенко, Говорин, но и политики российского масштаба. Первый из них — вы не поверите! — бывший генсек ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачёв, затем генерал Лебедь и Григорий Явлинский, офтальмолог Станислав Фёдоров, главная женщина России Екатерина Лахова, забытый нынче Николай Травкин…

А что же Толя? У него было свое пространство — это просторы Библии: благодатный уголок Эдема, а также древние территории Египта, Иудеи, Иордании, Сирии — практически всего Ближнего Востока. Он брел за Моисеем по Синайской пустыне с надеждой обрести землю обетованную… Вместе с рыбаками Андреем и Петром тянул тяжелые сети из глубин Генисаретского озера… Окунался в животворные воды реки Иордан… Стоял в толпе встречающих Иисуса Христа при входе в Иерусалим. Словом, он, человек православный, искренне верующий, давно и внимательно читавший Священное Писание, получил возможность на страницах газеты, которая еще недавно была комсомольской, поделиться своей верой и знанием, изложить христианские сюжеты в доступной для читателя форме. Рубрика «Дни лета Господня» жила довольно долго. А потом воплотилась в книгу, замечательно оформленную Толиным другом художником Александром Шпирко.

Но даже эта тема, которая кажется неохватной, была для Толи тесновата. При всей искренности веры он не был религиозным фанатиком. Библейские персонажи — Моисей, Иов, Иосиф и Мария, Иисус Христос, Андрей, Пётр, Матфей — были для него не застывшими ликами с икон, а живыми людьми. Он жил среди них, и они жили — в его стихах.

Я бы обнял тебя, убаюкал бы враз, но сейчас
возникает пейзажик, и длит расстоянье меж нами
час Марии, младенца, пещерного сумрака — час
Вифлеемской звезды над бредущими к свету волхвами.

Я не боле, чем плотник, за срубом сработавший сруб,
назаретский босяк, с молодухой намыкавший горя,
рогоносец от Бога, на Бога имеющий зуб —
оттого, что не голубь… Зачем, Гавриил, я не голубь?

Собирайся, Мария, наливай в свою грудь молоко,
желтой пяткой ударь в голубое ослиное брюхо!
И гора, и верблюд поскорее пройдут сквозь ушко
полустертой иглы, чем печаль через Богово Ухо:

авоэ-авоа… Вифлеем, коли можешь, прости
кровь твоих малышей… Как в прабабкиной песне поется,
авоэ-авоа… Я, конечно, могу их спасти,
а спасу Иисуса, Марию, себя, рогоносца…

Да, он был человеком верующим, воцерковленным, знал Священное Писание получше иных клириков. При этом вовсе не замыкался на догматах одной только православной церкви. Католический пастор отец Игнаций Павлюс, веселый человек с внешностью бравого солдата Швейка, был его добрым приятелем и частым гостем в Доме литераторов на улице Дзержинского. По просьбе сибирского католичества Анатолий Кобенков написал текст драматической мистерии «Благодарение Заступнице» (в театральной версии она называлась «Аве Мария»). Музыка была написана Владимиром Соколовым, постановку в новом католическом храме создал друг Толи режиссер Вячеслав Кокорин. Я был свидетелем этого события. Костел был забит до отказа, и отнюдь не только католиками, многие известные деятели иркутской культуры были там. Не буду давать никаких оценок, скажу только — для меня это событие стало самым глубоким эстетическим впечатлением начала нового века. После Иркутска мистерию увидели зрители Томска и Москвы, она вышла отдельным печатным изданием, ее благосклонно оценил папский нунций.

Мир Кобенкова, при всей его вере, не ограничивался только Священным Писанием. Толя знал не только столбовые дороги, но и проселки, тропинки и закоулки поэзии. Народные песни, частушки, в том числе и озорные, тоже были ему не чужие. Хороший анекдот, забористая байка — и это он, человек веселый, любящий хорошую компанию, застолье, красивых женщин, тоже способен был оценить — и ценил.

Было дело, я соорудил в «Молодежке» веселую «Завалинку» и надолго присел на нее. Тут же ко мне со всех волостей стали сходиться любители и знатоки

народных песен, частушек и анекдотов. Столько писем я не получал никогда — от этого моего занятия осталось четыре толстенные папки, тесемки на них невозможно было завязать. Наступило время, когда мне показалась, что я себя в качестве хозяина «Завалинки» исчерпал, и решил уступить место на ней Толе. Он это место принял охотно. И эти посиделки сразу стали другими. Если я ограничивался на каждой встрече одним жанром — песней, частушками или анекдотами, то Кобенков затеял веселую кутерьму — перемешал все, что было у меня, и добавил пословицы, поговорки, байки, брошенные мимоходом шутки, цитаты из речей наших вождей, которые, сами того не желая, подчас смешили народ так, что все юмористы отдыхали.

То, что Толя знал не только общедоступные апартаменты поэзии, но ее темные, до поры наглухо закрытые чуланы, подтвердилось тем, что тогда же, в начале нового века, он был одним из составителей сборника «Русская эротическая литература XVI—XIX вв.», в который вошла «цензурная», но в то же время широко известная практически всем, от школьника до партийного руководителя, поэма Ивана Баркова «Лука Мудищев». Она ходила в отрывках, в вольных переложениях, искаженная, ее относили к устному народному творчеству, приписывали многим поэтам, в том числе Пушкину, но имя истинного автора было известно немногим.

Открытое ее издание было не только сенсацией, но и поводом для попыток (безуспешных, к счастью) ущучить составителей, прежде всего Кобенкова. При ГУВД Иркутска тогда существовал комитет по защите нравственности, единственное, между прочим, такое подразделение в России. В народе его тут же назвали «полицией нравов». (Хотя какая полиция в состоянии укротить непредсказуемые российские нравы?) Вела иркутян к сияющим нравственным высотам дама с серьезными погонами подполковника милиции, но с несколько легкомысленной фамилией Черноусикова («Где вы теперь, кто вам целует пальцы?»), которая в поэзии, по некоторым наблюдениям, выше обожания виршей Эдуарда Асадова не поднялась. Предпринятое дамой-подполковником нападение на Кобенкова окончилось, кажется, боевой ничьей. А вскоре исчезли сами блюстители иркутской нравственности во главе с предводительницей.

Дорогой длинною…

А в 1998 году не стало и нашей любимой «Молодежки» — она слилась с желтой газетой «Номер один» и растворилась в ней. Мне, как и Толе, стало там нечем дышать, и мы ушли. Меня надолго приютило агентство «Комсомольская правда — Байкал», а судьба распорядилась так, что под этим гостеприимным кровом мы снова объединились с Толей в одном деле. Не скажу, что это была высокая журналистика и тем более литература, скорее ремесло и зарабатывание средств к существованию — мы писали заказные книги о делах и людях тех предприятий и территорий, которые способны были эти негоции оплатить. Разумеется, это было не творчество, а лишь применение таланта (который, как известно, не пропьешь). За эту работу мне как минимум не стыдно — она ничем не хуже газетной поденки, которой я занимался более полувека. Толя — поменьше, иначе как бы он написал свои двенадцать книжек, по Бабелю — двенадцать «петард,

начиненных жалостью, гением, страстью»? Мы писали очерки о свинарках и птичницах, о людях, которые производят майонез и маргарин, о работниках нефтебаз, о жителях Слюдянки и Байкальска, о тружениках почты. Пожалуй, о представителях этой старинной профессии, воспетой во многих песнях («Вез я девушку трактом почтовым…» и пр.), писать было интересно. К тому же эта работа свела нас с Толей в длинной поездке, которая осталась в памяти не столько событиями, сколько впечатлениями от общения.

Начиналась эта поездка хотя и буднично, но тревожно. Рано утром мы с Толей пришли в областное управление почтовой связи. Нам представили шофера, с которым предстояло одолеть расстояние от Иркутска до Тайшета, дальше — от Тайшета до Братска и обратно до Иркутска (только что подсчитал, сколько мы тогда проехали — получилось 1500 километров: такое же расстояние отделяет, например, Москву от Бухареста). Транспортное средство, которое было предоставлено нам, доверия не внушало — это был видавший виды «жигуленок» отнюдь не последней модели. Уж лучше бы мы ехали тройкой почтовой. Но особенно огорошил разговор с водителем, довольно молодым мрачноватым мужиком. Кто-то из нас спросил: «Ну как, подготовили машину к дальней дороге?» — «Когда? — ответил парень, не глядя на нас. — Меня только вчера на работу приняли». Мы переглянулись, но ничего не сказали, мечта о почтовой тройке стала еще привлекательней. Поняли — другого транспортного средства нам не подадут. Когда нет гербовой… ну, дальше вы сами знаете.

В общем, поехали. Вырвались из тесноты иркутских предместий, миновали Ангарск, Усолье, взяли курс на Черемхово. За ним Кутулик, поселок, в котором навсегда поселилась память о Саше Вампилове.

Нас встречали печальные, но праздничные — яркие, многоцветные — пейзажи умиравшего лета. Впереди предстояли свидания с несколькими «чулимсками» — маленькими притрассовыми городками и поселками, похожими на большие деревни — околицы их убегали в грибную и ягодную тайгу, в палисадниках доцветали астры, георгины, золотые шары, на скамейках сидели старики и старушки, катая в беззубых ртах заграничное слово «дефолт» — вступала в свои права тревожная осень 1998 года. Залари, Зима, Нижнеудинск, Куйтун, Тулун, Тайшет… Названия, родные для жителей Иркутской области, но такие непривычные для слуха приезжего. Городки и поселки, так похожие друг на друга, но каждый со своей особицей, а для кого-то, как Кутулик для Вампилова, единственные в судьбе… Все эти поселки и городки слились в памяти, перепутались. Так получилось, что встречались мы в основном с ветеранами, для которых беспокойная почтовая работа ушла в далекое прошлое, как и тяготы — длинные дороги почтальонов, ночные бдения телеграфистов у ненадежных аппаратов Бодо, муторные соединения междугородних телефонных разговоров…

Но у нас с Толей было еще время для общения — дорога и длинные вечера, чтобы говорить обо всем, от стихов Бродского и песен Высоцкого до реформ Ельцина и Чубайса… Слово «дефолт», тяжелое, как удар большого колокола, сопровождало нас, но если мы о чем и тревожились, то о всеобщей российской судьбе, о новом испытании, которое выпало людям. Наши личные судьбы не очень беспокоили, мы уже повидали всякое — и пережили. Это во-первых, а

во-вторых, терять нам было нечего, мы не накопили ничего. Были прогулки по тихим, почти безлюдным улочкам, вдоль домов и домишек, они молчали, затаившись, даже окна далеко не везде светились. В каждом поселке и городке мы находили церкви, старые и недавно восстановленные. В этих тихих храмах было тоже малолюдно, даже безлюдно, как на уличках. За стенами церквей молчали деревья, а на стенах их говорили иконы.

Я почти всегда останавливался на пороге. Толя проходил внутрь, с поклоном, перекрестившись. Мне врезался в память, как кадр из фильма, один его разговор с молодым священником. Не суть его, нет, я, как всегда, остановился поодаль. Однако наблюдал, как они встретились, трижды облобызались, а потом долго тихо беседовали. Этот разговор, который я видел с отдаления, показался мне похожим на иллюстрацию из Священного Писания — скупо освещенный храм, хотя свечи еще догорают, святые строго смотрят с икон, в центре этой композиции священник беседует с путником, пришедшим издалека.

Последняя точка этого отрезка пути — Тайшет. Здесь уже никакой благости и тишины, которые мы оставили в маленьких городах и поселках. Тишина, впрочем, была, но она вызывала тревогу. Это было молчание разбойничьей ночи. Такое впечатление усиливалось еще и тем, что работники почты успели сообщить нам, что прошлой ночью лихие люди начисто собрали обильный урожай с дачного огорода… районного прокурора.

В большой гостинице, где мы заняли два номера, царила гулкая пустота. Когда мы вышли на привокзальную площадь (она освещалась одним-единственным фонарем) и оглянулись на место нашего временного пристанища, в нем на все четыре этажа светилось кроме наших только одно окно.

Перрон тоже был скудно освещен — только светом из киосков. А в них, в этих киосках, среди прочей мелочи поражало изобилие ножей, больших и маленьких. Это были, наверное, кухонные и перочинные ножи, но они вполне могли стать орудием преступления. «А что, все логично, — мрачно пошутил Толя, — покупай ножики, а потом встречай пассажиров очередного поезда и — гоп-стоп, не вертухайся!»

Ночь, слава богу, прошла спокойно.

Солнечное утро все наши страхи и фобии сделало смешными. К тому же пришли несколько симпатичных женщин с местной почты, которые принесли нам не только нужные для работы сведения, но и довольно много домашней снеди и овощей, чтобы мы не голодали по дороге до Братска. Это примирило нас с городом Тайшетом, который вовсе не виноват в том, что мы посетили его в тревожное лето 1998 года, в эпоху перемен, которые, впрочем, в России никогда не кончаются.

От Братска до Покосного

Дорога до Братска ничем особенным не запомнилась, разве что завтраком на берегу речки, названия которой мы не знали. Да еще тем, что природа вдоль дороги менялась почти на глазах, как меняются кадры в кино — краски становились все роскошней. Нам повезло, мы застали тот краткий миг, который Пушкин определил как «пышное природы увяданье».

В Братске мы посетили здание главпочтамта, где нас ждали персонажи будущих опусов. Оттуда в гостиницу на ночлег, рано утром — в обжитые нами «Жигули». Взяли курс на Иркутск.

Без остановок не получилось. Наш конек, который выдержал такую длинную дорогу (не всегда ровную, кстати), вдруг зауросил: лопнула какая-то тяга. Судьба распорядилась так, что встали мы не где-нибудь, а у столба с табличкой «Село Покосное», а этот скромный населенный пункт когда-то был известен чуть ли не всей России благодаря песне Пахмутовой и Добронравова «ЛЭП-500»: «По ночам у села Покосного хороводят березки с соснами...»

До села кое-как дотянули... Был выходной, но наш молчаливый водитель где-то нашел смотровую яму, а также сварщика, который, на удивление, оказался трезвым. Спецы принялись за работу, а мы с Толей пошли бродить по селу. Оно оказалось довольно чистым, старинные дома не несли печати разрухи, дворики, в которые мы совали любопытные носы, были аккуратно прибранными. На лавочках сидели привычные старушки, стариков почему-то не было.

Но одного мы все же обнаружили. На лавочке около добротных ворот, украшенных резьбой и свежеокрашенных зеленой краской, сидел старичок, малый ростом, но широкий в плечах и в животе. Его большое лицо было ничем не примечательно, разве что здоровым загаром и роскошной, черной с проседью бородой. Внимательные, с хитроватым прищуром глаза мы заметили позже.

Он увидел нас сразу. Мы его тоже. Поздоровались первыми. Он вскинул на нас глаза, как будто прицелился.

— Здорово, здорово, — откликнулся старичок, показалось, что в свою роскошную бороду он спрятал усмешку. — Ну, садитесь, рассказывайте, кто такие, чьи будете.

— Да вот, ехали мимо, — ответил Толя, — да машина сломалась. Но для вас это не должно быть в диковинку, на тракте живете...

— На тракту, это верно, да только сейчас редко кто останавливается, эти иностранные машины несутся, глазом за ними не уследишь. А уж остановиться, словом перекинуться — куда там!

— А чего это, отец, — спросил я, — вроде выходной, а село как вымерло? Молодежи не видно. На лавочках одни старушки... Из мужчин только вас одного и встретили.

— Да откуда им, молодым, взяться, — охотно, как будто ждал этого вопроса, ответил старик, — чего им тут делать? Был леспромхоз, да сплыл — банкротом стал, раньше мы такого слова не слышали. Мужики все по городам разбежались, кто в Братск, кто в Тулун, кто и до Иркутска добрался. А мои ровесники почти все за околицей на погосте. Почему-то на нашего брата мужика мор нашел. С чего бы это, может, вы, городские, знаете? Девки, известное дело, в города за парнями, какие и сами по себе подолами помели. Остальные парни — кто спился, кто по тюрьмам... Некоторые тут допивают. Этим на улице неинтересно, разве что до лавки за бутылкой. А так дома квасят. Да их всех по пальцам можно пересчитать... У Решетниковых, третий дом отсюда, двое, одному, поди-ка, за тридцать, второму поменьше... У них в основном и пьют, все туда тянутся, как гуси. Вот через дорогу Санька Чертовских, на шее у матери сидит, здоровый балбес. Чуть подальше — Витка Колмаков, такой же бездельник. Да еще пара-тройка... И где только деньги берут — не работает ведь никто! Решетниковы — те материну пенсию пропивают. Кто в Братске, бывает,

приезжают на выходные родителей навестить. А так… В армию уйдут — никто не возвращается. И то — чего им тут делать?

— Но ведь была же тут жизнь, — в голосе Толи я почувствовал волнение, — вон и леспромхоз работал, и лэповцы стояли. Песню-то вся Россия знала — «По ночам у села Покосного хороводят березки с соснами». И вы, наверное, слышали…

— Слышали, как не слыхать, — взволновался и старик. — Да ладно бы только березки с соснами хороводили… А то ведь эти лэповцы тут такие хороводы водили… Молодые, шустрые… Всех девок, почитай, у нас перепортили, редко кого с собой увезли, в основном тут бросили, какие исчезли невесть куда. Дрались мы с ними, да разве нам, деревенским, с ними совладать? Да и больше их… Да ладно, вообще-то хорошее время было, — неожиданно разулыбался он, — это я уж так, по стариковскому делу разворчался. Девки — что девки? Они для того и приспособлены… Если у какой голова на плечах, та себя соблюдет. Если вертихвостки — чего об них зря язык трепать? Подраться парням — кто не дрался? Это уж совсем какой-нибудь мамкин сын… А так — каждый выходной в клубе танцы, песни, когда и какой концерт приедет… В общем, жизнь была… жизнь…

— А сейчас как живете? — спросил я.

— Да как, нормально живем, — успокоился он, — войдите во двор, посмотрите — все чисто, подметено, прибрано, огород содержим, курей, борова откармливаем, по осени заколем. Старуха вон что-то прихворнула, а так мы еще в силе. Пенсию получаем, когда овощей с огорода на тракт вынесем, продадим… Какая-никакая, а денежка. Сын в Братске инженером, не забывает, приезжает с семьей, с невесткой, с двумя мальчишками, большие уже. Когда деньгами помогут, когда по хозяйству… Да что там… Пойдем-ка лучше, мужики, во двор, там у меня стол на воздухе, а самогонка чистая, как слеза…

Я, грешным делом, испугался соблазна — всю дорогу без этого обходились, лучше бы не начинать. Но тут кстати наш синий «жигуленок» на дороге замаячил…

Дорога домой получилась грустной. Все больше молчали да дремали — поднялись рано. Только однажды Толя сказал: «Что же за страна у нас такая? Куда ни ткни, везде болит…»

Вот такая получилась у нас длинная командировка, как будто пол-России проехали. Потом я нашел у Толи стихотворение, в котором мне откликнулись эти дни на закате лета:

Станции, поселки, города,
я еще люблю вас иногда.

Мужичок, который с ноготок,
пятачок, который из-под липы
выглянет, и вот уж городок
запропал — ни закусить, ни выпить.

Свешусь с полки — спутаюсь с рекой,
спрыгну с полки — спутаюсь с другою,
поле овсяное под щекой,
поле аржаное под рукою…

Промеж тучек — ведра «журавлей»,
на заборах — ведра под посолы...
Станция: по рюмочке налей,
наливай по краешек: поселок.

Грудь раскрою — прыгайте сюда,
улицы, поселки, города.

Жить бы так, как этот, чтобы — с той,
думать так, как эта, чтоб — как эти:
с огурцами — в драповом пальто,
скараулив поезд на рассвете,
торговаться, выручку считать,
жмуриться, томиться недостачей,
жулить «Приму» и передыхать —
по макушку в радости собачьей.

Как горела и погасла «Зеленая лампа»

Настало время вспомнить о том, как мы жили в Доме литераторов имени Марка Сергеева по улице Дзержинского. Приступаю к этому с трепетом — это был один из самых гармоничных, счастливых периодов моей долгой жизни. Жаль, что он так быстро, так трагично закончился.

Когда Иркутскому отделению Союза российских писателей отдали этот солидный снаружи кирпичный особняк, внутри он был обшарпанным, холодным и неуютным. Если там до писателей жили какие-то живые существа, так разве что крысы, но и те, наверное, сбежали от бескормицы.

Тут, в этом безжизненном пространстве, неожиданно для всех выяснилось, что Толя, тонкая поэтическая натура, обладает еще и организаторскими способностями. Вскоре дом преобразился, стал уютным, щеголял современной отделкой, приличной мебелью, кажется, даже фортепиано появилось. К хорошему быстро привыкаешь, скоро все привыкли к уюту в доме.

Ухоженный дом, удобная мебель — все это хорошо, но, согласитесь, не главное — разве мало мы нынче видим книг, под яркой глянцевой обложкой которых — торричеллиева пустота? В том-то и дело, что эти стены ожили, наполнились содержанием. Сюда хотелось идти. Тут всегда было интересно. Неважно, был ли ты членом писательского союза или нет, в этом доме всем были рады, и каждый шел сюда с радостью, в предвкушении новых встреч, содержательного общения, ярких впечатлений. И всегда их находил. Гостеприимный дом задолго до знаменитых нынче Фестивалей поэзии на Байкале (организатором которых был опять-таки Кобенков) встречал поэтов Евгения Евтушенко и Юрия Кублановского, прозаиков Павла Крусанова и Михаила Кураева, кинорежиссера Евгения Цымбала... Проходили чтения имени отца Александра Меня, собирались редакторы литературных журналов Сибири и Дальнего Востока, шел серьезный разговор о работе поэтов и прозаиков. Это были гостевые встречи, которые создали известность Иркутскому отделению Союза российских писателей не только в нашей области, но и за ее пределами.

Это были, так сказать, события парадные. Но, может быть, даже больше грело душу постоянное задушевное общение, когда собирались люди свои, близкие… Ноги сами несли сюда, а расходиться не хотелось. Приходили наши любимые артисты Виталий Венгер и Виктор Егунов, и начинался веселый театральный треп — байки, анекдоты, вспоминались сценические накладки, курьезные случаи, которых так много в памяти каждого актера. Замечательный режиссер Вячеслав Кокорин являлся в окружении толпы молодежи — это был руководимый им курс театрального училища, и на маленькой площадке нашего дома затевалась такая кутерьма — творилась опера «Тараканище» на стихи Корнея Чуковского — то-то было весело, то-то хорошо! Артистичный, изящный композитор и музыкант Лёня Гефан предъявлял свои песни на слова Кобенкова, Хармса и даже древних китайцев — как же это было здорово, как много в них было всего — и мысли, и озорства, и грусти! Отец Игнаций заглядывал к нам на Рождество и пел замечательные польские частушки, понятные без перевода. И художники — как же без них? — выставки живописи и графики менялись каждый месяц, и было весело и легко открывать этот пестрый мир, к тому же тут же сидели его создатели, а мудрые искусствоведы растолковывали, что к чему… И за всем этим стоял Толя Кобенков, не один, конечно, вместе с основательным и серьезным Борисом Ротенфельдом, деловитой Людой Сенотрусовой… В общем, команда была дружная.

В этом же доме родилось дело, которое на несколько лет захватило и меня, — газета «Зеленая лампа». Этот светильник должен был освещать культурную жизнь области, это тебе не хухры-мухры! Начало было непростым, подозреваю, что простых начал вообще не бывает, разве что у каких-нибудь пустячных затей. Первое — никто из нас не хотел быть редактором, своей головной боли хватало. Но эта беда вскоре отпала, нашли топор под лавкой — вспомнили, что рядом с нами живет Геннадий Сапронов, занимается бизнесом и наверняка скучает по газете. Второе — буквально с первого номера нас стали учить жить и работать, как учил нас великий… не знаю кто, потому что величие Ленина к тому времени как-то померкло, а нового кумира создать не успели. Потому щучили как умели. А умели не хуже почившего в бозе обкома партии. Начиная с первого номера нам сразу устроили коллективное обсуждение, точнее сказать — распинание. Нас обвиняли во всех смертных грехах (и как только все они уместились на страницах небольшой газеты?). Причем большинство обвинителей газету не успели даже увидеть, не то что прочитать. Наиболее совестливые из них в этом признавались, что не мешало им пылать праведным гневом. Сейчас толком не помню сути этих обвинений, но за ними точно незримо стояло одно, но ужасное: «Не слишком ли много среди вас евреев?» Чистокровных евреев среди нас не было, преобладали «полтинники», но это, может быть, для наших родных антисемитов еще хуже.

Так мы жили — под пристальным оком недоброжелателей (среди них были и руководители областной культуры, те нас все перевоспитывали, как малолетних преступников) и гораздо более многочисленной группы людей, которым мы (наша газета, разумеется) нравились. А нам нравилась наша работа.

Ядро редакционного коллектива составили четыре человека — уже названный мной Геннадий Сапронов, Анатолий Кобенков, великий знаток литерату-

ры, драматургии и театра профессор Сергей Захарян и, как говорили и писали в куртуазные былые века, ваш покорный слуга. Сферы интересов поделили без споров. Сапронов, главный редактор, отвечает за все (он же фотограф и мой личный водитель — где вы видели таких редакторов?). Я — заместитель редактора, слава богу номинальный, без каких-либо административных функций, но главное мое дело — «Территория творчества» — развороты о культуре городов и районов области, о библиотеках и музеях, о народных театрах, живущих в глубинке (например, в Голумети). Кобенков — разумеется, поэзия и замечательные эссе о поэтах и художниках. Живопись и графику он знал так же глубоко и разносторонне, как и поэзию. И театр (впрочем, это была наша общая любовь и боль). Захарян — опять же и главным образом театр, литература в самом широком смысле этого слова, но и в очень узком тоже: Сергей придумал и вел рубрику «Только одно стихотворение». Кстати, это была своеобразная лакмусовая бумажка — Сергей зачастую находил одно достойное стихотворение даже у довольно средних поэтов, но у иных — при многих книжках и регалиях — не находил и этого одного.

Мы делали свою работу с удовольствием, а это такая редкость, когда занимаешься «литературой на бегу» (так назвал журналистику еще в позапрошлом веке английский поэт и культуролог Мэтью Арнольд)! Нам было хорошо вместе, мы не знали конфликтов и ссор, хотя, бывало, спорили, и довольно горячо.

Но был и ближний круг, и это тоже были наши друзья, близкие люди — Тэофиль Коржановский, Борис Ротенфельд, Виталий Нарожный, Любовь Сухаревская, Арнольд Беркович, Виталий Науменко эт цетера — много хороших людей было с нами.

Хочу пояснить, почему редактор Сапронов был еще и фотографом, и моим личным водителем. Мы с ним садились в его автомобиль и ехали — в Ангарск, Усолье, Кутулик, Залари, Куйтун, Тулун, Качуг, Жигалово, Усть-Кут (туда, правда, самолетом)… Выходя из машины, Гена брал фотоаппарат и снимал людей, о которых я писал. В Братске и Усть-Илимске высадились большим десантом — кроме нашей четверки еще Науменко и Людмила Сенотрусова.

В какую только глушь мы не забирались! Куда не ступала нога журналиста, а уж чиновника от культуры — тем более… В каждой таежной деревне, в каждом поселке и городке находились люди, творившие рукотворную красоту… Были женщины, в основном пожилые, которые собирались в холодных, брошенных клубах и пели старинные песни. А народные театры! В той же Голумети отплясали такую «Прибайкальскую кадриль», что хохотать устал.

И как же было обидно, когда главная начальница всей областной культуры заявила на пресс-конференции по поводу нашего закрытия (а они нас таки закрыли!), что мы ходим только по асфальту и что «газета стала местечковой».

Итак, они нас закрыли. Их можно понять — мы были у них как кость в горле. А кто же будет это терпеть, да еще и деньги платить этой «кости»?!

Нас закрыли, но мы не расстались. Виделись часто. Собирались вместе, говорили, спорили. Появились какие-никакие традиции. Ехали к Сапроновым на дачу, где Сергей жарил свои замечательные шашлыки. К Захарянам обязательно приходили второго января на прекрасные пельмени, которые делала мама Серёжи Дора Зеликовна. К нам собирались на мой плов, секрет приготовления которого я привез из Узбекистана вместе с двумя казанами.

Предстоящий отъезд семьи Кобенковых в Москву я воспринял как личную трагедию. К тому же очень опасался за сердце Толи. К сожалению, опасения оправдались.

О своем решении он сообщил мне буднично, как бы между прочим. Не помню, о чем был разговор, кажется, я его о чем-то просил, скорее всего, что-то написать. Он ответил: «Это придется делать уже в Москве». — «Ты в Москву едешь? Надолго?» — «Навсегда», — услышал в ответ. «Навсегда» — какое страшное, тупиковое слово! Слово, лишающее надежды…

Знаю, что ему было нелегко расставаться с Иркутском, с его людьми, улицами, деревьями, птицами… Не тогда ли написалось это отчаянное стихотворение, названное просто — «Иркутску»?

Не докричать — хотя бы домолчать…
Отныне нам и ласточка не сводня —
прощай, мой брат, ты волен убивать —
убей меня на Тихвинской сегодня:

ударь в под дых, швырни меня в фонтан —
пойдешь гулять и, в воробьином гвалте
гася свою тоску — пока не пьян,
узришь меня сквозь трещинку в асфальте…

Не домолчать — хотя бы докурить,
табачный дым не застит нам дороги…
Прости, мой друг, ты в силах хоронить —
я в силах умереть у синагоги —

шумну ступенькой, вышумнусь травой,
и ты, не медля, жизнь свою отладишь,
когда к Ерусалиму головой
я развернусь, приладив к сердцу кадиш…

Не докурить — хотя бы додышать
до двух берез четвертой остановки,
до… жизнь моя, ты мастер отпевать —
отпой меня на холмике Крестовки —

ссыпь в ладанку, держа меня в персти,
и, отлучив мой бренный дух от песни,
свой дух переведя, оповести
сестру и брата: двери мне отверсты…

Эти печальные стихи очень подходят пронзительно холодному февральскому дню, когда мы провожали его на иркутском вокзале. Было нервно… Нервничала Варя — никак не приходила провожать ее лучшая подружка. Это состояние передалось Ольге, от нее — Толе… И вот сели в вагон, но поезд все не трогался. Все слова были сказаны, одно только слово звенело в мозгу — НАВСЕГДА.

Наконец поезд медленно двинулся… Я шел за вагоном какое-то время, потом долго стоял на пронизывающем ветру. Поплелся на остановку. Город для

меня опустел. На одного человека. На Толю… А это гораздо больше, чем один человек…

Пришел домой. Было пусто и невыразимо грустно. Взял книжку Толиных стихов. Почти сразу нашел стихотворение, посвященное мне. Полное загадок. Прекрасных загадок, которые не надо разгадывать разумом. Только сердцем…

…и длинных свиданий густая и вязкая тина,
и встреч сквознячок, и заставы застолий — не тема
для старой гитары, скорее — для бедного тела,
которому — ночь на дворе! — а вина не хватило.

Возлюбим друг друга за рифмы, связавшие строки,
за жадные строфы, не знавшие ночи и страха,
за то, что для них начинаются новые сроки —
наточен топор и ни малой пушинки на плахе.

Возлюбим друг друга за реки, любимые нами,
за синее небо, любимое нами и ими,
за имя, к которому можно губами,
как будто к воде, прикоснуться: «Во имя…»

А потом был этот сентябрьский день. Полный солнца. Оно померкло, как только телефон принес черную весть. Не стало Толи. Как к этому привыкнуть? Он был всегда. Даже когда мы подолгу не виделись, я знал, что он — есть. В тот сентябрьский день я постарел сразу лет на десять.

Но надо как-то жить. Несмотря на потери, которые множатся… Может ли что-то утешить? Вряд ли… Разве что Толины строки, которые звучат как далекий голос флейты:

Разве дело в печали, которой я жив,
или даже в мотиве, которым я стар,
или в том, что я песенке сердцем служил,
а она убежала, от сердца устав…

И не в том эта боль, что прибилась ко мне,
и не в том, что могла бы прибиться к тебе,
а, наверное, в том, что в иной стороне
и с иной стороны я не стал бы иным…

Анатолий Кобенков… Толя… Ты немало оставил после себя на земле. Главное, что ты сам был, Толя. Спасибо, что ты был. Что ты есть.

Владимир ЗВЕРЕВ

«ГОРОД ОЖИЛ, СОВЕТ БЕЖАЛ, ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВЛАСТЬ...»

Выписки из дневника

Несмотря на вполне понятную субъективность, важнейшим источником для изучения Гражданской войны в Сибири являются воспоминания ее участников. Наряду с мемуарами белоэмигрантов, чаще всего это частные документы белого движения в форме дневниковых записей. К таковым относятся и записки штабс-капитана Владимира Владимировича Зверева, которые были обнаружены в Государственном архиве Красноярского края (ГА КК, фонд 64, опись 1, дело 739). Об авторе известно лишь то, что он являлся потомственным военным, участником Первой мировой и затем Гражданской войн. В отличие от его отца[1], известного генерала, погибшего в 1918 году, судьба В. В. Зверева остается неизвестной.

Рассекреченный еще в 1930-х гг., этот архивный документ представляет собой выписки из пока не найденного дневника Зверева, сделанные музейным работником А. К. Фефеловой[2]. Выписки предваряются сообщением о том, что извлечены они из 12-й тетради, которую автор начал 19 ноября 1917 года. Документ представляет собой машинописный текст объемом в 12 листов с оборотами. Судя по названию — «Выписки из дневника... о жизни в городе после свержения Совета и о захвате эвакуировавшихся большевиков» — создателей извлечения интересовала прежде всего изложенная автором информация о событиях в Красноярске после бегства представителей советской власти. Вторую часть архивного дела составляет «Дневник слухов» — авторский рукописный текст еще на 10 листах с оборотами. Совмещенные нами в одно целое соответственно хронологии, данные записи рассказывают о настроениях и поведении

[1] Отцом автора дневника был **Зверев Владимир Виссарионович** (1869—1918) — уроженец Полтавской губернии, в 1909—1911 гг. командир 3-й батареи 8-й Сибирской артиллерийской бригады (Минусинск), подполковник. С июля 1918 г. — инспектор артиллерии 3-го Уральского отдельного корпуса Сибирской армии, полковник. Генерал-майор с 5 августа 1918 г. Скончался от ран, полученных под Иркутском (по другим сведениям — от паралича сердца), в том же месяце. Погребен в Красноярске.

[2] **Фефелова Анна Константиновна** (1889—?) — уроженка г. Кургана Тобольской губернии, из семьи почетного гражданина. Окончила гимназию. Под псевдонимом Н. Аркадина печаталась в сибирских и пр. газетах, публиковала стихи в альманахе «Пробуждение». С 1917 г. — член партии социалистов-революционеров, член Курганского уездного исполкома, а с 1919 г. — член РКП(б). Проживала в г. Красноярске и заведовала отделом революции в краевом краеведческом музее. В 1935 г. исключена из ВКП(б) и арестована. Осуждена в октябре того же года за «контрреволюционную деятельность» на три года ИТЛ. Срок отбывала в Карлаге. В 1938 г. приговорена ОСО НКВД СССР еще к пяти годам заключения. Находилась в Мариинских лагерях. Реабилитирована.

лиц, окружавших автора и участвовавших в событиях, имевших место в Красноярске с января по июль 1918 г. Речь идет, во-первых, о мятеже Красноярского казачьего дивизиона и, во-вторых, об антибольшевистском перевороте.

Данные события, издавна вызывавшие жгучий интерес у всех, кто интересуется историей Сибири, получили сегодня в отечественной историографии новую оценку. Так, названное в советское время «сотниковской авантюрой» вооруженное противостояние енисейских казаков и советской власти — в современных публикациях подается уже в качестве одной из первых реакций российского общества на большевистскую политику расказачивания и свертывания демократических свобод. Приковывает внимание историков и краеведов и личность атамана Енисейского казачьего войска А. А. Сотникова[3], руководившего этим мятежом. А переворот, произошедший в июне 1918 г., который советскими авторами именовался не иначе как «контрреволюционным», сегодня некоторые краеведы называют «освобождением Сибири».

Между тем остаются вопросы, на которые хотелось бы получить более полные ответы. К примеру, интересной и незавершенной из-за недостатка сведений страницей истории является создание и деятельность антибольшевистского подполья, существовавшего в Сибири в первой половине 1918 г. и якобы готовившего этот переворот. Согласно появившейся информации, первые планы по организации вооруженных формирований строились офицерами военного отдела Временного областного совета еще в январе того же года. После разгона большевиками Сибирской областной думы созданные группы перешли на нелегальное положение и продолжили вербовку добровольцев в свои ряды. Спустя десять лет первым о сибирских «контрреволюционных» организациях того времени рассказал на страницах «Сибирских огней»[4] известный сибирский большевик В. Д. Вегман[5], сообщивший, что красноярская организация,

---

[3] **Сотников Александр Александрович** (1891—1920) — уроженец с. Потапово Туруханского края, из купеческой семьи. Учился на геологическом отделении Томского технологического института, участвовал в экспедиции в район будущего Норильска. Окончил Иркутское военное училище. Хорунжий Красноярского казачьего дивизиона. После февраля 1917 г. — член партии социалистов-революционеров, комиссар Красноярского Совета, командир казачьего дивизиона, начальник гарнизона железнодорожной станции, председатель гарнизонного Совета, атаман Енисейского казачьего войска. В декабре 1917 г. — делегат Сибирского съезда, председатель Военного комитета Сибирской областной думы. Возглавлял казачий мятеж. С июня 1918 г. занимался формированием кавалерийских частей Сибирской армии. Оставив военную службу, написал и опубликовал доклад «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды в связи с практическим осуществлением и развитием Северного морского пути» (Томск, 1919). В апреле 1919 г. переведен в Морское ведомство, в мае — гидрографом в Дирекцию маяков и лоций при Комитете Северного морского пути. С июня 1919 г. находился в экспедиции Сибгеолкома за Полярным кругом. В феврале 1920 г. арестован иркутскими чекистами, в апреле — передан Красноярской губчека, а в мае — приговорен к расстрелу. Реабилитирован.

[4] *Вегман В.* Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. — Сибирские огни, 1928, № 1 (январь — февраль), с. 135—146.

[5] **Вегман Вениамин Давыдович** (1873—1936) — уроженец г. Одессы. С 1890 г. — в народовольческих кружках, корректор ленинской «Искры», занимался транспортировкой нелегальной литературы в Россию. С 1896 г. — социал-демократ, участник первого и второго съездов РСДРП. С 1903 г. — большевик. В 1914 г. арестован, сослан в Нарымский край на вечное поселение. После февраля 1917 г. — в г. Томске, редактировал газету «Известия Совета солдатских депутатов», затем — «Знамя революции». Председатель Томского городского, потом губернского комитета РСДРП(б). С июня 1918 г. находился в заключении в Екатеринбурге. С 1920 г. — в Томске, редактор газеты «Знамя революции», затем — в Новониколаевске, чрезвычайный уполномоченный по организации Сибирского советского государственного театра оперы и драмы, один из создателей журнала «Сибирские огни». Возглавлял краевой Сибистпарт и Архивное управление, театральную комиссию, Комитет содействия строительству Дома науки и культуры. Редактировал большевистские издания, являлся одним из составителей указателя книг и журнальных статей «Революция и гражданская война в Сибири» (Новосибирск, 1928). Входил в редакционный совет Сибирской советской энциклопедии. Арестован в апреле 1936 г., погиб в августе того же года во время следствия.

которую возглавлял генерал Чудилин, насчитывала по одним данным 600, а по другим — не более 480 человек.

Возвращаясь в Красноярск после демобилизации из старой армии, бывшие офицеры испытывали немалые материальные затруднения. Недавний подполковник М. И. Мальчевский, чтобы прокормить семью, чинил ботинки. В городскую милицию пошли служить бывшие фронтовики — подпоручик В. Коротков, прапорщики К. Хороманский и В. Соловьёв. Дело дошло до организации артели поденщиков, состоящей из недавних офицеров, зарабатывавших на жизнь разгрузкой вагонов на железнодорожной станции. Но даже это занятие «товарищи» запрещали.

Вместе с тем бывшее офицерство начало консолидироваться. Полковник Б. Г. Ляпунов состоял в тайной организации с 20 апреля. Занимаясь созданием подполья, он объединил вокруг себя 37 человек. В литературе отмечалось, что бывшие офицеры составляли 40—50 % красноярских подпольщиков. Членами военной организации были полковник Б. М. Зиневич, подполковники М. И. Мальчевский и В. Я. Мезин, штабс-капитаны В. В. Воскресенский, И. М. Труш, Черемнов и А. В. Черкашин, подпоручики Бушинский, Добжинский, Н. и К. Соколовские, прапорщики Антонов, Головко, Пикулевич и Тихомиров. Ее первым военным руководителем являлся поручик или прапорщик С. П. Лысенко[6].

Этой организации приходилось существовать в городе, где позиции большевиков были безоговорочно сильны. Поэтому подпольщикам длительное время не удавалось наладить связь с другими центрами и приходилось соглашаться на руководство со стороны эсеров и областников-автономистов. Подпольный губернский комиссариат возглавлял, судя по всему, известный в Красноярске врач и общественный деятель областник Вл. М. Крутовский, его членами были социалисты-революционеры из числа местной интеллигенции Н. Н. Козьмин, П. З. Озерных и П. С. Доценко. Руководимое ими тайное сообщество постоянно находилось на грани провала. Одной из проблем подпольщиков являлась нехватка оружия, а также недостаток финансовых средств, из-за чего некоторые офицеры вынуждены были покидать город в поисках заработка. Возможно, замедлило самоорганизацию подполья и подавление казачьего мятежа, показавшее, что Советы церемониться с противником не будут. Играла роль и апатия бывших офицеров.

В апреле 1918 г. красноярская организация перестала действовать изолированно и стала подчиняться подпольному штабу Западного округа. Для налаживания связей в мае в Красноярск прибыли из Новониколаевска представители этого штаба А. Н. Гришин-Алмазов, П. Я. Михайлов и П. П. Белов. Поддерживаемые подпольным губернским комиссариатом, они сменили военное руководство красноярской организации, во главе которой встал теперь полковник В. П. Гулидов. С этого времени стала расти численность подпольщиков, появилось оружие. Так, однажды удалось, воспользовавшись

[6] В ответ на жалобу одного из краеведов о том, что не удается найти сведений об этом человеке, сообщаем: **Лысенко С. П.** был уроженцем г. Красноярска и окончил местную гимназию, затем учился в Киевском университете, во время Первой мировой войны постоянно находился на фронте, был неоднократно ранен. В Гражданскую, будучи ротным командиром, одним из первых среди красноярцев погиб на Восточном фронте, сражаясь с Красной армией. Торжественно похоронен в родном городе 21 ноября 1918 г.

В. П. Гулидов в чекистском застенке. Фото 1920 г. из следственного дела. Архив Управления ФСБ по Красноярскому краю

тем, что защитники советской власти не ночевали в казармах, похитить оттуда 40 винтовок.

Однако есть свидетельства и о том, что антибольшевистское подполье в Красноярске было выразителем настроений лишь некоторых кругов населения и не охватывало даже всего офицерства. Зная о существовании организации, но не испытывая симпатии к эсерам и областникам, многие так и остались в качестве идейных сторонников мятежа. Во всяком случае, посланец Вооруженных сил юга России генерал В. Е. Флуг, побывавший в большинстве крупных сибирских городов, красноярских подпольщиков вообще не заметил.

Обнаруженные в архиве Управления ФСБ по Красноярскому краю (АУ ФСБ. Дело П. — 23386) показания самого Гулидова на допросах в особом отделе ВЧК 5-й армии (май 1920 г.) сводятся к тому, что он знал — из разговоров с бывшими сослуживцами — о существовании некоей тайной организации, состоявшей из железнодорожных служащих, рабочих и бывших офицеров. Однако сам вступил в нее только после 15 мая 1918 г., т. е. за месяц до переворота, и лишь по приглашению вышеупомянутого Гришина-Алмазова. В этот момент численность офицеров-подпольщиков составляла 60, а затем выросла до 280 человек. Припомнил Гулидов и о том, что его помощниками были прапорщик Антонов, который осуществлял учет членов, штабс-капитан Черкашин и полковник (правильно: подполковник) Мальчевский, выполнявшие функции организаторов и руководителей своих «десяток». План действий организации должно было прислать вышестоящее руководство, оно же обещало выделить для инструктажа и указаний по конспирации генштабиста. При этом допрашиваемый счел необходимым подчеркнуть, что параллельно в Красноярске действовала и какая-то другая подпольная организации, членов которой он якобы не знал. Понятно, что Гулидов, спасая собственную жизнь, не до конца был откровенен с чекистами и всячески преуменьшал значительность своей деятельности.

Вероятно, в этом случае полезным будет обратиться к еще одному свидетельству. Оказавшись очевидцем событий, Зверев оставил свои впечатления об обстановке в Красноярске в то время и тем самым максимально приблизил читателей к самостоятельному прочтению истории.

* * *

Следует упомянуть, что в данных воспоминаниях содержится, конечно, небеспристрастный взгляд на события Гражданской войны. Принадлежа к определенному кругу красноярской общественной элиты, Зверев не только с

ненавистью относится к большевикам, но и предстает самоуверенным и где-то капризным молодым человеком, занятым не только поиском работы, но и развлечениями. В суждениях уже повзрослевшего на войне молодого человека вдруг начинает просматриваться мальчишеский максимализм. Зачастую он живет среди слухов, в изобилии курсировавших в компании, состоящей из близких ему лиц, в основном бывших офицеров, студентов, гимназистов, их родственниц и подружек. Подробно пересказываемые в дневнике многочисленные слухи чаще всего были ложными и настолько невероятными, что их здесь можно было бы и не приводить. Однако они лучше всего передают состояние общества и свидетельствуют об истинных переживаниях и стремлениях людей, зачастую готовых выдавать желаемое за действительное.

Изложенная автором информация расширяет наши познания о состоявшемся в Красноярске казачьем мятеже. Столкновение между казаками и местным совдепом было обусловлено не столько необходимостью разоружения одной из сторон, сколько целями политической борьбы, вызванной усилением большевистской власти. Все это, как рассказывает автор дневника, сопровождалось умалением демократических свобод, выразившимся в арестах политической оппозиции, закрытии газет и разгоне общественных организаций, а также в создании информационного вакуума, заполнявшегося народными выдумками.

По понятным причинам Зверев не рассказывает о деятельности городского антибольшевистского подполья, но зато свидетельствует о его наличии в Красноярске. Кроме того, он еще раз подтверждает известный тезис о неожиданности для всех произошедшего переворота, главной ударной силой которого явились чехословацкие легионеры, и осуществлении его относительно малой кровью.

Записи Зверева подтверждают и мнение о том, что офицерская организация была слаба, ее члены, кроме вероятного и обычного в таких условиях отрицательного отношения к большевистской власти, ничем конкретным и действенным не отличились. Автор, как и многие его сотоварищи, принял минимальное участие в свержении советской власти и установлении правления областников.

Экспедиция войск новой власти для преследования и задержания бежавших большевиков, в советской историографии называвшаяся «карательной», являлась, по мнению офицерской молодежи, лишь интересной «командировкой», цели которой были абсолютно законными и достойными.

Особую значимость для понимания исхода начавшейся вооруженной борьбы имеют утверждения автора о наблюдаемых им летом 1918 г. равнодушии обывателей и мягкости военной администрации. Данные тенденции, среди других, и привели белую власть к крушению.

В представленных здесь дневниковых записях нами была сделана существенная правка: явные грамматические ошибки исправлялись, в ряде случаев текст из-за повторов и многословия редактировался.

Александр Шекшеев

Выписки из дневника штабс-капитана Владимира Зверева

16 января 1918 г. В 12 часов [поступило] сообщение о готовящемся бое большевиков с казаками... Вечером настроение ужасное, зловещие слухи ползут среди... обывателей... Из Ачинска на помощь большевикам приехали 600, а из Канска — 450 красногвардейцев. По всем домам будут обыски с изъятием обнаруженного оружия. Мы, красноярцы, сидим на осадном положении; с 6 ч. вечера до 8 ч. утра никто не может выходить на улицу. У большевиков идут переговоры с казаками о разоружении последних, срок ультиматума оканчивается в 6 часов утра 17-го января.

17 января. Казаки уехали в 3 часа ночи в неизвестном направлении. Они [якобы] сказали большевикам, что если вам нужно нас обезоружить, то выходите за город, в чистое поле, там и берите наше оружие. Но мы знаем, что вам нужно не оно, а возможность устроить погром и свалить его на нас. Этого не будет. Хотя казаки и уехали, все знают, что с 9 ч. утра будут стрелять.

Говорят, что большевики разбиты под Иркутском. Семёнов идет на Красноярск, а за ним следом — союзники. «Наши» трусят. В Смольном неладно, по слухам, Ленин убит. С «нашими» по прямому проводу не разговаривают. Учредительное собрание заседает под охраной четырех полков. Казаки якобы обратились с декларацией ко всему енисейскому казачеству о мобилизации для борьбы с большевизмом. В городе арестованы 30 казаков и много офицеров.

18 января. <...> Городской голова говорит, что теперь война, раз казаки ушли из Красноярска, будет перенесена в губернию. Казаки «окопались» в с. Торгашино, разъехавшись по заимкам. Пленные немцы заодно с большевиками. Большевики у казаков все как есть увезли: постели, фураж, белье, кожи и т. п. <...>

19 января. Говорят, что казаки выехали из города по приказу Семёнова, а на помощь большевикам прибыл эшелон солдат из Омска. Будут ходить по квартирам и брать... В казармах у казаков была старинная икона Николая Чудотворца. Б[ольшевики] сняли с нее ризу и выкололи глаза. Сегодня 20 красногвардейцев ловили одного казака, а он как стегнет лошадь, да на них, они в сторону, он и ускакал, только шапку сронил. Весь народ хохотал. На берегу б[ольшевики] сильно укрепились, подойти страшно.

20 января. Казаки объявили ультиматум, завтра в 12 ч. начнется бой.

21 января. В Германии революция. Вильгельм свергнут с престола. Ночью казаки украли у «товарищей» две пушки. С фронта идет «буйный» казачий эшелон.

22 января. В городе масса арестов; арестован в полном составе Военно-промышленный комитет и много членов партии с.-р. (социалистов-революционеров. — *А. Ш.*). Казаки набежали среди бела дня в свои казармы, схватили на глазах красногвардейцев сахар и были таковы. Два чиновника переселенческого управления и один священник сошли с ума. Ленин убит, Троцкий арестован. 100 красногвардейцев пошли на казаков. В Николаевке [копают] окопы...

23 января. Говорят, что когда разгоняли Военно-промышленный комитет, то члены его вдруг запели «Мы жертвою пали». Им запретили петь, тогда они, выразив удивление запрещению петь революционные песни в «свободной»

России, запели «Боже, царя храни...». Из Томска идут неутешительные слухи в связи с недостатком там продовольствия. Аресты продолжаются, в тюрьме тесно, будут сажать в управу. На ст. Красноярск разоружены два эшелона казаков, возвращавшихся с фронта. Красногвардейцы у [управления] Ачинск[о]-Минусинской дороги реквизировали автомобиль.

26 января. Говорят, что исполком предъявил требование к купцам внести по 150 000 р. на уплату жалования красногвардейцам. Военное положение прекращено, и город переходит на «мирное» существование. Если купцы не дадут денег, их отправят в Ачинск на общественные работы. В Чите кончилось все благополучно, совет распущен и власть в руках комитета общественной безопасности.

27 января. Купцы исчезли. Только П. И. Гадалов[7] не скрылся и будто бы в ответ на требование большевиков о деньгах сказал им: «У меня на текущем счету всего 1500 р., все остальное в товарах; ставьте в магазины комиссаров и продавайте товары. Полученные от продажи деньги можете забрать». Рассказывают, что сына купца [И. Т.] Савельева заставили подписать чек за отца. Казаки будто [бы] уехали в Минусинский уезд.

Крутовский Владимир Михайлович

28 января. Говорят, что у Крутовского[8] был опять обыск, его хотели арестовать, да дома не было. Сегодня была большая демонстрация с музыкой и солдатами, по какому поводу, неизвестно[9]. На днях, по слухам, введут новое времяисчисление[10].

29 января. П. И. Гадалова будут отправлять в Ачинск на общественные работы. За него вступи-

[7] **Гадалов Пётр Иванович** (1867—1918) — уроженец г. Канска Енисейской губернии, из купеческой семьи. Окончил Московское коммерческое училище, Красноярскую гимназию. В 1907 г. наследовал красноярское отделение торговой фирмы «Иван Герасимович Гадалов и сыновья». Соединил торговый бизнес с промышленным производством. Потомственный почетный гражданин и гласный Красноярской городской думы. Меценат и попечитель. Член партии народной свободы (кадетов). В годы Первой мировой войны возглавлял Военно-промышленный комитет Енисейской губернии.

[8] **Крутовский Владимир Михайлович** (1856—1938) — из семьи управляющего прииском Енисейской губернии. Окончил гимназию, медико-хирургическую академию (1881). С 1884 г. — член партии «Народная воля», за революционную деятельность ссылался в Сибирь. Служил в Ачинске и Красноярске врачом. Инициатор создания бесплатной больницы, первых в Сибири курсов для подготовки фельдшериц и женской фельдшерско-акушерской школы в Красноярске. Принимал участие в организации и служил в «Обществе врачей Енисейской губернии». В 1898 г. ушел в отставку и посвятил себя частной врачебной практике и общественной деятельности. Председатель Красноярского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, редактор «Сибирских врачебных ведомостей» и «Сибирского медицинского обозрения». Один из создателей Красноярского подотдела Русского географического общества. В 1906 г. в административном порядке был выслан и с переселенческой экспедицией находился в качестве статистика в Уссурийском крае. С 1916 г. редактировал и издавал общественно-политический и литературный журнал «Сибирские записки». После февраля 1917 г. — председатель Красноярского комитета общественной безопасности и губернский комиссар. В январе 1918 г. избирался в состав Временного правительства автономной Сибири, в июне — Енисейского губернского комиссариата. Был министром внутренних дел и заместителем председателя Совета министров во Временном Сибирском правительстве. С отставкой находился в оппозиции колчаковскому режиму. В советское время занимался врачебной практикой, преподавал и директорствовал в фельдшерской школе, работал в Красноярском медицинском техникуме. Арестованный, скончался в тюремной больнице. Реабилитирован.

[9] Организацией парада «революционных» войск с музыкой советская власть отмечала свою победу над мятежными казаками.

[10] В. И. Ленин 24 января 1918 г. подписал декрет о реформе календаря, т. е. о переходе на григорианское времяисчисление, принятое в большинстве стран мира. Декрет предписывал считать после 31 января 14 февраля 1918 г.

Дом Гадалова

лись служащие его магазина. Начались аресты «областников». Сибирская областная дума, арестованная в Томске, сидит в нашей тюрьме. Говорят, братьев Севостьяновых хотели арестовать, а они доказали, что «большевики», и пришлось их оставить в покое.

14 февраля. По городу [ходят] упорные слухи о «мире», уже третий день, но телеграммы не выпускают о сем событии. Что-то не торопятся обрадовать «народ».

19 февраля. Носятся слухи, что Вильгельм взял десять русских городов и идет через Псков на Питер. Вот тебе и мир!

22 (9) февраля. По слухам, Петроград взят. Предполагается реставрация монархического строя при поддержке немцев. Несколько дней говорят о расколе в лагере большевиков...

24 (11) февраля. Питер и Киев взяты. Разогнана Ачинская городская дума, все население идет валом на собрание протеста.

25 (12) февраля. В Петрограде [на] Кузнецкой улице приготовлен дворец для Н[иколая] II. Он в Киеве, а не в Тобольске. Вильгельм в Петрограде и просит [царя] подписать мирный договор, но Николай отказывается, потому что у него ничего нет. Получена большевистская телеграмма «беречь советы»... Минусинск якобы взят казаками и очищен от б[ольшевиков]. Вчера Совет принимал гостей, солдат-большевиков с музыкой, а потом оказались казаки. Взята и Москва немцами.

26 (13) февраля. <...> Закрыта [газета] «Свободная Сибирь». В сферах исполнительного комитета какое-то смятение. Состоялось пленарное заседание совдепа по вопросу о мире. В чем дело — не знаем. Сегодня должен был заседать революционный трибунал по делу об эсерах, но заседание не состоялось, т. к. застрелился председатель трибунала Королёв. [Причина] неизвестна. Может быть, как честный человек, [он] понял, в какой тупик заведена Россия... его единомышленниками.

В управлении Ачинск[о-Минусинской железн]ой дороги скандал. После увольнения части служащих председатель Главного комитета Серов приказал [их] не пускать в управление. Когда часть их пришла, он грозил перестрелять «...эту сволочь». Купецкий вступился за служащую барышню и погрозил Серову кулаком, за что [был] посажен в тюрьму... [В ответ] большинство служащих заявило о том, что не станет посещать занятия... Администрация пригрозила, что в случае неявки... они будут преданы за саботаж революционному суду. [Тогда служащие] подали заявление [в Главный комитет и исполком] о своем желании работать, но просили избавить от самоуправства и угроз. Что будет дальше, увидим.

28 (15) февраля. <...> Инцидент несколько улажен, т. к. Вейнбаум[11] обещал устроить общее заседание исполкома совместно с администрацией и Главным комитетом дороги. Однако сегодня появился слух, что Серов с просьбой об аресте обратился в штаб Красной гвардии, причем говорят, что последний не особенно подчиняется Совету, находя, что Совет буржуазен...

3 марта. Слух о получении телеграммы такого содержания: СПб взят, Смольный сдался без боя, Алексей объявлен царем, регентом принц Гессенский, Львову поручено сформировать кабинет. Будто бы получена телеграмма по прямому проводу из Владивостока. Он взят союзными войсками, образовано Временное правительство из Львова, Родзянко и Брусилова. Благовещенск и Троицкосавск взяты... китайскими войсками. В Чите идет бой. Ленин идет в Красноярск, и самый большой бой будет здесь. Иркутск во власти Семёнова, большевики обезврежены.

5 марта. В воскресенье были всем домом у Садлуцких, а вчера с Лялей — у Разореновых... У них... бывает молодежь, можно иногда... развлечься.

9 марта. Ни утренних, ни вечерних [известий] сегодня не было, а слухи в городе самые животрепещущие. Утром определенно говорили, что Петроград уже взят, а вечером разнесся слух, что Япония и Америка объявили войну России. Интересное время переживаем. Надо полагать, в ближайшем времени много будет нового, в корне изменяющего положение дел.

10 марта. Умы города продолжает волновать слух о взятии Петрограда... Утверждают, что будет монархия. Неизвестен только глава: Алексей или Михаил? «Голубчик» (Ал. Павл. Ясенский[12]) снова интересуется Саянским заповедником.

11 марта. Был сегодня с А. П. у заведующего заповедником А. Г. Ленпа. Он произвел на меня прекрасное впечатление: солидный, дельный, педантичный и славный человек.

---

[11] **Вейнбаум Григорий Спиридонович** (1891—1918) — уроженец г. Рени (Бессарабия), из семьи статского советника. Окончил гимназию, учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1909—1910 гг. — член РСДРП(б). За агитационную работу среди рабочих подвергся аресту и отбывал ссылку в Енисейской губернии. В конце 1915 г. был амнистирован, служил в Томском банке. Осенью 1916 г. переехал в Минусинск, где работал в потребкооперации. После февраля 1917 г. — в Красноярске, избран членом Красноярского районного бюро РСДРП(б), работал редактором газеты «Красноярский рабочий». С августа — член и председатель губернского исполкома. Избирался членом бюро Советов Средней Сибири и ЦИК Советов Сибири. С декабря 1917 г. — нарком иностранных дел Сибири. В мае 1918 г. был вновь избран председателем губернского исполкома. Во время чехословацкого мятежа участвовал в переговорах с его руководителями. Вернувшись в Красноярск, бежал в составе совдепа и отряда красногвардейцев в Туруханский край. С разгромом советской флотилии в районе с. Монастырского скрылся, но был арестован и доставлен в Красноярск. 25 октября по приговору военно-полевого суда расстрелян.

[12] **Ясенский** — как следует далее из текста, подполковник и со второй половины июля 1918 г. начальник Управления артиллерии Енисейского района.

12 марта. По слухам, взяты китайскими войсками Чита и Нерчинск. Русское правительство организовалось в Пекине и оттуда с союзными войсками двинется в Сибирь.

14 марта. Говорят, что Троцкий и Ленин казнены через повешение. Союзники послали всем советам предложение сдаться без боя, иначе будет применена сила. «Наши» большевики решили сдаться союзникам. Для Ленина якобы готовится в Красноярске квартира — идет сюда...

Вчера был в театре... с нашей компанией, т. е. с Лялей, Марусей и Валей Разореновыми, Мишей Агеевым, Мишей Блохом, Ниной с Чеславом, Колей и Серёжей Садлуцкими и др. Сегодня вечером появился слух, что Временное правительство в составе Львова, Брусилова, Колчака и Родзянко потребовало от советов признания его власти и передачи ее на местах соответствующим лицам, т. е. комиссарам прежнего Временного правительства. За неподчинение этому все, не только власть имущие, но и просто состоящие в партии большевиков, будут объявлены вне закона и преданы смертной казни.

Неизвестный офицер с дамой. Красноярск. Фото из следственного дела. Архив Управления ФСБ по Красноярскому краю

18 марта. <...> Лазо требует подмоги под Читу... Но на предложение б[ольшевиков] идти на помощь никто не соглашается. Слух об ультиматуме подтверждается. Причем передают, что на собрании исполнительного комитета 2/3 голосов были за передачу власти выборным земским и городским самоуправлениям, как того требует ультиматум (я ошибся в прошлой записи). По слухам, десант союзников силою до 50 000 [человек] двигается с Востока. Видимо, союзники решили принимать свои меры.

28 марта. <...> Рассказывают, что на днях с «российского» поезда на вокзале сошли 2 господина в черных масках, сели на извозчика и поехали в исполком, куда пред этим никого не впускали, а их, видно, ждали. Как подъехали, так двери отворились и впустили их. Еще говорят, что в Благовещенске был бой и власть снова в «советских» руках. К Пасхе, по слухам, дадут по 10 фунтов крупчатки... Каждый вечер в городе стрельба и разбойные грабежи.

6 апреля. Вчерашним днем хлопотал по устройству на работу. В результате являюсь членом артели кирпичного завода. Вечером были с Лялей в городском театре... Шла «Мечта любви» в пользу Союза взаимопомощи бывших офицеров и их семей. Публики много и... вся приличная — демократов никаких не было. Из знакомых — Садлуцкие, Разореновы, Юрьева, масса офицеров, как

то: Разночинцев, Стива, Садлуцкие Коля и Серёжа, Шитников, Агеев, «сапожники» (артель сапожной мастерской «Трудсоюза») и др. <...>

12 апреля. Вчера утром приехал А. К. Смелков[13], которого мы все считали погибшим. В декабре [1917-го], увидев, что дивизион начинает большевизироваться, он решил его распустить, что с успехом и проделал, отпустив [всех] в отпуск по болезни... Был на вечере землемеров... только холостая компания...

25 апреля. 15-го был у Разночинцевых. Организовали артель из 30 бывших офицеров, судейских и акцизных [чиновников], хотели работать на кирпичном заводе около Николаевки. Для выработки устава и [согласования] условий с хозяевами завода, т. е. Обществом взаимного страхования, была избрана комиссия в составе мирового судьи И. А. Петрова, прапорщика Серебрякова, студента Яковлева и меня. Совещались мы несколько дней... В городском театре идут спектакли в пользу гимназии, фракции учащихся, сочувствующих партии эсеров. <...> Начали работать, делаем папиросные гильзы и продаем по 20 р. тысяча. Мне пришлось заняться изготовлением коробок.

27 апреля. Случайная встреча. Маме муку привез ломовой [извозчик] Алексей Семёнович Бибиков, бывший офицер из папиной бригады, служивший затем где-то, а окончивший службу командиром 2-й батареи 4-й артиллерийской бригады в чине подполковника.

10 мая. По слухам, Николай II скрылся, его караулят на всех станциях, говорят еще, что б[ольшевики] передали его Вильгельму. Приехали союзные консулы и требуют от совдепа оставить в покое пароходы, банки, имущество разных лиц. Чита взята Семёновым; он с 70 000 [солдат] идет на Иркутск, за ним Хорват. В Иркутске паника...

11 мая. Говорят, что под Петербургом [идет] большой бой, победа на стороне советских войск. В Иркутск привозят много раненых, а публику не выпускают ни на восток, ни на запад...

12 мая. В связи с похоронами Гадалова в городе появились слухи. Якобы выкопали его из могилы, сняли все, оставив только белье. Бриллиантовый перстень с пальца не могли снять, так отрезали с пальцем и еще булавку с галстука взяли. Какого-то техника схоронили, догола раздев, и могилу не закопали.

13 мая. Вечером 6-го к нам пришли Садлуцкие. Звонит телефон, зовут Колю. Говорит Домбровский. Кончился разговор, Коля предлагает мне одеваться и идти знакомиться к девицам Нахабиным. 7-го пил кофе с Мишей в кафе «Трудовое товарищество». На следующий день был выпускной вечер 7-го класса женской гимназии... Вечером 9-го наша компания была у Любецких, 10-го — у Майнгарда.

15 мая. Сегодня на базаре солдат продавал женское платье и башмаки. К нему подошла старуха и уличила его в продаже вещей умершей недавно дочери. Милиция нашла [ее] могилу разрытой — «вот ведь какой народ пошел».

25 мая. 15 мая [состоялась] свадьба сестры Ниночки. Вечером в саду с Серёжей Садлуцким и подпоручиком 2-й Чехословацкой артиллерийской бригады. 16, 17 и 21-го копал гряды в огороде. Всяческие деловые свидания, в т. ч. в кино «Арс». Последние дни некогда даже почитать. Весь день дела, а вечером — в сад, где встречаюсь с массой знакомых.

27 мая. Сегодня мне, что называется, повезло. Только я встал в «мучной хвост», как сейчас же с разных сторон пошли «рассказы». Ташкент взят бухар-

[13] **Смелков Алексей Капитонович** — полковник (1918). С января 1919 г. — генерал-майор.

Красноярский городской сад, где любило собираться бывшее офицерство

цами, Семипалатинск — чехословацкими войсками. Они идут на Омск. Мариинск взят. Там произошла такая история. Прибывший чехословацкий эшелон остановился на дневку. На следующий день чехи хотели уехать, но «товарищи» не разрешили... На третий день они потребовали проезд, уже угрожая оружием. Тогда один из красногвардейцев выстрелил и ранил двоих чехов. Ну... чехи как затрубят, и пошла резня.

28 мая. Красноярск с Томском отрезаны отовсюду. Завтра объявлять будут осадное положение.

9 июня. Опять не мог собраться писать... Время распределяется неудачно: нигде не служу, а до 20-ти часов занят, то табак приготовляю и режу, то дома убираю или что-либо делаю по хозяйству, вечером ношу воду в огород и иногда поливаю. В последние же дни, правда, дел было больше: надо было спрятать теплое платье, привести в порядок сундук с книгами... После же 20 часов хочется свежим воздухом подышать — иду в сад и там сижу часов до 23—24-х. И так день за днем. Снова мелькнула надежда на службу чертежником в конторе механического завода сельскохозяйственных машин Совета народного хозяйства, но ничего не вышло. Кормят завтраками, и тем дело ограничивается. Видно, и здесь все испортила вывеска «бывший офицер»...

Сегодня вечером остался дома... думал часов с 22 сесть за дневник, приготовился писать, но, увы, вернулись папа и мама. Имел глупость сказать, что в субботу пойдем на «Столбы». Сейчас же «охи» и «ахи» и уговоры не лазить... Не удержался сказать пару теплых слов. Настроение пропало. Теперь злюсь и пишу через силу. Наблюдая за собой, все больше убеждаюсь, что я совершенно не подхожу к семейной жизни. Великолепно чувствую себя лишь тогда, когда ко мне никто не пристает ни с советами, ни с просьбами... Как и прежде, невыносимы для меня всякий контроль и посягательство на мою свободу... Если

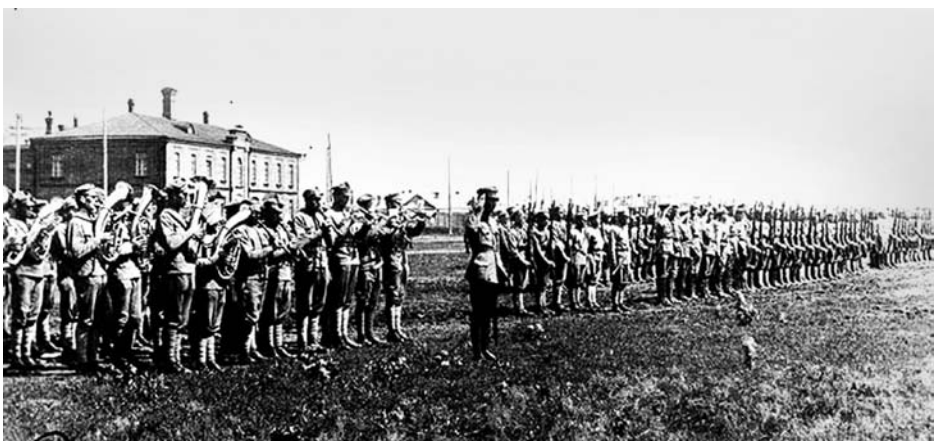
думать о том, что опасно, тогда опасно все на свете. Надо было меня с детства посадить под колпак, а не пускать на военную службу и тем более на войну, где я три года подвергался опасности... Впрочем, все это ерунда. Полагаю, что я велик настолько, что могу делать все, что захочу...

Просто невыносимо положение, в котором мы находимся давно... Теперь вот уже две недели, как оно еще более усугубилось. Началось... с учета офицеров. Затем очень тревожно стало в среду, 29 мая. Дело в том, что в понедельник, 27 мая, эшелонам чехословаков, стоявшим в Мариинске, Советской властью был предъявлен ультиматум сдать оружие... В ответ на это чехи выступили и свергли советы... Как пишет «Рабоче-крестьянская газета», деятельное участие в «восстании чехов» приняли правые эсеры, меньшевики и белогвардейцы. Положение дел точно неизвестно. Здешний совет не счел нужным говорить населению правду. Благодаря чему слухов масса, а сведения «Р[абоче-] к[рестьянской] газеты» явно тенденциозны. С уверенностью можно сказать, что в Новониколаевске, Мариинске, Канске и Нижнеудинске власть советов уничтожена. Отсюда были посланы делегации. В результате 4-го [июня] заключено перемирие на 6 дней... Настроение в городе... тревожное. Все чего-то ждут и боятся. Идут аресты бывших офицеров и вообще контрреволюционеров. У Садлуцких было два обыска в течение 3-х суток. Отсюда отправляют красноармейцев. Исполком выпустил воззвание о том, что власть советов в опасности, и потребовал вступления в ряды Красной армии. Но народ неохотно идет в ее... отряды. Слухов, самых вздорных, масса, тотчас опровергаемых и не подтверждающихся... 26-го бродил по саду в компании офицеров. 27-го побрил голову, вечером снова в саду.

Лето вступило в свои права. Жара страшная, дождей мало. За городом великолепно. Несколько раз ходил наниматься, а 29-го был на балу-спектакле в пользу увечных воинов... Мог бы еще очень много написать, но не пишу, хотя бы потому, что не могу быть уверен в неприкосновенности моих личных записок...

С Россией связи никакой... Сегодня прошел слух, что в Москве резня. Продолжаю знакомиться с книгами о путешествиях к Северному полюсу и о Северном Ледовитом океане...

13 июня. Перемирие с чехословаками продлено на 6 дней, т. е. до... 16 июня. В Томске власть советов свергнута. Там образовался Западно-



Чехословацкие легионеры

Сибирский Комиссариат Временного Сибирского правительства в лице Лансберга (М. Я. Линдберга[14]. — *А. Ш.*), Фомина[15], командующего войсками Западно-Сибирского военного округа полковника Гришина[16]. Издан приказ о мобилизации... «Рабоче-крестьянская газета» поместила к нему только комментарии... По поводу этого правительства пишется все что угодно и в понятном духе. Например, во вчерашнем номере написано, [что] начальником Западно-Сибирского штаба состоит известный монархист, бывший жандармский офицер, полковник Гришин. Алексей Николаевич попал в... монархисты и жандармы. Здорово!

<...> Службы нет. Вечером гуляем в саду.

---

[14] **Линдберг Михаил Яковлевич** (1889 —1938) — из семьи рабочего. Окончив училище, служил бухгалтером на столичном почтамте. С 1905—1906 гг. — член партии социалистов-революционеров. Занимался революционной деятельностью среди столичных пролетариев, подвергался аресту. В 1910 г. сослан на три года в Нарымский край. Освободившись из ссылки, служил бухгалтером в кооперации Мариинского уезда Томской губернии. Один из организаторов Сибирского союза социалистов-революционеров. Принадлежал к фракции интернационалистов-максималистов. После февраля 1917 г. — в Мариинском комитете общественной безопасности, член уездного исполкома и Томского губкома ПСР. Избирается депутатом Всероссийского Учредительного собрания и Сибирской областной думы. С ликвидацией этих органов — уполномоченный Временного правительства автономной Сибири, его представитель в Западно-Сибирском комиссариате, который занимался подготовкой антибольшевистского восстания. После его осуществления — один из руководителей Комиссариата по временному управлению освобожденными районами и член Сибирской областной думы. Во время нахождения в Мариинске обвинялся в подготовке антиправительственного заговора и подвергался аресту. В феврале 1919 г. вышел из состава Сибирского краевого комитета ПСР. Один из руководителей воссозданного летом 1919 г. Сибирского союза социалистов-революционеров, стоявшего на платформе Всероссийского Учредительного собрания. В декабре того же года занимался переходом власти в Иркутске к Политцентру. После установления власти большевиков перебрался на Дальний Восток, где весной 1920 г. стал председателем военного совета Приморской земской управы. В 1922 г. проживал в Харбине. После Гражданской войны занимал ряд ответственных административных постов в Дальневосточной республике, вышел из состава ПСР, с середины 1930-х гг. служил заместителем начальника планово-финансового сектора Всесоюзного радиокомитета при СНК СССР. В октябре 1937 г. был арестован и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в марте 1938 г. расстрелян. Реабилитирован.

[15] **Фомин Нил Валерианович** (1889—1918) — из семьи ремесленника, переехавшего в столицу. Окончил гимназию. С 1905 г. — член партии социалистов-революционеров, работал в пролетарских организациях Санкт-Петербурга, несколько раз задерживался полицией. Учился в столичном университете. Арестованный, в 1911 г. был сослан на территорию Енисейской губернии. Незадолго до февраля 1917 г. поселился в Красноярске и начал работать в системе сибирской кооперации. Руководитель центристской группы эсеров-интернационалистов, член Предпарламента и Всероссийского Учредительного собрания. Был членом Сибирской областной думы. После ее разгона большевиками вошел в состав правления Сибирского кооперативного союза «Закупсбыт» и служил заведующим его отделом. Сотрудничал в журнале «Сибирская кооперация», редактировал газету «Власть народа». При осуществлении антибольшевистского переворота — заведующий военным отделом Западно-Сибирского комиссариата, его уполномоченный в Красноярске, Иркутске и на Дальнем Востоке. Способствовал установлению на местах земского и городского самоуправления. Участвовал в Уфимском государственном совещании, вошел в состав Комуча (Комитета членов Учредительного собрания). Во время правительственного кризиса выступал против устранения от власти министров-социалистов. Как приверженец парламентской демократии, ушел в оппозицию к колчаковскому режиму. В ноябре 1918 г. был арестован в Челябинске и заключен в омскую тюрьму. Освобожденный восставшими рабочими, тут же добровольно вернулся в тюрьму, откуда его в ночь на 23 декабря вывезла и зверски убила группа офицеров.

[16] **Гришин-Алмазов (Гришин) Алексей Николаевич** (1881—1919) — уроженец Тамбовской губернии, окончил Воронежский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С апреля 1915 г. — командир батареи, дивизиона 10-й Сибирской артиллерийской бригады, подполковник. Награжден орденами Св. Георгия IV степени, Св. Анны IV и III степени, Св. Станислава III и II степени. Уволенный из армии, с конца зимы 1918 г. — в Новониколаевске. В апреле того же года — начальник главного штаба вооруженного подполья в Сибири. В мае 1918 г. участвовал в захвате власти, командовал войсками Омского военного округа, полковник. Управляющий Военным министерством Временного Сибирского правительства и командующий Сибирской армией, с июля 1918 г. — генерал-майор. Принимал участие в первом и втором совещаниях Комуча, Временного Сибирского правительства в Челябинске. Конфликтуя с союзниками, подал в отставку и с сентября 1918 г. находился в Добровольческой армии, выполнял поручения Деникина. Военный губернатор Одессы, командующий войсками Одесского района. В апреле 1919 г. командирован во главе делегации к Колчаку. Пересекая Каспийское море на пароходе, у порта Александровск был захвачен советской военной флотилией, застрелился.

15 июня. Живем исключительно слухами, самыми разнообразными и невероятными. Чехословаками захвачена вся линия ж[елезной] дороги от Пензы до Иркутска. А. Окулов идет защитить Советскую власть в Красноярске с... войском... В Томске... исполком забрал оружие и деньги в банке, сел на пароходы и уехал вверх по Оби... В Минусинске был разогнан съезд крестьян, настроенный против большевиков. Созывается другой съезд. Крестьяне решили каждого избранного депутата посылать под охраной 15 вооруженных человек. Говорят, что все пароходы в Минусинске арестованы. В Ачинске большинство населения за белогвардейцев. Жители Канска просят чехов не уходить из города, с ними спокойнее. Среди публики, узнавшей о постановлении исполкома и боевых действиях под Красноярском, волнения. Больше всего боятся погрома. Говорят, что ночью будут повальные обыски.

16 июня. Сегодня утром окончилось перемирие, и теперь, следовательно, идет бой между советскими войсками с одной стороны и чехословаками, белогвардейцами и войсками Томского правительства — с другой... По городу ходят слухи, [что] на заседании исполкома решение «бороться до последней капли крови» имело большинство всего в два голоса. Вейнбаум, как человек... интеллигентный и рассудительный, находя сопротивление бесполезным, упрашивал [большевиков] сдать власть. Наиболее ярым противником его явился командующий войсками Марковский[17], который заявил, что «пусть в Красноярске камня на камне не останется, но я власти не сдам». Б[ольшевики] все пароходы задерживают в Красноярске.

В городе тихо... Позавчера имел удовольствие видеть в кафе Марковского. Сегодня в газете его приказ о том, что все граждане должны сдать имеющееся у них оружие в исполком. Несдавшие будут немедленно отправлены на фронт и окопные работы. Папа с полчаса назад понес туда старую шашку и спросит, надо ли сдать кортик...

17 июня. Вчера вечером после 20-ти собрались мы, как всегда, в саду подышать свежим воздухом. Играла музыка, народу довольно много. Около 23 часов по городу развесили приказ о введении с 12 часов ночи с 16 на 17-е [июня] осадного положения. С 8 часов вечера не разрешается быть на улицах, а с 9-ти — должен быть потушен свет или плотно завешены окна. Большевики все золото и деньги из банков увезли на пароходы[18]. Провизию тоже заберут.

18 июня. Сначала про «вчера», потом про «сегодня». Вчера утром я был у Блоха, где услышал, что с ночи большевики усиленно грузят на пароходы муку,

---

[17] **Марковский Тихон Павлович** (1885—1918) — прапорщик 31-го Сибирского запасного стрелкового полка, дислоцированного в Красноярске. После февраля 1917 г. был избран солдатами в местный совдеп. С октября того же года — товарищ или заместитель председателя Красноярского Совета, член Соединенного губернского исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Большевик. 29 мая 1918 г. назначен губернским исполкомом командующим вооруженными силами Енисейской губернии. Раненый, эвакуировался с совдепом в Туруханский край. Арестован, доставлен в Красноярск и зверски убит казаками.

[18] В ночь на 17 июня отряд из 60—70 красногвардейцев во главе с товарищем председателя Енисейского губисполкома В. П. Демидовым, заведующим его финансовым отделом М. П. Замощиным и директором Русско-Азиатского банка Э. Я. Шульцем вывез из Красноярского отделения Госбанка 165 слитков золота весом более 34 пудов, 32,3 млн руб. кредитными билетами, 400 тыс. руб. серебром, 100 тыс. руб. казначейскими знаками и на 1185 тыс. руб. процентных бумаг.

сахар, керосин и т. п.[19] Мама слышала от служащего Госбанка, что на «Сибиряка» погружены все ценности, как то: золото, кредитные билеты, процентные бумаги. Муку и сахар грузили в громадном количестве. Телефоны не работают. Катера... не ходят, плашкоут поставлен у здешнего берега и охраняется Красной гвардией. Минирован и подготовлен к взрыву железнодорожный мост. Часов после 6-ти вечера я пошел в сад, где видел кое-кого из бывших офицеров, [а также] Шуру и Аню Ерофеевых. К 8 часам, исполняя приказ об осадном положении, прибыл домой...

Сегодня с утра распространились слухи, что семьи власть имущих уезжают на пароходы. В городе спокойно. Магазины открыты. Публики масса. Патрулей не видно. Все возмущаются увозом [большевиками] продовольствия и подготовкой [их] к бегству. До вечера никаких новостей. В течение дня со всех сторон прибывают раненые и рассказывают: «У чехов оружие, и бомбы, и гранаты, бьют нас как хотят, а у нас бомб и гранат нет, некому командовать, куда нам с чехами сражаться». Наивные дураки, неужели... регулярное войско, каким являются чехословаки, могло походить на вооруженную банду, которую представляет из себя красная армия. Прибывшие из-под Клюквенной рассказывают, что чехи захватили всю их артиллерию, а пехоту загнали в болото, откуда часть с трудом вылезла. Раненых — масса. Кроме того, сегодня появилось много бежавших с фронта. В городе осадное положение... Большевики приготовили пароходы. Чехи в 6 верстах от города, а в мастерских волнение.

Что должно было случиться — случилось. Часов в 18-ть придя в сад, [узнал], что железнодорожники потребовали немедленного возвращения ушедшего «Сибиряка» и разгрузки всех запасов. «Сибиряк» уже вернулся и находится под контролем железнодорожников, так же как и пароходы с продовольствием. В исполкоме непрерывно присутствуют железнодорожники, наблюдавшие за тем, чтобы большевики не пытались снова отправить пароходы... Уходил я из сада в [половине] 8-го, а публика и не думала [расходиться], наоборот, приходило все больше и больше. Исполком выпустил сегодня [воззвание], в котором просил граждан не верить «провокационным» слухам о погрузке продовольствия, объясняя факт погрузки части [его] (грузили весь сахар, 40 000 пуд. муки) необходимостью послания в Туруханск. Интересно только, почему Туруханск так внезапно заголодал, что в воскресенье пришлось отправить катер за «Соколом», ушедшим на гуляние в скит. Причем «Сокол»... ушел весь во флагах, а возвратился без них. Мировой судья говорил мне, что завтра из тюрьмы выпустят политических арестованных. Не разберешь, в чем дело. Ясно только одно — последнее издыхание власти, мечущейся, растерявшейся, противоречащей самой себе. Посмотрим, что принесет завтра.

19 июня. Сегодня будет бой и стрельба по городу. Б[ольшевики] золото и припасы увозят от чехословаков... Увезут — поминай как звали! В 7 ч. вечера город ожил, Совет бежал, появилась новая власть...

1 июля. <...> Это «завтра» принесло так много, что всего и не упомнишь и не в состоянии записать. Одно важно — дышишь теперь свободно, полной грудью, не ждешь ни обысков, ни арестов, чувствуешь себя таким же гражданином,

[19] На пароходы были погружены кроме всяческого имущества 10 011 пудов муки, картофеля, сахара, крупы, мяса и пр. продуктов, а также 2,5 тыс. пудов фуража.

как другие. С вечера 19 [июня] в Красноярске развевается бело-зеленое знамя с надписью «Да здравствует автономная Сибирь». Большевизм пал, как падает предмет, подвешенный на гнилой веревке. Теперь в Сибири власть областников — членов Сибирской думы и Учредительного собрания.

12 дней напряженной работы и днем и ночью — это главная причина того, что до сих пор на этих страницах не отмечено ничего... радостного... приятного для каждого здравомыслящего человека, хоть мало-мальски любящего свою несчастную, опозоренную, заплеванную Родину. Столько впечатлений, встреч, разговоров, что прямо не знаешь, с чего начать. Хочется изложить все подробнее и повернее, но вместе с тем сам за себя не ручаешься, да и глаза слипаются после целого дня писанины, разговоров, беготни и т. п. Придется отложить описание событий до благоприятного момента, буду брать тетрадь в штаб, там между работой найдется время для писания.

2 июля. Опасность обысков и выемок при большевистской власти совершенно не позволяла писать о том, что предпринималось некоторыми организациями для свержения самодержавия большевиков. Областники не дремали и быстро создали организацию, вполне тайную, в состав которой в роли боевых членов... попало почти все офицерство. Задержка в выступлении одновременно с Томском произошла потому, что здесь сравнительно поздно организация начала работать, а главное, очень туго подвигалась добыча и покупка оружия... До 19 июня положение... было напряженное до максимума. Большевики, отлично зная, в чем дело, боялись за свою судьбу, мы боялись арестов, самосудов и расстрелов. 18 и 19-го особенно стала чувствоваться наша сила.

День переворота прошел так[20]. Утром главари нашей организации приказали нам прибыть в сборный цех железнодорожных мастерских, где собирался митинг по поводу вывоза исполкомом ценностей и продовольствия на пароходы. Пришли. На митинге Марковский. Разговоры, как всегда, и шум. Хотя я и был в демократическом виде, но на брюках остался кант, что и послужило поводом к изгнанию меня из цеха. Только что я вышел и пошел по Всесвятской, как в цехе раздались сначала выстрелы, затем разрыв ручной бомбы. Как выяснилось уже потом, стрелял Марковский, а затем стреляли в него и ранили в плечо. Митинг, понятно, разбежался; в ближайшем к мастерским районе жители стали закрывать ставни и прятаться.

[20] По другим данным, антибольшевистский переворот в Красноярске происходил следующим образом. Начавшееся отправление флотилии с грузом ценностей и продуктов в сопровождении отряда красногвардейцев (от 400 до 600) вызвало негодование рабочих. На собравшемся 18 июня в железнодорожных мастерских четырехтысячном митинге рабочие попытались выяснить у советских руководителей суть происходящего. В ночь на 19 июня находившиеся в Красноярской тюрьме военнопленные освободились и сформировали отряд, захвативший железнодорожный мост. Утром 19-го в железнодорожных мастерских с участием прибывших эсеров и участвовавших в погрузке красногвардейцев вновь состоялся митинг рабочих, которые потребовали у большевиков объяснений по поводу вывоза ими ценностей и продуктов. Стреляя и бросая гранаты, советские деятели бежали, а рабочие, создав штаб, двинулись в город. Во время погрузки около десяти человек с пулеметом начали стрелять по пароходам со двора реального училища. Водопроводно-электрическая станция и городской бульвар были захвачены офицерами, рабочими и студентами. Прикрывавшие отход большевиков конные патрули и красногвардейцы на автомобиле разогнали митинг и очистили от восставших захваченные ими места. В свою очередь офицеры, обстреливая уходившие пароходы, убили 2 красногвардейцев. За день в больницы города были доставлены трое убитых, двое раненых, в военный лазарет — еще столько же раненых. 20 июня помещение исполкома опечатали. При этом был обнаружен труп П. Г. Замятина, бывшего комиссара одного из отделов, арестованного и убитого большевиками.

Часов до 17-ти положение было неопределенным, [затем] прибежал Воскресенский[21] и потребовал нас (отца и меня) к Гулидову[22] в д. Либмана, кв. Н. Н. Козьмина[23]. Оказывается, что большевики бежали, бросив город. Таким образом, нам не пришлось брать их с боя. Настроение у всех поднялось сразу. Немедленно освободили политических заключенных. Явился оттуда член Временного правительства Якушев[24]. У Козьмина собрался весь губернский ко-

---

[21] **Воскресенский В. В.** — штабс-капитан, в 1920 г. находился в Красноярске, арестован чекистами. Скорее всего, расстрелян.

[22] **Гулидов Владимир Платонович** (1876—1920) — уроженец Одессы, из мещан. Окончил Одесское городское и юнкерское училища. Военную службу начал в 1894 г. вольноопределяющимся. С окончанием училища служил младшим офицером в 55-м Подольском полку (г. Бендеры, Бессарабия), затем во 2-м Владивостокском крепостном пехотном полку. В 1905 г. переведен в Красноярск, где служил в 30-м Сибирском стрелковом полку. Участник Первой мировой войны, был ранен, награжден Георгиевским оружием. Полковник. С ноября 1916 г. командовал 59-м Сибирским стрелковым полком, затем бригадой 15-й Сибирской стрелковой дивизии. Весной 1918 г., вернувшись в Красноярск, возглавил антибольшевистскую подпольную организацию. С июня 1918 г. — начальник Красноярского гарнизона, затем командовал дивизией. С мая 1919 г. — генерал-майор. Летом и осенью 1919 г. сражался с большевиками на Семиреченском фронте. В декабре назначен командующим войсками Минусинского фронта. 3 или 5 января 1920 г. вместе со штабом сдался Красной армии. В марте того же года был арестован и передан в особый отдел ВЧК 5-й армии, а в мае приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован.

[23] **Козьмин Николай Николаевич** (1872—1938) — уроженец г. Красноярска. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1896). Служил чиновником в Иркутске и Красноярске, являлся управляющим земельными и государственными имуществами Енисейской губернии. С 1914 г. возглавлял Красноярское отделение Русского географического общества. После февраля 1917 г. — активный член партии социалистов-революционеров, участвовал в работе Сибирских областных съездов. С разгоном большевиками Всероссийского Учредительного собрания и Сибирской областной думы участник красноярского подполья. После антибольшевистского переворота 1918 г. был членом комиссариата Енисейской губернии, товарищем, или заместителем, министра земледелия Временного Сибирского и Российского правительств. В 1919 г. работал в правительственной комиссии по подготовке проекта автономного устройства Сибири. С крушением белого режима эмигрировал в Китай и некоторое время проживал в Харбине, сотрудничая в газете левого направления. Вернувшись в Советскую Россию, служил наркомом земледелия и заместителем председателя Госплана Бурят-Монгольской АССР. С 1924 г. — профессор кафедры краеведения Иркутского университета. В 1927—1928 гг. — председатель секции Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества, директор Иркутского государственного музея. Один из историков-областников, автор научных работ по истории Хакасии и хакасского народа. Участвовал в разработке проектов создания педагогических институтов в Бурятии и Якутии, организации чтения цикла лекций по китаеведению в иркутском университете, подготовительных курсов для монголов и проведения краевого научно-исследовательского съезда. Один из организаторов Иркутского отделения Всесоюзной ассоциации востоковедов. Член авторского коллектива и редколлегии Сибирской советской энциклопедии. В августе 1937 г. арестован как «японский шпион и участник контрреволюционной организации», через год скончался в тюремной больнице. Реабилитирован.

[24] **Якушев Иван Александрович** (1884—1935) — уроженец г. Сургута Тобольской губернии, из мещанской семьи. Окончил Омскую фельдшерскую школу. Служил в переселенческом управлении Ферганской области. В 1905 г. за агитацию среди крестьян был арестован, но бежал. С 1907 г. — член партии социалистов-революционеров. После трехлетнего тюремного заключения осужден на поселение в Иркутскую губернию. С 1913 г. — в Иркутске, работал служащим в городском самоуправлении, редактировал газету, активный сторонник областнического движения. После февраля 1917 г. избирался членом секретариата Иркутского исполнительного комитета общественных организаций, в июле — председателем городского продовольственного комитета, а в начале осени — гласным городской думы. Участник сибирских областных съездов (Томск, 1917). Избран в состав Сибирской областной думы, позднее — ее председателем и министром юстиции Временного правительства автономной Сибири. С ликвидацией думы большевиками был арестован и отправлен в красноярскую тюрьму, где содержался до середины июня 1918 г. Возглавив Сибирскую областную думу, пытался поставить под свой контроль Временное Сибирское правительство. Арестованный и подлежавший высылке из Омска, перешел на нелегальное положение, а после роспуска думы — в оппозицию к колчаковскому режиму. Вошел в состав организованного во Владивостоке Комитета содействия созыву Земского собора. Осенью 1919 г. участвовал в организации вооруженного переворота в пользу земского и областного самоуправления Сибири. После его подавления, избежав ареста и суда, состоял членом Дальневосточного отдела Всесибирского Союза земств и городов и пытался издавать газету «Дальневосточная жизнь». В начале 1921 г. Приморским областным комитетом ПСР исключен из партии. Посланный в 1922 г. представителем от Союза земств и городов в Братиславу, покинул Россию и, находясь в эмиграции, организовал Общество сибиряков, написал собственные воспоминания. С 1927 г. под его редакцией вышли девять номеров альманаха «Вольная Сибирь» и несколько сборников «Сибирского архива». Одновременно был сопредседателем пражского Земгора и членом комиссии по русскому культурному наследию. Умер в Праге.

миссариат, кроме В. М. Крутовского, т. е. П. С. Доценко[25], П. З. Озерных[26]. Командующим войсками Енисейского района [стал] полковник Гулидов.

Часов около 22 получили известие о том, что рота красногвардейцев, в составе которой был городской голова Дубровинский[27], прибыла на ст. Енисей. Ей было предложено вступить в мирные переговоры. Наш отряд был выслан на мост, где и расположился совместно с 40 чехами. Для заключения договора была выслана с той стороны делегация под председательством Дубровинского, а с нашей — начальник штаба полковник Берёзкин, чехословак подпоручик Прейслер и моя персона. На станцию доехали на автомобиле, затем до моста — на паровозе, пешком через мост в первую линию нашего расположения. Вскоре прибыл Дубровинский. После некоторых споров в будке у жел[езной] дороги подписали «условие сдачи Рыбинского отряда советских войск», [согласно] которому красногвардейцы сдали оружие и были распущены по домам, а сам Дубровинский посажен в тюрьму. Вернулись в штаб около 3 часов утра.

В городе суматоха. Найденным оружием вооружились все кому надо и не надо, обыски и аресты, розыски большевиков, и смех и грех. Спать ночь не пришлось, не до того было[28]. Затем напряженная работа штаба...

---

[25] **Доценко Павел Сергеевич** (1894—1988) — уроженец Черниговской губернии, член партии социалистов-революционеров. Весной 1918 г. вошел в состав подпольного красноярского комиссариата Временного правительства автономной Сибири. В июне того же года после свержения советской власти — один из комиссаров Енисейской губернии, потом заместитель губернского комиссара и исполняющий обязанности управляющего губернией. С конца 1918 г. — помощник управляющего Енисейской губернией. С разгромом белого движения перебрался во Владивосток. В 1920—1921 гг. — преподаватель Дальневосточного государственного университета и организатор кооперативов. Эмигрировав в Маньчжурию и затем в США, с 1928 г. занимался производством мебели, которая продавалась в Америке и Европе. В 1948—1980 гг. являлся поставщиком европейского антиквариата и мебели в США. Автор статей в периодических изданиях «Русская жизнь» и «Новое русское слово». На основе архивных материалов и собственных воспоминаний написал двухтомную монографию «The Struggle for a Democracy in Siberia: 1917—1920» («Борьба за демократию в Сибири. 1917—1920»), первый том которой был опубликован (Stanford, 1983), а второй — остался в рукописи. Приглашенный исследователь Гуверовского института. Умер в г. Пало-Альто (Калифорния).

[26] **Озерных Пётр Захарович** (1886—1919) — уроженец Ачинского уезда Енисейской губернии, член партии социалистов-революционеров. За принадлежность к ней привлекался жандармским управлением к дознанию. Сотрудничал как журналист в ряде газет Иркутска и Красноярска, а также публиковал под псевдонимом Степан Байкалов стихи собственного сочинения. В 1917 г. — редактор кооперативного журнала «Наше дело» и областнической газеты «Енисейский край». После свержения советской власти в июне 1918 г. находился в составе Енисейского губернского комиссариата и с июля по октябрь того же года возглавлял его. С отставкой сотрудничал в правоэсеровской газете «Воля Сибири». Скончался после продолжительной болезни.

[27] **Дубровинский Яков Фёдорович** (1882—1918) — уроженец Орловской губернии, из семьи купца и арендатора имения. Учился в Орловском реальном и Пермском горном училищах. С 1899 г. — член РСДРП, меньшевик. Неоднократно арестовывался, в 1905 г. участвовал в декабрьских боях на Красной Пресне (Москва). Арестованный, был сослан в Енисейскую губернию. Бежал с этапа, пять лет, скрываясь, служил бухгалтером иностранной фирмы и осуществлял партийно-агитационную работу в Красноярске. Весной 1916 г. за участие в забастовке рабочих был арестован и находился в тюремном заключении. С февраля 1917 г. — один из лидеров меньшевиков-интернационалистов, руководитель красноярской организации объединенных социал-демократов. Избирался городским головой, членом губернского исполкома и делегатом от Советов Средней Сибири Петроградского совещания. На собрании Красноярской организации большевиков в ноябре 1917 г. заявил о необходимости перевода деятельности городской думы на «революционный путь», а на митингах меньшевиков в январе 1918 г. одобрил разгон большевиками Учредительного собрания. Весной 1918 г. был вновь избран членом исполкома. Во время антибольшевистского мятежа выступил с красногвардейским отрядом на Клюквенский фронт. После неудачных действий добровольно сдался противнику, а на следствии отказался от большевистских взглядов. 25 октября по приговору военно-полевого суда был расстрелян.

[28] На следующий день — 20 июня — с востока в Красноярск вошла группа войск под командованием подполковника Б. Ф. Ушакова, спецпоездом прибыли министр юстиции Г. Б. Патушинский и главноуполномоченный Западно-Сибирского комиссариата Н. В. Фомин, а вечером — с запада сформированный в Томске 1-й Сибирский полк и эшелон с частями 7-го Татранского полка.

В настоящее время все понемногу приходит в должный вид. По военной части окончательно создался штаб командующего в составе: полковник Гулидов, начальник штаба — полковник Берёзкин, старшие адъютанты— штабс-капитаны Аркадий Михайлович Попов и Вячеслав Васильевич Войтеховский, помощник старшего адъютанта — штабс-капитан Василий Васильевич Воскресенский, обер-офицер для поручений — штабс-капитан Александр Орестович Бредихин, комендант — капитан Григорий Геннадьевич Ляпунов, интендант — штабс-капитан Александр Антонович Знаменский, начальник службы связи — штабс-капитан Афанасий Васильевич Черкашин. Управление начальника артиллерии состоит из папы и меня — на должности старшего адъютанта, делопроизводителя, казначея, обер-офицера для поручений, писаря и посыльного. Словом, делаю все и вдобавок ругаюсь с папой, требую отпустить меня в строй. Наконец получили штат, [но пока] сам пишу телеграммы и ношу на телеграф, [готовлю] бумаги и отношу их по назначению.

Пока сформирован 1-й Енисейский Сибирский полк из офицеров в составе четырех рот. Командир — полковник Зиневич[29]. 1-я рота вчера ушла на фронт. [27 июня] 2 и 3-я [роты] под начальством подполковника Мальчевского[30] пошли в Енисейск и дальше для преследования на пароходах флотилии большевиков, бегущих к Северному Ледовитому океану. Сформировали из одной годной пушки батарею под командой подполковника Бибикова. Орудие это (1900-го года) 30 июня под командой [штабс-капитана] Солдатова ушло тоже к Мальчевскому[31]. Просил меня послать туда — папа не пустил. Обидно, пропустил по его милости такую интересную командировку. Надо куда-либо сбегать от него. Работаешь, работаешь, как вол, а толку никакого, кроме кислых слов.

---

[29] **Зиневич Бронислав Михайлович** (1874—?) — из мещан Оренбургской губернии. В военную службу вступил в 1891 г., окончил Казанское пехотное юнкерское училище, а позднее Академию Генштаба. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Воевал в составе 31-го Сибирского стрелкового полка, был ранен, награжден орденом Св. Георгия IV степени и Георгиевским оружием. С ноября 1916 г. — командир 534-го Новокиевского полка, полковник. Весной 1918 г. — член подпольной антибольшевистской организации в Красноярске. С июня — командир 1-го Енисейского стрелкового полка, затем — начальник 2-й стрелковой и 1-й Сибирской дивизий Средне-Сибирского корпуса, с октября того же года — генерал-майор. Награжден за Пермскую операцию орденом Св. Георгия III степени. С апреля 1919 г. командовал 1-м Средне-Сибирским армейским корпусом. В конце 1919 г. назначен командующим войсками Енисейского района и начальником гарнизона г. Красноярска. Перешел на сторону Политцентра и Временного комитета общественных организаций. В январе 1920 г. арестован, находился в красноярской тюрьме. Приговорен Омской губернской чека к расстрелу, затем к 5 годам заключения, а в ноябре освобожден с назначением на должность помощника инспектора пехоты при штабе помглавкома по Сибири. В феврале 1921 г. выслан из Красноярска в Омск, в марте — вновь арестован и препровожден в Бутырскую тюрьму. В феврале 1922 г. приговорен к заключению до обмена с Польшей. Реабилитирован.

[30] **Мальчевский Модест Иванович** (1879—1919) — в военную службу вступил в 1899 г., окончил Чугуевское юнкерское училище. Служил в 47-м Украинском пехотном и 30-м Сибирском стрелковом запасном полках. Участник Первой мировой войны. Награжден орденом Св. Анны IV степени «За храбрость» и мечами с бантом к ордену Св. Анны III степени. Подполковник. С января 1918 г. — в Красноярске, член подпольной антибольшевистской организации. При падении советской власти командовал частями, преследовавшими бежавших большевиков и красногвардейцев в Туруханском крае. С июля 1918 г. — командир 1-го Енисейского стрелкового полка, позднее — 4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка. Сражался с советскими войсками в Забайкалье, на Урале принял активное участие во взятии Перми. В январе 1919 г. произведен в полковники, в марте — в генерал-майоры. Награжден орденом Св. Георгия IV степени. С марта 1919 г. — командир бригады, с апреля — начальник 1-й Сибирской стрелковой дивизии. Умер в Красноярске от тифа.

[31] Формирующиеся в Красноярске воинские части пополнились 750 бывшими красногвардейцами, прошедшими фильтрацию. В результате здесь были сосредоточены 2,8 тыс. военнослужащих Средне-Сибирского корпуса.

Просмотрел снова все, что написал, и сам себя выругал, как бесцветно и плохо написано... Подъем уже прошел, теперь спокойная нужна работа, затем слишком много впечатлений, разбрасываешься очень... устал страшно, за две недели никак не могу выспаться. Наконец, несколько мелких эпизодов из нашей совместной с папой службы меня расстраивают, надо сказать, угнетают. Жду не дождусь, когда Гришин позовет меня в командиры броневого отделения.

На фронтах дела слава богу. На западе наша армия за Златоустом (уже взят) и Екатеринбургом. На востоке у Зимы. В городе настроение среднее. Обыватель остался обывателем. Стонал и охал при большевиках, порадовался день при перевороте, затем снова взялся за стоны и охи по разным вздорным слухам. Сегодня, например, говорят, что немцы взяли Париж. Откуда сие, неизвестно, телеграф с Россией не действует. Что в России — Аллах ведает. Как-то там близкие и друзья? В последние дни не выходит у меня из головы Тося. Страшно беспокоюсь, как-то она там... В железнодорожных мастерских анархисты и всякая сволочь ведут усиленную агитацию, что очень пугает обывателей. Многие недовольны Гулидовым (я в числе их) за его мягкость и добродушие[32]. Кое в чем [необходимы] решительные меры. Базары громадные, цены намного дешевле прежних. Как ни странно, дома говорят, что в магазинах есть товары, которых раньше не было. Спрашивается, откуда они, когда... транспорта нет абсолютно. Падение цен вызвано, безусловно, разрешением свободной торговли. Противники ее говорили, что она даст возможности спекулировать еще больше. Полагаю, что со свободной торговлей явится конкуренция, а последняя, очевидно для всех, гибель спекуляции. Результаты свободной торговли налицо. Настроение крестьян превосходное...

8 июля. Позавчера переехали в новое помещение, наверху губернской типографии. Великолепно, у всех свои комнаты, мы в самом углу. Тишина у нас, работать прекрасно, никто не мешает. Сегодня папа получил телеграмму такого содержания: «Командарм назначил Вас Инаркором (инспектор артиллерии. — *А. Ш.*) Уральского корпуса, расположенного в Челябинске. Срочно сдайте должность и выезжайте в Омск за инструкциями...» Послезавтра папа предполагает выехать, так как раньше не успеет собраться, а я следом за ним. Он поговорит с Гришиным обо мне насчет броневого дела, а в случае отсутствия такового возьмет меня в Уральский корпус.

С фронта сообщают, что продвижение продолжается. В городе передают как факт, что Иркутск взят, то же говорит вернувшийся с фронта штаб 1-го Енисейского полка, но официальных телеграмм еще нет. Войск много, наши роты все время сидят в поездах; эшелоны скопились, бой ведут только передние. Противник малостоек и быстро разбегается. С енисейского фронта получили письмо от Серёжи Садлуцкого — пишет, что в Енисейске встретили их восхитительно: когда пароходы уходили дальше, все пришли провожать, приносили массу необходимого, вплоть до белья, — словом, прием блестящий. Наш Красноярск только какой-то мрачный и гнилой. Дамы продолжают пороть ерунду, только в несколько меньших размерах.

[32] На одном из допросов в особом отделе ВЧК 5-й армии Гулидов показал, что после переворота в Красноярске не было расстрелов.

Ожидаемая на днях на железной дороге забастовка не состоялась, т. к. рабочие не поддержали резолюции, выработанные на митинге в Николаевке. На капитана Гайду[33], командующего чехословацкими эшелонами, предполагалось покушение, но его удалось предотвратить. Кто-то выдал, виновные расстреляны.

Приехал из штаба корпуса капитан Шнаперман с чуть ли не диктаторскими полномочиями, вплоть до смещения начдива[34]. Ведет себя по-хамски, держится вызывающе; все возмущены. Комкор что-то придумывает. Сегодня получена телеграмма о расформировании дивизии. Гулидов назначается начальником гарнизона. Общее мнение — штаб корпуса не на месте. Пьяниц там изрядное количество.

Говорят, что в России повсеместно возмущение против Советской власти; во многих местах власть совдепов ликвидирована. Немцы продолжают продвигаться на юг. На Украине волнения. Горит Киев. Приехал из Москвы прапорщик Вавилов. Путешествие его интересно — всего не опишешь. Ехал и на поезде, и на пароходе, и на подводе... В Москве полная анархия — грабежи, расстрелы, ужас. Разговоры о взятии Парижа сменились слухами, что союзники здорово побили германцев.

Период непрерывного дождя наконец закончился. Вчера дивная погода была, в сад на гуляние пошли даже папа с мамой. Я и сегодня был недолго в саду. Работы по-прежнему много, но она стала более систематичной и приятной.

23 июля. Сегодня последний день сижу на занятиях в Управлении начальника артиллерии Енисейского района как официальное лицо. Завтра утром являюсь сюда за получением бумаг, а послезавтра покидаю Красноярск. Когда уезжал папа, я просил устроить меня в броневые части... [или] в артиллерию Уральского корпуса. В воскресенье была получена следующая телеграмма: «Красноярск. Начальнику артиллерии подполковнику Ясенскому. Омск, 20 июля. Согласно просьбы Инарком Уральского (инспектора артиллерии Уральского корпуса. — *А. Ш.*) командируйте в его распоряжение штабс-капитана Зверева и капитана [Г. И.] Уссаковского, которым немедленно вы-

---

[33] **Гайда Радола (Гейдель Рудольф)** (1892—1948) — уроженец Далмации (Югославия), по национальности чех, получил фармацевтическое образование. Во время Первой мировой войны — прапорщик австрийской армии. Попал в плен, назначен батальонным командиром Чехословацкого корпуса. В марте 1918 г. причислен к его штабу, в звании капитана назначен командиром 7-го полка, в мае избран членом Временного исполнительного комитета. С осени 1918 г. — генерал-майор и командир 2-й Чехословацкой дивизии, командующий Екатеринбургской группой войск, а с декабря — Сибирской армией. За взятие Перми произведен в генерал-лейтенанты. На русской службе награжден орденами Св. Георгия IV и III степени, Св. Анны I степени, английским и французским орденами. В июле 1919 г. отстранен от командования армией, уволен. После подавления во Владивостоке восстания против Колчака выслан за границу. Окончив в Швейцарии и Франции институт и Высшую военную школу, вернулся в Чехословакию, где с октября 1922 г. был дивизионным генералом, заместителем и исполняющим обязанности начальника Главного штаба. В 1926 г. обвинялся в шпионаже и уволен с военной службы. С 1927 г. — лидер Национальной фашистской общины, избирался от нее в парламент Чехословацкой Республики. Во время немецкой оккупации — дивизионный генерал, член фашистского комитета св. Вацлава. С приходом советской армии был арестован и осужден. Освобожден по состоянию здоровья. Автор воспоминаний.

[34] Сам Гулидов потом рассказывал, что присланный молодой офицер контролировал его действия «самым грубым образом» и проводил «негласную проверку и сбор сведений о нем». Объяснял он такое отношение своим конфликтом с командиром Средне-Сибирского корпуса генералом А. Н. Пепеляевым, который, будучи в Красноярске, якобы остался недоволен мягкостью поведения подчиненного ему начальника войск района.

ехать в Челябинск. Инспартарм (инспектор артиллерии армии. — *А. Ш.*) Бобрик[35]». Выехать раньше четверга никак не смогу, т. к. ничего не готово из вещей.

Между прочим, насколько мне хотелось раньше уехать отсюда, и уехать поскорее, настолько теперь это желание уменьшилось до минимума. Причина ясна всем, кто видит меня ежедневно, в особенности после некоторого приключения на вокзале и в «вагоне коменданта». Даже грустно делается, когда подумаешь, что через два дня пора уезжать и бросать все, что так мило налаживается в Красноярске. А впрочем, отчасти полезно перестать на некоторое время мозолить глаза Красноярску, вернее его обитательницам...

16-го отправился Смелков в Иркутск на должность Инаркома Средне-Сибирского (инспектора артиллерии Средне-Сибирского армейского корпуса. — *А. Ш.*); писем от него еще нет.

Здесь, в Красноярске, нечто странное. Все и вся уезжают. Сегодня уехал Зиневич, назначенный начдивом 1-й Томской. Вечером уезжает Гулидов, назначенный начдивом 2-й Степной. [Ему] было предложено взять с собой штаб, но комкор Пепеляев это скрыл и прислал телеграмму об откомандировании только Гулидова. Совершенно случайно в разговоре по прямому проводу с Наштакором Степного (начальником штаба Степного корпуса — *А. Ш.*) Л. Д. Василенко выяснилось настоящее содержание темы, и в результате с ним, [Гулидовым,] едет весь штаб, т. е. полковник Берёзкин, Бредихин, Попов, Войтеховский... Обидно страшно, что я не могу попасть вместе с ними. Здесь остается только батарея и запасный батальон, полк [же] завтра-послезавтра уходит в Иркутск. Наше Управление остается при пиковом интересе. Ну и верблюжье учреждение.

Завтра в Красноярске ожидается прибытие экспедиции Мальчевского. Готовится помпезная встреча[36]. Сам он будет командиром Енисейского полка...

В субботу собрались на «Столбы» и вышли около 16 часов в составе: Ляля, Маруся Нахабина, Аня Ерофеева и Катя, Наташа и Лиза Гецольд, Серёжа и Миша Гецольд, Витя Клюге, я и Валя Любецкая. Около 19-ти были на Гремячем, а в 21 час переехали на лодке, прождав в очереди два часа, в Базаиху. Там попили молока и двинулись через Каштак. Сразу же публика стала растягиваться, Ляля, Катя и Аня раньше других стали сдавать, садиться и еле двигаться. Пришлось и нам [замедлить движение].

---

[35] **Бобрик Пётр Александрович** (1880—?) — окончил Симбирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Восточный институт. Служил в Кронштадтской крепостной артиллерии, штабс-капитан, уволен в запас (1910). Участник Первой мировой войны: воевал в составе 2-го артиллерийского дивизиона, подполковник. В мае 1918 г. мобилизован в Сибирскую армию. Находился в должности инспектора артиллерии Западно-Сибирского военного округа, артиллерийского отдела Западно-Сибирской армии. С сентября 1918 г. — генерал-майор, временно исполнял должность инспектора артиллерии Омского военного округа, Южной армейской группы, командовал 9-й Стерлитамакской дивизией горных стрелков, 5-м армейским корпусом. Участник Сибирского Ледяного похода. До мая 1920 г. — генерал для поручений при командующем Дальневосточной армией.

[36] 26 июля в Красноярске торжественно встречали флотилию из 5 пароходов, 2 лихтеров и катера, доставивших отряд Мальчевского, ценности и 237 или 238 задержанных совдеповцев и красногвардейцев. Публику пропускали по специальным пропускам, на бульваре выстроились три роты добровольцев и чехов, пулеметная и артиллерийская команды, казачий дивизион. Прошедшие на «Орел» заведующий военным отделом комиссариата П. С. Доценко и представители войск преподнесли участникам экспедиции хлеб-соль, Мальчевскому — икону Божьей Матери с Младенцем, а начальник гарнизона полковник Б. Г. Ляпунов держал приветственную речь. Войска с музыкой проследовали в город.

Центральная улица Красноярска

24 июля. Пришел Ясенский и помешал. Дописываю. Погода на «Столбах» дивная. Тепло, ночью полная луна прекрасно освещала путь. Останавливаясь каждые 15—20 минут, мы, понятно, двигались черепашьими шагами... К «Дедушке» пришли только в 2 ч. 30 минут. Дивные места там. Красота. То там, то сям виднеются костры. Единственно что портило впечатление и нарушало гармонию — это дикие крики и песни какой-то компании где-то недалеко. Зато приятным было стройное пение вдали, еле-еле до нас доносящееся. Познакомились с постоянными обитателями «Столбов» — студентами братьями Безновскими и сели пить чай. А на востоке все светлее, светлее, облака окрасились в пурпурно-нежный цвет, предрассветный ветерок нежно-нежно потянул. Несколько минут — и солнце появилось у самого горизонта. Осмотрели «Столбы Перья», полазили по ближайшим скалам. Не заметили, как прошло время. Пришла пора мне в обратный путь тащиться. Я не просил разрешения и утром, к началу занятий в 9 ч., должен был явиться на службу... Распрощавшись с компанией, в 6 ч. тронулся в путь... Со «Столбов» до Енисея прошел за 1 час 45 минут, скорость похвальная. Должен сказать, что после обеда сморился и даже спал два часа, хотя обыкновенно после бессонной ночи днем не сплю. Остался очень доволен. [Наша] компания претерпела массу неприятностей: вымокла под дождем, шла пешком через ст. Енисей...

...Прошлая неделя прошла в празднествах, адресуемых чехословакам. Из них я был на вечернем спектакле в городском театре. Публики масса, знакомых очень немного, к сожалению. Содержание вечера — пение, танцы славянских народностей. Театр был хорошо декорирован. В четверг были на грандиозном гулянии в саду. После чего Аня, Маруся и я навестили Колю Садлуцкого в вагоне коменданта и сидели там почти до 3-х часов ночи. Наутро Аня получила

здоровый нагоняй, кто-то видел нас на станции. Словом — драма. С этого дня злые языки нашей компании злословят по адресу моему и Ани. В пятницу в садике общего собрания состоялся файф-о-клок (послеполуденное чаепитие), собравший 10 000 монет. Говорят, что было забавно, т. к. кое-кто из «буржуев», как то: Ициксон, Фролов и др., подвыпив, смешили публику. Я не попал, обещав Ане прийти в городской сад...

Сегодня с утра бегаю, собираю вещи... Отъезд назначен на завтра с почтовым...

[Без даты.] Мальчевский настиг большевиков у Монастыря[37]. Большевики бежали, бросив золото, деньги и продовольствие[38]. Взято в плен 100, убито 7, ранено 2 человека[39], в нашем отряде потерь нет. Получена следующая телеграмма: «Енисейск, 21-го июля. Сегодня вечером прибыл пароход "Иртыш" с отрядом капитана Черемнова, оставленным в селе Монастырском для поимки скрывшихся главарей совдепа. Капитан Черемнов захватил 38 человек, среди них Марковский, Лебедева, Печерский, Топоров, Анисимова, Савитов; Дымовы оба убиты. Кузнецов и Вейнбаум бросились без пищи в тундру. Яковлев арестован казаками в д. Селиванихе и находится под стражей в селе Монастырском. Денег взято 157 тысяч. В отряде кап. Черемнова потерь нет».

Таков финал авантюры. Надо только надеяться, что петля, ждущая всех перечисленных мерзавцев, наконец... задавит... эту дрянь[40].

---

[37] Село Монастырское Туруханского края. Внезапно появившийся пароход «Енисейск» преградил путь прорывавшейся советской флотилии и орудийным огнем заставил «Лену» и «Орел» повернуть обратно и начать высадку большевиков на берег. На «Оби» и «Иртыше» выкинули белые флаги, а люди с них кинулись в лес. Высаженный на берег отряд поручика Салтыкова занял брошенные красногвардейцами пароходы. Голод и комары делали свое дело: беглецы возвращались и сдавались целыми партиями. За три дня были выловлены и сдались до 100 человек.

[38] Был возвращен весь золотой запас и процентные бумаги, но недостаток денежных средств, как выяснилось потом, исчислялся, по разным данным, от 15,9 до 16,2 млн руб., т. е. утрачена была половина увезенной суммы.

[39] По другим данным, убитых красных было от 20 до 100 человек, раненых — пятеро.

[40] При доставке арестованных большевиков с пароходов в красноярскую тюрьму были захвачены казаками и зверски убиты А. П. Лебедева, Т. П. Марковский и С. Б. Печерский. Затем, после расследования, 15 или 16 комиссаров, в частности М. П. Замощин и Э. Я. Шульц, организаторы хищения ценностей в банке, были осуждены к каторге. 25 октября по приговору военно-полевого суда И. И. Белопольский, Г. П. Вейнбаум, Я. Ф. Дубровинский, А. Ф. Порадовский и В. Н. Яковлев были расстреляны. Остальные заключенные большевики расстреливались группами уже как заложники. В советское время память о погибших «борцах» сохранялась и использовалась в пропагандистских целях, некоторые улицы Красноярска до сих пор носят их имена.

Ренат БЕККИН

МОКРАЯ КУРИЦА ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИЛИ КОГО ПРЕДАЛА ЗУЛЕЙХА?

Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Шумный роман уроженки Казани Гузели Яхиной появился кстати. Сталин решительно утвердился нашим современником, и потому роман, действие которого разворачивается в сталинскую эпоху, обречен на неравнодушие читателя. Почти все «толстые» журналы либеральной направленности в обеих столицах отозвались на получившую «Большую книгу» «Зулейху» благожелательными рецензиями.[1] Несостыковки в сюжете, недостоверность некоторых персонажей и прочие литературные огрехи произведения великодушно прощались Яхиной как дебютанту.

Затем с некоторым опозданием роман прочли те, кого принято именовать русскими патриотами. Реакция их была предсказуемой. Они находили в романе недостатки, которые в глазах либеральных авторов выглядели очевидными достоинствами. Яхину обвинили в «борьбе с прошлым»[2], нелюбви к России[3] и других смертных грехах.

До земляков Яхиной роман дошел под самый конец года. Казалось бы, вот кто должен был обрадоваться: знай, мол, наших, без булдырабыз[4] и все такое! Но вместо этого в казанских электронных изданиях появилось несколько рецензий, в которых автор романа и его героиня обвинялись ни больше ни меньше как в «национальном предательстве», «измене татарскому народу в угоду русским колонизаторам», «изящном навете на татарский традиционный уклад», «манкуртизме» и др.

Один из рецензентов недолго думая так и назвал свой текст: «История одного предательства»[5]. Другие критики «Зулейхи» также не поскупились на громкие слова и выражения, характеризуя текст как «дешевый образец псевдотатарского колониального романа»[6], а самого автора как «человека, продавшего свою нацию»[7]. Последний рецензент вообще усомнился в том, что Яхина сама от начала до кон-

---

[1] *Сергеева Н.* Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза. — Звезда, 2016, № 1; *Котюсов А.* Семруг — птица счастья. — Дружба народов, 2015, № 10; *Беляков С.* Советская сказка на фоне ГУЛАГа. — Урал, 2015, № 8 и др.

[2] *Артамонов В.* Гузель показала личико. — Литературная газета, 2015, № 50 (6536).

[3] *Трапезников А.* «Свобода от» и «свобода для». — Литературная газета, 2015, № 38 (6526).

[4] Без булдырабыз (татарск. мы можем) — неофициальный девиз Республики Татарстан.

[5] *Айсин Р.* История одного предательства. http://poistine.org/istoriya-odnogo-predatelstva#.V5mXeaOLXoQ

[6] *Хабутдинова М.* Если заглянуть в глаза Зулейхе. http://kalebtatar.ru/article/2813

[7] Вахит Имамов о романе «Зулейха открывает глаза»: «У женщины для этого не хватит ума». http://www.business-gazeta.ru/article/300676/

ца писала роман: «У женщины для этого не хватит ума, впрочем, ей этого и не нужно».

Пожалуй, стоило бы оставить без внимания эти гневные тексты. Они отражают не столько содержание самого романа, сколько внутренний мир людей, довольно своеобразно его прочитавших. Но есть одно обстоятельство, проигнорировать которое невозможно: Казань — не Москва, читатели здесь не только читают критические рецензии, но и прислушиваются к ним. После появления вышеупомянутых откликов на роман Яхиной немало людей стало воспринимать «Зулейху» как звонкую пощечину татарам и Татарстану. Мне неоднократно приходилось слышать такую фразу: «Роман Яхиной не читал(а) и читать не буду. Говорят, он татарофобский».

В чем же провинилась Гузель Яхина вместе со своей героиней перед казанскими татарами? Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, будет уместно освежить в памяти сюжет романа.

1930 год. Тридцатилетняя Зулейха Валиева живет в деревне Юлбаш с мужем Муртазой и его матерью — слепой столетней старухой. Муж у нее подходящий: «недолго бьет, быстро остывает», а вот свекровь — та просто проходу не дает. Ругает и шпыняет по поводу и без повода. Кличет невестку «мокрой курицей», «жидкокровной», «маломеркой» и др. Зулейха зовет свекровь Упырихой. Про себя, конечно.

Утро Зулейхи начинается с выставляемого Упырихой в сени «судна» («из молочно-белого фарфора, с нежно-синими васильками на боку»).

Образ Упырихи, на мой взгляд, — наиболее убедительный в романе. В самом начале повествования она предстает злобной старухой-тираншей, владычицей морской, не знающей, чего ей еще пожелать. Но как преображается она, когда заговаривает с сыном! Злобная мегера превращается в умилительно заботливую мать.

Неужели рецензенты, хором обвиняющие Яхину в незнании национального характера, никогда не встречали таких колоритных татарских мамаш, продолжающих нянчиться со своими сыновьями и не желающих делить их ни с кем, даже если у сыновей уже имеются собственные дети и внуки?

Упыриха была полновластной хозяйкой в доме при покойном муже и теперь требует беспрекословного подчинения со стороны невестки. В голодные годы Упыриха потеряла своих детей. Выжил только младший — Муртаза. Долго не могла и не хотела она отпустить его от себя. И только когда Муртазе стукнуло сорок пять, Упыриха смирилась — женила сына. В их с Муртазой мир входит посторонний — маленькая Зулейха. Упырихе кажется, что Зулейха недостаточно заботится о ее сыне. Что же тут необычного? Борьба между свекровью и невесткой — это классика жанра.

Упыриха вобрала в себя как положительные, так и отрицательные черты, присущие татарскому народу. Это самый полнокровный персонаж в романе. И потому упреки в том, что в лице Упырихи и ее сына Муртазы высмеян и унижен весь татарский народ (Р. Айсин, «История одного предательства»), звучат неубедительно.

Сын Упырихи Муртаза обрисован скупее. Это — «сильный мужчина, большой», обладатель «кустистых бровей», «курчавого живота» и «мохнатых плеч». Крепкий хозяйственник, как сейчас принято говорить. Дом — полная чаша. Но Зулейхе почему-то недоступны имеющиеся в изобилии блага. Идет борьба с кулаками. Муртаза и Зулейха ждут незваных гостей. Нужно срочно уничтожать продуктовые запасы, и Муртаза

запихивает себе в рот палку конской колбасы (казылык): «Слышно, как скрипят под крепкими зубами упругие конские жилы». Ест через не хочу, но жене не предлагает, хотя и казылыка, и другого добра хоть отбавляй. Зулейха лишь тайком «ворует» на чердаке пастилу, пока все спят. Не для себя — для духов, чтобы умилостивить их. Прежде всего духа околицы, чтобы тот в свою очередь замолвил доброе словечко перед духом кладбища, где погребены четверо ее дочерей, умерших в младенчестве.

По роману, все, что знает Зулейха о религии и национальных легендах, усвоено ею в детстве от матери. Муртаза каждую пятницу ходит в мечеть и, возвращаясь, передает жене услышанное от «муллы хазрата». Но то ли мулла не очень красноречив, то ли Муртаза плохо доносит до жены слова проповеди — на ее мировоззрении это не сильно отражается.

Так и прожила бы Зулейха с Муртазой до самой смерти, если бы не коллективизация. Кто-то предупреждает их о предстоящей продразверстке. Муртаза с женой отправляются до рассвета на кладбище. Здесь, между могилами дочерей, они зарыли в деревянном ящике зерно. Лихо, конечно, придумано. Но, с другой стороны, почему бы и нет?..

На обратном пути им попадаются красноармейцы (красноордынцы, как называет их Зулейха). Красноордынцы спрашивают дорогу, но Муртаза, у которого нервы на пределе, замахивается на их главаря топором. Тот предупреждает удар выстрелом. Зулейха привозит убитого мужа домой, раздевает, укладывает в постель, ложится как ни в чем не бывало рядом. Утром являются те самые красноордынцы во главе с тем, кто накануне убил мужа, — Иваном Игнатовым.

Зулейхе дают классические пять минут на сборы. Игнатов доставляет раскулаченных в Казань, в пересыльную тюрьму. Здесь, казалось бы, судьба должна была навсегда разлучить Зулейху и убийцу ее мужа. Но начальник и в прошлом боевой товарищ Игнатова — Бакиев приказывает ему сопровождать группу поселенцев до Сибири. Начинается долгая дорога на восток. В пути часть поселенцев умирает от невыносимых условий, часть — сбегает (как раз из того, восьмого, вагона, в котором едет Зулейха). Сама Зулейха отказывается присоединиться к беглецам. Куда ей, с ребенком Муртазы в животе? О своей беременности она узнает от гинеколога Вольфа Карловича Лейбе, чокнутого профессора, берущего ее под опеку во время долгого пути.

Если Зулейха поймет, что больше не может сносить лишения, у нее есть средство понадежнее: оставленный мужем кусок сахарной головы, пропитанный крысиным ядом, — на случай, если красноордынцы придут забирать лошадь по кличке Сандугач (Соловушка). Добрая Зулейха впервые ослушалась мужа — пожалела животное вместе с жеребенком. Но и сахар тоже не выбросила.

После занявшей несколько месяцев дороги поезд прибывает в сибирский райцентр. Игнатов уверен, что миссия его на этом выполнена и он может наконец возвратиться в Казань. Однако местный чекист по фамилии Кузнец приказывает ему сопровождать поселенцев на барже по Ангаре — до пункта назначения. Игнатов поначалу отказывается, но Кузнец между прочим напоминает ему про побег из восьмого вагона и не советует торопиться с возвращением в Казань. Теперь уже у читателя не остается сомнений: Игнатов с ним, читателем, надолго и никуда не денется до конца романа…

Ржавая посудина «Клара» забита людьми сверх нормы. Во время начавшегося шторма она идет ко дну. Игнатов, задремавший на палубе, не успевает

открыть дверь в трюм, где содержатся спецпоселенцы. Триста человек гибнет в «метели белых пузырей» Ангары.

Спасаются только он и беременная Зулейха, оставленная по его распоряжению на верхней палубе, да еще несколько матросов. Осколок сахарной головы растворяется в водах Ангары. Зулейха видит в этом знак: нужно жить дальше и перестать думать о смерти как способе избавления от страха, голода, неопределенности. Вскоре в пункт назначения на катере вместе с Кузнецом прибывают старики, которые не поместились на злосчастную «Клару». Это были самые слабые люди, которые могли не вынести пути в набитом до отказа трюме баржи.

Кузнец приказывает Игнатову ждать его возвращения, и тот остается вместе с выжившими поселенцами. Всего их тридцать, включая самого Игнатова...

Неплохое начало для робинзонады. Оторвавшиеся от корней, как сказали бы критики романа, переселенцы пытаются выжить. Всякому находится дело по душе. Каждый оказывается на своем месте. Игнатов каждый день ходит на охоту. Чуваш Лукка Чиндыков обеспечивает переселенцев рыбой. Излечившийся от состояния, близкого к помешательству, профессор медицины Лейбе собирает в лесу полезные травы. Он же принимает у Зулейхи удачные роды. Вопреки пророчествам Упырихи, у «жидкокровной» Зулейхи рождается мальчик. Здоровый мальчик. Это само по себе чудо — после всего, что перенесла за последнее время Зулейха.

Проходят недели, а Кузнец, обещавший вскоре возвратиться со сменщиком Игнатова, так и не появляется. Люди остаются на зимовку. Под руководством опытного крестьянина Авдея Богатыря поселенцы, состоящие частью из раскулаченных крестьян, частью — из ленинградской интеллигенции, роют землянку. Но Игнатов не простой буржуазный Робинзон, а советский. С одной стороны, его задача — обеспечить выживание подопечных Пятниц, с другой стороны, он должен организовать для них новую жизнь с чистого листа, перевоспитать их.

Только весной объявляется Кузнец с новой партией поселенцев. Увидев обросшего, в истрепанной одежде Игнатова-Робинзона, Кузнец поражен, что тот вместе со своими подопечными уцелел. Вскоре на месте зимовья спасшейся группы вырастает небольшой поселок. У него появляется необычное имя: Семрук.

Некоторые критики увидели в «Зулейхе» роман о ГУЛАГе. Это не так. Яхина написала роман о Семруке. Семрук — это ГУЛАГ наоборот, анти-ГУЛАГ.

Гоголь в «Вечерах на хуторе...» придумал свою Украину, имевшую мало общего с реальной Малороссией. Яхина придумала страну Семрук. Это не Казань и не Ленинград. Это забытое богом место на реке Ангаре. Как писал тот же Гоголь, «хоть три года скачи, никуда не доскачешь». До Семрука можно добраться лишь водным путем из города N. Здесь от каждого берется по способностям, каждый занят любимым делом. Единственный отрицательный герой в поселке — бывший уголовник Горелов. Но и ему не удается проявить своих отрицательных качеств в идеальном семрукском обществе. Горелов строчит доносы Кузнецу, но районное начальство до поры не реагирует на поступающие сигналы.

Во главе этого «Города Солнца» стоит рефлексирующий чекист Игнатов, которому по ночам являются утопшие по его недосмотру пассажиры «Клары». Разве мог протянуть такой «плачущий большевик» в условиях обычного ГУЛАГа до 1946 года? Конечно же нет. А в Семруке смог, потому что здесь все по-другому.

В поселке Семрук рождается новый человек. Национальные и религиозные различия не имеют больше никакого значения. И не потому, что начальство приказало отказаться от веры предков. Слишком далеко закинула судьба этих людей. Аллах не видит ее здесь, в этом медвежьем углу, решает Зулейха, иначе он давно бы отправил на тот свет ее сына Юзуфа, как предрекала свекровь. А духи, для которых она воровала пастилу, остались в Юлбаше.

Единственный, кто последовал за Зулейхой из ее прежней, досемрукской жизни на Ангару, — это Упыриха. Вернее, не сама Упыриха, а ее призрак. Обычно он является, когда стемнеет. Бывает, постоит, как тень отца Гамлета, и уходит, а иногда, перед тем как исчезнуть, произносит свои пророчества или упрекает, как в той, прежней, жизни. Но это уже не та Упыриха. В Семруке она выступает уже не как притеснитель Зулейхи, но как «громкий голос ее совести», если перефразировать высказывание М. Ганди.

Зулейха часто рассказывает сыну легенду о птице Семруг, или Шах-птице. В царстве птиц начался разлад. Тогда решили пернатые разыскать Шах-птицу и попросить ее стать их царицей. После долгих поисков лишь тридцати самым упорным птицам удалось добраться до самых вершин мироздания. И тогда поняли они, что Семруг — это они все вместе и каждая по отдельности. Красивая легенда, в которой воспевается сила духа, умение преодолеть любые невзгоды и выжить, сохранив в себе лучшие человеческие качества.

Если бы Яхина закончила свой роман 1945 годом, то его и впрямь можно было бы назвать утопией. Но в 1946 году в Семрук приезжает катер. Среди его пассажиров — бравый офицер в фуражке с малиновым околышем. Это лейтенант госбезопасности Горелов. Его появление знаменует конец рая в отдельно взятом поселке. Утопия оборачивается антиутопией. Маленький мир идеального Семрука обречен.

Первым делом бывший урка направляется к Игнатову и прозрачно намекает, кто теперь здесь главный. Вслед за Гореловым прибывает и сам Кузнец. Еще в начале войны тогда еще лейтенант Кузнец предлагал Игнатову «обнаружить» в лагере профашистские элементы, разоблачить заговор и таким образом получить повышение. Но семрукский Робинзон сделал вид, что не понял приятеля. Кузнец, до этого регулярно наезжавший в Семрук попариться, выпить и покалякать о жизни, быстро охладел к Игнатову. Теперь он прибыл с приказом об увольнении бывшего собутыльника из органов.

Идиллия кончается. Многие из старожилов Семрука к тому времени уже умерли. Профессор Лейбе был отправлен на работу в больницу райцентра, художник Иконников ушел на фронт и каким-то образом очутился в конце войны в Париже. Из старожилов кроме Горелова остались только сам Игнатов, Зулейха и ее сын Юзуф.

Ученик Иконникова Юзуф тоже мечтает стать художником. Он задумал бежать из Семрука в Ленинград, поступить в Академию художеств. Ленинград, конечно, далеко от поселка на Ангаре, но ведь Париж еще дальше, а Иконников все-таки сумел добраться до манившего его города. Юзуф скрывает свое намерение от всех, даже от матери, но та случайно узнает о планах сына. Первая реакция матери: не пущу! Но, взяв себя в руки, Зулейха идет к Игнатову.

Момент для визита не самый удачный. Игнатов после появления Горелова с минуты на минуту ждет Кузнеца с приказом о его отставке. Завидев приближающийся катер, Игнатов отсылает Зулейху.

Кузнец дает Игнатову пять минут на сборы. За это время Игнатов сжига-

ет старую метрику Юзуфа и составляет новую. С таким, правильным, документом «сын красноармейца» Юзуф Игнатов имеет право поступить в академию. Убийца Муртазы спасает его сына. С воцарением в Семруке Горелова художника Юзуфа ждала бы незавидная судьба.

Зулейха провожает сына до места, где укрыта лодка, завещанная Юзуфу рыболовом Луккой, а затем долго еще стоит на утесе: «Лодка удаляется, уменьшается — а глаза ее видят мальчика все лучше, яснее, отчетливее. Она машет до тех пор, пока его бледное лицо не исчезает за огромным холмом. И еще много после, долго машет».

Будь на ее месте Упыриха, она бы ни за что не отпустила сына. Но это отнюдь не означает, что Зулейха любит своего сына меньше, чем Упыриха своего — или наоборот. Мы лишь имеем дело с разными проявлениями безграничной материнской любви. Для обеих женщин весь смысл их существования заключается в сыновьях. Только у Упырихи эта любовь собственническая, а у Зулейхи — жертвенная. Напомним, что и сам Муртаза собирался бежать в лес, оставив мать на попечение Зулейхи. Пуля Игнатова помешала этому.

К слову, Упыриха, вернее ее призрак, косвенно благословляет такое решение Зулейхи. Юзуф взрослеет. Целые дни проводит в мастерской: рисует. Зулейха переживает, что отчуждение между ними усиливается. И вот оно, ужасное открытие: сын собирается бежать, бросить ее здесь. В этот момент является Упыриха: «Зулейха хочет оттолкнуть Упыриху, замахивается — но вместо этого почему-то падает ей на грудь, обнимает могучее тело, пахнущее не то древесной корой, не то свежей землей. Утыкается лицом во что-то теплое, плотное, мускулистое, живое, чувствует сильные руки — на спине, на затылке, вокруг себя, везде. Слезы подступают к горлу, веревкой свивают глотку — Зулейха плачет, уткнувшись в грудь свекрови, долго и сладко. Слезы льются так щедро и стремительно, что кажется — не из глаз, а откуда-то со дна сердца, подгоняемые его частым и упругим биением. Минуты, а может, часы спустя, выплакав все не выплаканное за годы, она успокаивается, приходит в себя. Еще спешит дыхание, еще вздымается судорожно грудь, но уже разливается по телу долгожданное усталое облегчение… Зулейха удивленно отстраняется, чтобы заглянуть свекрови в глаза. Лицо старухи — темно-коричневое, в крупных извилистых морщинах. Да и не лицо то вовсе — древесная кора. В объятиях Зулейхи — старая корявая лиственница… Зулейха утирает со щек прилипшие куски коры и хвои, бредет из тайги обратно в поселок». После этого символического примирения Упыриха больше не тревожит Зулейху.

Как видно, роман Яхиной многослойный, неоднозначный. Наряду с шаблонными или заимствованными из советской классики образами[8] (вроде питерского рабочего Денисова) в «Зулейхе» действуют сложные характеры, выдуманные или удачно подсмотренные автором.

Но эволюция героев почему-то выпала из поля зрения критиков романа. Игнатов представляется как убийца Муртазы, а Зулейха — как предательница, «прыгнувшая в кровать к убийце своего мужа» (Р. Айсин).

Татарский драматург Батулла упаковал сюжет романа в одну фразу: «Забитая татарка, у которой убили “хорошего мужа”, выходит замуж за убийцу собственного мужа»[9]. Пожалуй, если бы М. Хабутдинова, Р. Батулла, Р. Айсин

[8] При этом ничем не обоснованным выглядит утверждение М. Хабутдиновой в вышеупомянутой статье, что «казанские главы о гинекологе Лейбе представляют собой низкосортную копию соответствующих глав из “Собачьего сердца” М. Булгакова».

[9] *Батулла Р.* Что увидела Зулейха, когда открыла глаза? — «Казанские ведомости», 2016, № 9, 26 января.

и прочие критики писали рецензию на роман И. А. Гончарова «Обломов», то они бы представили его как историю о мужике, который целыми днями лежал на диване, а потом помер. А еще бы им показалось, что это русофобский роман, потому что русский Илья Ильич показан каким-то нелепым и «приниженным» на фоне умного немца Штольца.

На самом деле героиня романа не выходит замуж за Игнатова, несмотря на уговоры последнего. Игнатов не воспитывал сына Зулейхи и Муртазы, как утверждает тот же Батулла. Более того, на протяжении всего романа нет ни слова о каком-то общении Юзуфа с Игнатовым. Что касается новой фамилии, то не Юзуф или Зулейха меняют ее. Сам Игнатов делает это. В невероятной спешке перед побегом Юзуфа.

Самое простое, что могла сделать Зулейха для спасения себя и своего малолетнего сына, — это стать любовницей или женой Игнатова. Тем более что он ей был небезразличен, а сердцу, как известно, не прикажешь. Но этого не происходит. Долгие годы Зулейха борется с чувствами, не смея приблизиться к Игнатову. И лишь восемь лет спустя сдается. Она, казалось бы, обретает свое женское счастье. Сын уже вырос, его жизни, как в первые годы, ничто не угрожает. Но она ошибается.

Возвратившись однажды от Игнатова, Зулейха видит, что постель сына пуста. Бросается на поиски. Сначала она находит сломанные лыжи, затем видит сына, забравшегося на высокое дерево. Под деревом — стая волков. Ставшая к тому времени опытной охотницей, Зулейха истребляет хищников. Сын спасен, но после пережитого заболевает и находится между жизнью и смертью. Зулейха видит в этом знак и принимает это как справедливое наказание за ее грех. После выздоровления сына она уже не возвращается к Игнатову. Увидеть за всем этим лишь банальное предательство может только человек, не способный к вдумчивому прочтению.

Но не только предательство «раскрыли» в романе Яхиной бдительные казанские критики. Филолог М. Хабутдинова увидела в нем оправдание сталинских репрессий: «Браво Яхиной, создавшей воистину гимн в честь репрессий как необходимой ступени в духовном самосовершенствовании советского человека!!!» Вот уж действительно: воистину. Но и этого критику мало. «Г. Яхина предлагает своим соплеменникам стать частью расы господ колониальных империй», — пишет М. Хабутдинова. Само произведение характеризуется как «дешевый образец псевдотатарского колониального романа». Но далее Хабутдинова замечает, что «духовным центром Казани в течение двух веков выступал Казанский университет — один из краеугольных символов российский науки и культуры». Помилуйте, но ведь основанный в 1804 г. Казанский университет был одним из проявлений того самого «колониализма», за который Хабутдинова так поносит Яхину!

Другим ориентиром духовности в глазах Хабутдиновой выглядит Казань 1920—1930 гг.: «В романе не упоминаются имена представителей национальной интеллигенции, — сетует Хабутдинова. — Очень жаль, что жительнице Казани не удалось создать реалистичный бессмертный образ Казани 1920—1930-х гг.». Да ведь роман же не о Казани! Кстати, на фоне развлечений казанской богемы того времени Зулейха, которая топит по ночам баню и «ворует» пастилу для духов, выглядит образцом традиционализма и добропорядочности.

От рецензий казанских авторов веет какой-то местечковой любовью-ненавистью к Москве, свойственной многим провинциалам. С одной стороны, Москва — сосредоточие всего плохого, что есть в мире, с другой — каждый стре-

мится туда попасть. Иначе нельзя понять упреки, адресованные автору «Зулейхи»: «Видимо, годы работы в пиар-агентстве Москвы наложили свой неизгладимый отпечаток…», «долгие годы интеллектуального кружения в московско-либеральных кругах».

Читая подобные рецензии, понимаешь отчасти причины успеха Яхиной. Ей удалось преодолеть местечковость татарской литературы, стать интересной не только узкому кругу любителей «национальной словесности». За такие вещи принято говорить спасибо. Но, видимо, не в Казани.

В Интернете развернулась дискуссия: стоит ли считать Яхину татарской писательницей? Роман ее написан на русском языке, и потому она прежде всего русский писатель. Но для казанских критиков Яхиной дело не в языке. Татарский писатель — это титул, который нужно заслужить: «Яхина не может быть той, кто способен описывать драму татарского народа. Потому что она не принадлежит к его культурно-духовному кругу» (Р. Айсин). Кто принадлежит к этому кругу, рецензент не уточняет.

Сейчас в Казани готовится перевод книги на татарский язык. Быть может, чтобы не травмировать местную творческую интеллигенцию, стоит сделать этот перевод адаптированным для казанских читателей?

Существует легенда, что во время гражданской войны в Испании участникам интернациональных бригад демонстрировался фильм «Чапаев». Всякий раз, когда Чапай в конце фильма тонул в Урале, в зрительном зале раздавались гневные крики и даже выстрелы. И тогда режиссеры фильма братья Васильевы пошли навстречу аудитории. Переделали финальную сцену. Чапаев больше не тонул, а благополучно доплывал до другого берега. Народ был доволен.

Может, стоит таким же образом поступить и с «Зулейхой»? Попросить Яхину исправить концовку. Зулейха после XX съезда возвращается в родную деревню. Находит могилы Муртазы и Упырихи, плачет и просит у них прощения. К ней возвращается из Ленинграда сын, разочаровавшийся в искусстве и пресытившийся соблазнами большого города. И они начинают жить-поживать, занимаясь сельским хозяйством. Благо Хрущёв разрешил увеличить размеры приусадебного хозяйства, а налог на него снизил.

Так живут Юзуф с Зулейхой долго и счастливо. Юзуф большой и сильный, а Зулейха стареет, она уже потеряла слух и зрение. И каждое утро молодая жена Юзуфа выносит на двор Зулейхин горшок из «молочно-белого фарфора, с нежно-синими васильками на боку»…

Но Яхину, к счастью, переводят не только на татарский. Впереди у писательницы несомненный успех на Западе. В «Зулейхе» есть все, что составляет привычный рацион западного читателя: и «постколониализм», и «гендер». Для поклонников Мишеля Фуко найдется немало примеров на тему власти и подчинения. А случай профессора Лейбе просто словно сошел со страниц «Истории безумия в классическую эпоху».

Благодаря роману немало читателей в мире впервые услышат о существовании такого народа, как татары. Уже за одно это стоит сказать Гузели Яхиной: зур рахмат[10].

Похоже, казанские критики романа придерживаются принципа: о татарах либо хорошо, либо ничего. Но так говорят лишь о покойниках. А татарский народ не только жив, но и полон сил. По крайней мере, такие выводы можно сделать, внимательно прочитав роман Гузели Яхиной.

[10] Зур рахмат (татарск.) — большое спасибо.

Анна РАДЧЕНКОВА

«КАРТИНКИ» НИКОЛАЯ МЯСНИКОВА

Николай Мясников родился в 1954 г. в Новосибирске. После школы учился в разных учебных заведениях без ясного стремления что-нибудь окончить. В итоге стал профессиональным художником, участвовал более чем в тридцати персональных и групповых выставках. Картины Николая Мясникова представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в частных коллекциях США, Германии, Лихтенштейна, Израиля, Франции, Швейцарии, Австралии.

В начале 90-х Николай Мясников организовал содружество художников «Белая галерея» и в традициях художников-передвижников направил сей ковчег навстречу публике. Неся на своем борту футуристические послания Максима Зонова, Леонида Иванова, Александра Краснопеева, Николая Жукова, Зинаиды Рубан, Сергея Дыкова, Владимира Квасова, Бориса Шилова, Натальи Чижик, Александра Косенкова, Елены Юдиной и многих других художников «сибирского андеграунда», «Белая галерея» путешествовала по сибирским городам больше пяти лет.

Характеризуя феномен «сибирского андеграунда», искусствовед Владимир Назанский писал: «Сибирский андеграунд возник в 1970-х — 1980-х годах как сфера индивидуальных художественных практик "неформатных" художников, существовавших вне системы и образовывавших небольшие дружеские сообщества, внутри которых царила полная свобода мысли и творчества. На этих "островах в океане" шла своя, параллельная жизнь, развивалось другое искусство, не ориентированное на конъюнктуру времени и идеологии, пытающееся ответить на основные вопросы человеческого бытия на современном художественном языке, вобравшем в себя достижения и русского авангарда, и европейского модернизма».

Николай Мясников — личность эпохи Возрождения. Он синкретичен. Чеканщик, медальер, слесарь, токарь, скульптор, дизайнер, архитектор, гравер, дионисиец, аскет, проповедник, теолог, охотник до всего нового и одновременно тонкий знаток и коллекционер материальной архаики, имеющей отношение не только к искусству, но и к быту, повседневному обиходу человека.

Все творчество Николая Мясникова было сплавлено воедино идеей общечеловеческого гуманизма и страстным, даже воинствующим неприятием вульгарного материализма. Более 30 лет Николай Мясников как художник, писатель, мыслитель проповедовал идеи нестяжательства, возврата к простоте и первородно-

сти семьи и быта, ратовал за возрождение культурологического феномена России. В одном из радиоинтервью Николай Мясников озвучивал свои мысли так: «Рухнул миф о великой русской культуре. Мы воспитаны на том, что у великой страны должна быть великая культура. Насколько она велика сейчас — мы видим по телевидению. Мы видим в новой ситуации, в новом времени того же самого человека из не такого уж далекого прошлого, у которого двойное мышление и двойной счет, у которого фига в кармане и камень за пазухой. Когда для себя он может читать Лао-цзы, а для нас он будет делать поганый сериал. Раньше была одна идеология, а сейчас их две. И каждый человек, как и положено постсоветскому человеку, разодранному пополам, разделяет их обе. С одной стороны, это идеология барственного кайфа, когда двигателем внутри являются деньги и секс, когда ты можешь носить пальто до пят, ночевать в подпольном казино или какой-нибудь сауне, а утром уезжать "управлять государством". А с другой стороны, есть абсолютно нормальная идеология массы людей, которые понимают это «спасайся, кто может» и ищут свой хлеб, держась двумя руками за каждую возможность... Сейчас много пишут и говорят, что Новосибирск по своему географическому положению должен стать каким-нибудь Чикаго или Сингапуром. Но при этом не учитывают, что любой крупный финансовый, промышленный, научный центр — это обязательно центр культуры. Не будет Нью-Чикаго без театров, галерей, журналов. Как не будет великой нации, великой страны без своей литературы. Потому что литература — это форма жизни языка. Исчезнет литература — выродится язык. Исчезнет искусство — наступит эстетическая слепота. Исчезнет музыка — слух погрязнет в какофонии безобразно-агрессивных грохотов и скрежетов. И выродится незаметно нация. Она потеряет свой внутренний стержень. И вместо великой державы будет транзитный вокзал».

Рассматривая «картинки» Николая Мясникова (так называл свои работы сам художник. — *А. Р.*), невольно поражаешься жанровому разнообразию, которое на протяжении всей творческой жизни было своеобразной визитной карточкой художника. Ряд самоназваний можно продолжить: «почеркушки», «линии и пятна», «мгновенные абрисы», «поединки теней», «тайные тропы керамических трещин»... Даже традиционные жанры, такие как пейзаж, портрет и натюрморт, видоизменялись Мясниковым сообразно изобретаемому спонтанно мини-жанру и всегда новой, зачастую парадоксальной технике, точнее — смешению различных техник. Эстампы, линогравюры, классическое масло, акварели, работы, выполненные фломастерами и битумным лаком, с точки зрения «традиционно образованных живописцев» выглядели как апофеоз варварства и эклектики. Но у Мясникова смешение жанров и техник не самоцель, а первородно творимая вселенная, в которой происходит овеществление мысли творца. Была у Николая Мясникова и своя излюбленная смешанная техника на основе гуаши.

Такой гуашью написаны графические серии «Лес», «Другие берега», «Татуировки», «Метаморфозы воды». В профессиональном художническом сообществе бытует несколько пренебрежительное отношение к гуаши. Считается, что этот материал пригоден лишь для оформительских работ и детского творчества, а использовать его в качестве серьезного материала для живописи не комильфо. Но, например, в России в конце XIX и начале XX вв. гуашью писались серьезные работы станковой живописи. Художники, овладевшие в совершен-

стве этим сомнительным, казалось бы, материалом, создают восхитительные, изящные, неподражаемые шелковисто-бархатные работы. Причудливо и в то же время правдиво при помощи гуаши удается передать тончайшую атмосферу вечерних сумерек и туманных предрассветных пейзажей, фактуру неба, земли и воды, сотканных воедино, бесконечно повторяемые и неповторимые орнаменты трав и деревьев. Для Николая Мясникова гуашь стала идеальным проводником самых дерзких композиционных и колористических новаций.

Остается добавить, что Николаем Мясниковым написаны, проиллюстрированы и изданы книги прозы: «Мои соседи знают о Париже» (2001), «Атлантида» (2004), «Наивное путешествие» (2006). Как художник он сотрудничал с журналом «ЭКО», с Алтайским книжным издательством, с Новосибирской студией телевидения. И рисовал, рисовал, рисовал. А когда не рисовал, то писал свои гомерически смешные и пронзительно-грустные тексты. В 2012 г. Николай Мясников тихо вышел из круга живых и таким же тихим и совершенно естественным образом присоединился к вышнему свету и оттуда, с каких-нибудь серебристо-охристых облаков, иронично и мудро наблюдает за нами.

АВТОРЫ НОМЕРА

Беккин Ренат Ирикович родился в 1979 г. в Ленинграде. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Нева», «Урал» и др. Живет в Стокгольме (Швеция).

Боярский Вячеслав Анатольевич родился в 1972 г. в Новосибирске. Окончил гуманитарный факультет НГУ, кандидат филологических наук. Автор пяти книг стихов. Публиковался в журналах «Арион», «Новая Юность». Работает в Новосибирском государственном педагогическом университете. Живет в новосибирском Академгородке.

Зельцер Сара родилась в 1979 г. в Курске в семье военного. Несколько лет прожила в Читинской области, Белоруссии и Германии, где служил отец. Окончила Финансовую академию при правительстве РФ. Участник российских и международных литературных фестивалей, семинаров, конкурсов. Автор книги стихов «Не нужно музыки». Живет в Москве.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

Кобенков Анатолий Иванович (1948—2006) родился в Хабаровске, вырос и учился в Биробиджане. Работал слесарем, токарем, рабочим геологоразведочной экспедиции. В 1980 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького. С июня 1997 г. ответственный секретарь Иркутской организации Союза российских писателей. Редактор-составитель иркутских альманахов «Зеленая лампа» и «Иркутское время». Организатор Фестиваля поэзии на Байкале. Автор нескольких поэтических книг.

Лаптев Александр Константинович родился в 1960 г. в Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет. Работал инженером на заводе, охранником в частной охранной фирме, редактором книжного издательства. Публиковался в журналах «Роман-газета», «Юность», «Литературная Россия» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Мясников Николай Фёдорович (1954—2012) родился в Новосибирске. Художник, литератор. Работал чертежником, дизайнером, архитектором. Автор нескольких персональных выставок. Картины представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в частных коллекциях США, Израиля, Франции, Швейцарии, Австралии. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дарование», «День и ночь» и др. Автор книг «Мои соседи знают о Париже» (2001), «Атлантида» (2004) и др.

Радченкова Анна Николаевна родилась в г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Училась в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств. В настоящее время является вольнослушателем Квебекской школы современного искусства. Живет и работает в Квебеке (Канада) и Льеже (Бельгия).

Харитонов Арнольд Иннокентьевич родился в 1937 г. Прозаик, журналист. Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в Иркутске.

Чернышова (Глуховцева) Евгения родилась в 1985 г. Окончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Учится в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина, факультет теории и истории искусств. Публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

Шкуро Сергей Викторович родился в 1956 г. в Москве. Окончил медицинский институт. Работает врачом-терапевтом. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Москве.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА

М А Г А З И Н
продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:
антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18
Адрес: ул. Романова, 26 (*угол Советской и Романова*)
☎ 227-18-37, 227-14-50
Сайт: **www.gornitsa.ru** E-mail: **n_gornitsa@bk.ru**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*
Корректура: *М. Н. Долгов*

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,
тел.: **(383) 223-10-15**
E-mail: **sibogni@sibogni.ru** Сайт: **сибирскиеогни.рф**

НОВОСИБИРСКИЙ
издательский дом

Сдано в набор 11.08.2016 г. Подписано в печать 30.08.2016 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

http://книгосибирск.рф

Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.